

— НОВАЯ АНТИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА —

— Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ —



ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЭПОХИ
НЕЗАВИСИМОСТИ

СЕРИЯ

**НОВАЯ
АНТИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА**

ИССЛЕДОВАНИЯ



СЕРИЯ
НОВАЯ
АНТИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА



ИССЛЕДОВАНИЯ



Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ



**ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЭПОХИ
НЕЗАВИСИМОСТИ**

Составление, подготовка текста
и вступительная заметка
О. А. Лукьянченко



Санкт-Петербург
АЛЕТЕИЯ
2023

УДК 821.14'02.06

ББК 83.3(0)3

З 495

Зелинский Ф. Ф.

З 495 Древнегреческая литература эпохи независимости /
Ф. Ф. Зелинский; сост., подг. текста, вступ. заметка
О. А. Лукьянченко. – СПб.: Алетейя, 2023. – 422 с. – (Новая
античная библиотека. Исследования).

ISBN 978-5-00165-615-9

В настоящей книге объединены две одноименные брошюры
Ф. Ф. Зелинского, выпущенные в 1919—1920 гг. петроградским изда-
тельством «Огни» и с тех пор не переиздававшиеся. Это сжатый
популярный очерк начального этапа древнегреческой словесности,
проиллюстрированный ее образцами, большая часть которых пере-
ведена на русский язык самим автором.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся
античностью, и будет полезна в качестве дополнительного учебного
пособия студентам и преподавателям гуманитарных вузов.

УДК 821.14'02.06

ББК 83.3(0)3

ISBN 978-5-00165-615-9



@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа»
в российских и международных сервисах книгоиздательской
продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© О. А. Лукьянченко, составление,
вступ. заметка, 2023

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023



От составителя

Первые послереволюционные годы, «эпоха военного коммунизма», гражданская война, голод и разруха...

Как ни удивительно, даже в таких условиях культурные силы России продолжали свою созидательную работу. Одной из этих сил оставалось кооперативное издательство «Огни» в Петрограде, выпускавшее книги по всем отраслям гуманитарных и естественных наук. В его научно-популярной серии «Круг знаний» увидели свет три небольшие книжки, точнее даже брошюры Ф. Ф. Зелинского: «Древнегреческая религия» (1918), «Древнегреческая литература эпохи независимости. Часть первая. Общий очерк» (1919) и «Древнегреческая литература эпохи независимости. Часть вторая. Образцы» (1920).

Первая из них на протяжении истекшего с тех пор столетия стала одним из самых известных в мире творений автора, была переведена на многие европейские языки и регулярно издается в новейшие времена как в России, так и за ее пределами. Обе другие практически неизвестны современному российскому читателю. Восполнить этот пробел призвана настоящая книга.

О цели, направленности и принципах ее составления сказано в авторских предисловиях, которые с незначительными сокращениями приводятся в ее начале. Здесь же отметим, что авторская задача — повествовательные главы первой части иллюстрировать образцами из второй — при наличии двух книжек, вышедших к тому же с годичным перерывом, вряд ли могла быть в достаточной мере осуществлена. Поэтому

представилось целесообразным объединить их под одной обложкой. Таким образом, система «сообщающихся сосудов», к которой стремился автор, давая в «общем очерке» отсылки к текстам «образцов», а в последних указывая соответствующие страницы первого, окажется выстроена с наибольшим удобством для читателя.

Эту работу Ф. Ф. Зелинский считал важной и весьма значительной. Она давала ему возможность высказать свои взгляды на значение античности для культурного развития страны перед широкой читательской аудиторией¹. Любопытная подробность: о выходе хрестоматии, т. е. «образцов», оповестило радио, что по тем временам выглядело достаточно экзотично. А для перевода «образцов» автор стремился привлечь лучших с его точки зрения переводчиков. Но при этом большую часть переводов (почти три четверти общего объема) взял на себя. Среди них выделим солидные отрывки из «Илиады» и «Одиссеи», переведенные специально для этого издания и с тех пор нигде не появлявшиеся. Переводы других образцов были выполнены знатоками античности, которым Зелинский всецело доверял. Одним из них был давний друг и соратник в деле славянского Возрождения Вячеслав Иванов. Ему было адресовано письмо от 17 октября 1918 г., в котором Зелинский сообщал, в частности, о своих требованиях к текстам, включаемым в хрестоматию:

...Я печатаю теперь в «Огнях» новую книжку — «Древнегреческую литературу эпохи независимости». Тема не блещет новизною, но ново ее исполнение: к книжке листов в 12 будет приложена такого же объема книжка-близнец «образцов». То есть, другими словами, хрестоматия греческой поэзии и прозы от Гомера до эпохи Александра Великого. Зная нашу переводную литературу (т. е. что она в лучшем случае грамотно передает *содержание*, но никогда не передает *стиля*), Вы не удивитесь, если я Вам скажу, что я лишь в очень редких случаях мог воспользоваться для этой хрестоматии уже имеющимися у нас переводами. И, зная себя и наши общие с

¹ В первой книжке указан тираж 13 тыс. экз.; для сравнения — тираж 2-го выпуска «Возрожденцев», уже при более благоприятной экономической ситуации (1922), — всего 2 тыс.

Вами идеалы, Вы тоже не удивитесь, что к этим редким случаям я причисляю все переведенное и переводимое, и *имеющее быть переведенным* Вами... Во всяком случае мне *очень* хотелось бы украсить мою хрестоматию Вашим и только Вашим Эсхилом». (Выделено Зелинским. — О. Л.)¹

В итоге в книгу образцов были включены следующие переводы *Вяч. Иванова*: лирика Алкея, Сафо, Пиндара и Вакхилида, а также отрывки из трагедий Эсхила «Персы» (парод), «Агамемнон» (сцена исступления Кассандры) и «Евмениды» («вяжущий гимн»).

Другими переводчиками выступили:

Адриан Пиотровский (обозначенный в тексте инициалами А. П.): частушки жнецов (Х идилия Феокрита), элегии Феогнида, 8 басен Эзопа, а также отрывки комедий Аристофана — парабаза из «Всадников» и «собачий процесс» из «Ос»;

Викентий Вересаев: лирика Архилоха;

Иннокентий Анненский: отрывок из «Медее» Еврипида;

Николай Берг: фрагмент № 14 Анакреонта («Мяч бросая пурпуровый мне...»).

Завершавший книгу образцов отрывок из второго действия комедии Менандра «Третьейский суд» в переводе *Григория Церетели* заменен в настоящем издании отрывками из комедий «Видение», «Земледелец» и «Отрезанная коса», переведенными самим Зелинским для своего очерка «Менандр». Впервые очерк был опубликован в петербургской газете «Северный курьер» в 1900 году, а затем включался в сборник «Из жизни идей». Сделано это, во-первых, потому, что перевод Церетели неоднократно издавался в последующие годы в полном объеме, а во-вторых, исходя из общего принципа максимально представить в авторской книге тексты самого автора. По этой же причине взамен перевода Пиотровским храмовой легенды из Геродота («Чудо царицы Елены») помещен аналогичный текст Зелинского.

¹ Цит. по: *Н. В. Котрелев*. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. В кн.: *Эсхил*. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. М.: Наука, 1989. С. 513.

Нужно отметить, что вторая часть «Древнегреческой литературы эпохи независимости» издана была чрезвычайно неряшливо. Поставленная в авторском предисловии дата 1 мая 1920 г. явно указывает на то, что автор не имел возможности «держать корректуру», поскольку с сентября 1919-го до сентября 1920 г. был за пределами «Совдепии», как он часто иронически называл большевистскую Россию. Незадолго до указанной даты, 22 апреля, им была произнесена инаугурационная речь в Варшавском университете, а 26 апреля на заседании Варшавского кружка Польского филологического общества слушали его отчет о научной командировке в Испанию, Северную Африку и Италию. Так что привести книжку в надлежащий вид, судя по всему, было некому. Достаточно сказать, что в ней не оказалось даже Содержания, а примечания в сносках не были обозначены индексами. Имелось и множество опечаток («тяжелых», по оценке Вяч. Иванова). Составитель в меру сил старался исправить положение, но не уверен, что это удалось сделать на сто процентов.

* * *

В настоящем издании обе книжки, как уже было сказано выше, объединены, причем таким образом, чтобы читателю было удобнее соотносить общий очерк с образцами. Последнее помещены непосредственно после относящейся к ним главы первого.

В приложении приводятся две рецензии, сопутствовавшие выходу обеих книжек: Александра Малеина и Валерия Брюсова. Особенно колоритна брюсовская рецензия, демонстрирующая, насколько один из основоположников символизма проникся требованиями новейшей идеологии.

Олег Лукьянченко



ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ

Настоящая книжка — первая в серии, посвящаемой античным литературам; второй намечена «Древнегреческая литература вселенской эпохи», третьей — «Литература Римской республики», четвертой — «Литература Римской империи». Это, однако, не всё. Моя долголетняя практика как лектора обеих античных литератур и в особенности — как экзаменатора убедила меня в том, что давать в руки читателю один только курс, и тем более в виде «общего очерка», без *иллюстрирующих образцов* — неправильный и бесплодный прием. Я решил поэтому приложить к каждой из выпускаемых книжек хрестоматию образцов по соответственной области в таком русском переводе, который давал бы наиболее правильное представление о подлиннике. Одновременно с последними листами этого очерка мною сдается в набор «Древнегреческая литература эпохи независимости. Образцы» — пока, правда, только первый выпуск, обнимающий образцы поэзии, т. е. иллюстрации к первым семи главам очерка. О принципах, по которым эта хрестоматия составлена, сказано в предисловии к ней. Связь между «общим очерком» и «образцами» предполагается теснейшая, и хотя решено по практическим соображениям продавать их и отдельно, тем не менее я прошу читателя в его собственных интересах пользоваться обеими вместе...

<Без даты>

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ КО ВТОРОМУ ВЫПУСКУ

Предлагаемая книжка является вторым выпуском из намеченной Ф. Ф. Зелинским серии книг по античной литературе. Это — подбор образцов поэзии к уже вышедшей истории «Древнегреческой литературы эпохи независимости».

Прозе посвящен следующий, готовящийся к печати, выпуск серии. В переводе везде сохранены метрические особенности греческого оригинала. Значение подобной оригинальной точности — ясно. При переводе отрывков, когда неизбежно утрачивается цельность и значительность содержания, только оно может передать обаяние подлинного.

Последовательное соблюдение этого принципа заставило отказаться от большей части существующих русских переводов, в том числе и от ставших классическими переводов Гнедича и Жуковского...

1 мая 1920 г.



Глава I.

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Интерес древнегреческой литературы. — Предостережение от двойной иллюзии, обычной у новейших читателей

Истолкователю древнегреческой литературы в России не приходится в настоящее время бороться ни с равнодушием, ни с непониманием публики: имена Гомера, трагиков, Фукидида, Платона произносятся с уважением и любовью, выпускаемые их переводы при сколько-нибудь бережном отношении к эстетическим чувствам читателя находят себе сбыт, посвященные им публичные лекции при соблюдении того же условия усердно посещаются. Все свидетельствует о том, что и Россия, подобно прочей Европе, готова распахнуть двери своего сознания для впуска этой могучей и благотворной культурной силы.

При таком положении дел и пишущий эти строки считает возможным, воздерживаясь от апологии, ограничиться кратким приведением в систему тех качеств, которые, вместе взятые, составляют объективную ценность греческой литературы и ее истории и поэтому обеспечивают ей и субъективный интерес просвещенной публики.

Во-первых, греческая литература за тысячелетие с лишком своего развития от Гомера до закрытия Афинского университета

императором Юстинианом входит в состав истории общеевропейской литературы как ее долгое и богатое *начало*. Именно начало: мнение о влиянии туманно представляемого Востока на Грецию в этой области менее обоснованно, чем где-либо. Оно и понятно: изобразительные мотивы, песенные напевы еще могут при своей удобопонятности переноситься с места на место и вызывать подражание; но для литературных памятников при разнородности языков и отсутствии переводов это немыслимо. Конечно, не исключена возможность случайного перелета какого-нибудь сказочного или новеллистического мотива с Востока в Грецию, но ведь не в этом суть; главное то, что ни один литературный тип не был Грецией заимствован с Востока — и наоборот, нет у нас ни одного литературного типа, которого бы мы, прямо или косвенно, не заимствовали из Греции.

Итак, греческая литература — начало общеевропейской, как и греческая история через Римскую империю продолжается в истории новой Европы. Но роль греческой литературы, достаточно выдвинутая этой аналогией, еще много значительнее: она не только была плоскостью отправления для новоевропейской — она в ряде дальнейших эпох была ее *вдохновительницей*, вливая — прямо или косвенно — в нее свои силы и побуждая ее этим ко все пышнейшему и пышнейшему расцвету. Эти эпохи мы называем *Возрождениями*; действительно, этот термин применяется далеко не исключительно к так называемому итальянскому, великому Возрождению XIV–XVI вв. Говорят о «каролингском», «оттоновском» Возрождении в средние века, расцвет арабской культуры был в сущности тем же Возрождением, и им же была и та эпоха подъема германского духа в 1780–1830 гг., которой историки культуры присвоили имя неогуманизма, — германским Возрождением в противовес тому первому, великому романскому. Славянский мир в обоих участвовал лишь косвенно, освещаемый отраженным или преломленным светом; его будущая культурная самобытность требует, чтобы и он имел свое — числом третье — великое *славянское Возрождение*. А для достижения одинаковых целей и средства должны быть одинаковы: подобно своим старшим братьям, и славяне должны впитать в себя ан-

тичность, оплодотворить свой дух ее семенем ради производства новых, еще не виданных культурных ценностей. Эта потребность уже пробудилась в русском обществе; надо только не дать ей снова заглухнуть вследствие либо недостаточного, либо недоброкачественного питания.

В-третьих, даже взятая сама в себе, вне связи с литературой нового мира, история греческой литературы именно как история представляет собой совершенно своеобразный интерес по следующей причине. Выше было сказано, что греческая литература при своем зарождении не испытала влияния чужеземных литератур, что она была поэтому началом, а не продолжением; ныне следует прибавить, что она не испытала такового и в дальнейшем своем развитии. Значение этого факта особенно ярко освещается сравнением с историей русской литературы, последовательно испытывавшей влияние византийской, польской, французской, немецкой, английской литератур. А этим сказано, что греческая литература развивалась вполне *органически* — настаиваю на этом слове, ввиду некоторых неосновательных протестов последнего времени — в силу житнетворных начал, в ней самой заключенных; среди богатых литератур она — единственная, про которую это можно сказать. Вот почему Ипполит Тэн в предисловии к своей истории английской литературы, которую он написал для иллюстрации своей теории литературных явлений, заявляет, что он без колебаний отдал бы предпочтение древнегреческой литературе, если бы она могла предоставить в его распоряжение достаточно длинный ряд однородных памятников в их последовательном развитии.

И, наконец, в-четвертых, — то, с чего мы начали, чем будем продолжать и чем кончим, выдающееся *достоинство*, не только эстетическое, но и общекультурное корифеев древнегреческой литературы. При оценке этого достоинства следует, однако, остерегаться одной *иллюзии*... Точнее, не одной, а целых двух.

Первая заключается в следующем. Восприимчивый читатель знакомится с древнегреческим поэтом, скажем, с Софоклом; он производит на него известное впечатление, но все же не такое сильное, как какой-нибудь драматург современности

или недавнего прошлого. И вот готов приговор: этот драматург «выше» или «лучше» Софокла. Эта иллюзия очень естественна: ведь современность уже тем, что она современна, способна затронуть гораздо более струн в нашем сознании, и в этом отношении даже самый посредственный беллетрист наших дней пользуется большим преимуществом перед самым гениальным писателем древности. Отрезвляющим средством может служить воспоминание о тех, которые в более ранние времена стали жертвами такой же иллюзии, — выдающихся людях, суждения которых, однако, ныне способны вызвать лишь улыбку с нашей стороны. В конце XVII в. Ш. Перро, автор знаменитых сказок, в том своем памфлете, с которого начинается «спор древних и новых», ставит не только Паскаля выше Платона, но и роман о Кире (Сугус) г-жи де Скюдери «в десять раз» выше «Илиады»; почти в то же время великий Лейбниц приказывает греческим поэтам спрятаться в подполье перед немецкой лирой, перед Флемингами и Опицами. Кто ныне знает Скюдери и Флемингов — и кто не знает Гомера и Софокла? Так новичку альпинисту, спускающемуся по долине Шамони, возвышающиеся над ним второстепенные горы кажутся много выше, чем замыкающая перспективу снеговая пирамида Монблана; но стоит ему пройти два-три километра — второстепенные горы опускаются низко-низко, а Монблан остается Монбланом.

Ныне, конечно, только очень наивные люди способны отдаться этой иллюзии; опаснее другая. Знакомясь с греческими писателями, современный человек бывает склонным ценить непосредственно — пусть даже очень высоко — то, что ему непосредственно и сразу понятно, остальное же либо оставлять без внимания, либо даже осуждать. Между тем именно среди этого последнего материала часто заключается наиболее ценное и оригинальное, то, чем греческая литература способна более всего оплодотворить современное сознание. Неполное представление получит от греческих писателей тот, кто их читает быстро, точно писателей современных; их рекомендуется читать медленно и повторно, лучше всего — с комментарием, составленным человеком, отдающим себе отчет в разнице между психикой античной и современной души. Тогда неред-

ко камень, отброшенный по первому и беглому впечатлению, будет бережно поднят и станет краеугольным при выработке мировоззрения.

§ 2. Начальный период древнегреческой литературы. — Психологический параллелизм поэзии и прозы

Преимущество греческой литературы перед всеми другими заключается в том, что она с первых же шагов вводит изучающего в величавый храм гомеровского эпоса, свой первый по времени и не превзойденный никакими позднейшими достижениями памятник. *Историку* литературы, однако, естественно поставить вопрос о предшествующих этому совершенству ступенях, о постепенном развитии художественного слова от его первичных ячеек до обилия гомеровской эпопеи. Прямого ответа на этот вопрос античная традиция нам не дает; то, что греки — уже начиная с V в. до Р. Хр., если не раньше, — принимали за догомеровскую поэзию, было изобличено исторической критикой либо как домыслы фантазии, либо как произведения более поздних времен, запечатленные религией Аполлона.

Тот начальный период, о котором речь идет здесь, мы можем не исторически восстановить, а лишь теоретически конструировать, руководствуясь, с одной стороны, этимологическими и психологическими данными, а с другой — и так называемыми «пережитками» этого начального периода как у самого Гомера, так и в позднейшей литературе, и полагая, что та замечательная последовательность развития, о которой речь была выше, сопровождала греческую литературу с самого ее зарождения. Предлагая здесь читателю свою конструкцию, я с первых же слов поэтому оговариваю ее неизбежную гадательность; некоторым залогом ее если не достоверности, то сравнительного правдоподобия является то обстоятельство, что я давно с нею ношусь, часто и долго ее проверял и использовал для нее, кажется, все материалы, которые давали в мое распоряжение как исторический, так и сравнительный методы.

В основу этой конструкции должно лечь мнение, противоположное тому, которое со времен Гердера царствует и в теории, и в истории литературы — а именно мнение о предполагаемом *временном первенстве поэзии перед прозой*. Это ошибочное мнение легко могло возникнуть под влиянием недостаточных наблюдений путешественников и миссионеров; вполне естественно, что песня, сопровождаемая музыкой и часто пляской, скорее привлекала внимание европейца, чем прозаическая сокровищница, передаваемая в тишине и нередко под покровом тайны учителем ученику. Всё же более длительные и усердные наблюдения вскрыли и ее, и этнологические журналы последних десятилетий в достаточном обилии приносят нам наряду с поэтическим и прозаический фольклор первобытных народов.

Эти данные этнологического опыта вполне подтверждаются и обгоняются результатами психологического анализа. Из трех категорий, на которые распадаются явления нашего сознания: чувствований, представлений и волевых актов, — непосредственно творческими в области литературы, как и искусства вообще, являются первые два; и хотя внутренний опыт не дает нам ни такого представления, которое не сопровождалось бы каким-нибудь чувствованием, ни такого чувствования, которое не вызывалось бы каким-нибудь представлением или не вело бы к нему, всё же мы, считаясь с преобладанием того или другого элемента, можем установить эти две категории так же как практические источники художественного слова. Теперь нетрудно понять, что то взволнованное состояние души, которое вызывается наличностью сильного чувствования, как и всякое волнение, естественно, ищет себе выражения в ритме и связанном ритмом слове; и наоборот, та душевная гладь, в которой бесстрастно отражаются явления и внешнего и внутреннего мира, населяя ее представлениями, столь же естественно запечатлевается в неритмической речи, т. е. в прозе.

Итак, поэзия и проза — не только две родные сестры, но и две сестры-ровесницы, хотя и призванные к жизни двумя различными функциями нашей души, чувствовательной и представительной. И, стараясь проследить постепенное развитие

греческого художественного слова от его начала до его расцвета в гомеровской эпосе, мы должны исходить не от одной, а от двух первичных ячеек — поэтической и прозаической. Начнем с первой.

§ 3. Первичная ячейка поэзии: триединая хорея. — Хорея обрядовая и хорея рабочая

Чувствование рождает *ритм* как естественное выражение тех волн наших кровяных сосудов, о которых свидетельствует биение нашего сердца и пульса; ритм в свою очередь стремится облечься в ощутительную для зрения и слуха ризу либо размеренного *жеста*, либо модулированного *звука*, либо артикулированного *слова*. Соединение этих трех элементов создает первичную ячейку и греческой, и всякой иной поэзии — триединую *хорею*, состоящую из пляски, музыки и словесной песни, или поэзии в тесном смысле.

Эту триединую хорею мы можем проследить в двух первичных видах.

Первый вид — это хорея *обрядовая*, освящающая поэзию, музыку и пляску службой божеству. Для греческой древности, хотя бы и самой глубокой, эта религиозная хорея может быть установлена только в смысле молитвы; заклинание, пытающееся подчинить божество человеческой воле связующей силой ритма, так же чуждо греческому сознанию, как и то низменное представление о богах, о котором оно свидетельствует.

Второй вид — это *хорея рабочая*, в которой, однако, ритмическая пляска заменена ритмическими движениями самой работы. Характер сопровождающих работу слов может быть также религиозным, так как естественно было поручать милости богов производимую работу, но чаще он, как доказывают многочисленные пережитки и аналогии, бывает светским.

Установлением первичного характера триединой хорей устраняется и прежнее мнение о старшинстве эпической поэзии в сравнении с другими — мнение, не соответствующее также и психологическому пониманию поэзии как естественной

выразительницы чувства: в своем словесном составе сопровождаемая музыкой и пляской песня может быть отнесена только к поэзии лирической. Прославление могущества чествуемого бога, хвалебное упоминание мест его культа, выражение нужд просителя — а в рабочей песне вся вереница нежных и злобных, радостных и подавленных, серьезных и насмешливых настроений, которые, освобожденные ритмом автоматической работы, находили себе воплощение в словах поющего, — все это сообщает той и другой хорее, несомненно, лирический характер. Но эта лирика содержала в себе зародыши также и других поэтических видов. Естественно было, чествуя бога, рассказать о каком-нибудь его деянии, свидетельствующем о его могуществе или о явленной им человеку помощи; столь же естественно было и для поющего работника вспомнить о каком-нибудь важном или интересном для него событии; а этим в хорею вносился и эпический элемент. С другой стороны, чередование запевалы с хором или же отдельных голосов поющих между собою могло придать хорее также и драматический характер. Но это были лишь зародыши будущего развития.

ОБРАЗЦЫ

РАБОЧАЯ ПЕСНЯ

1. Песня гончара

Из так называемых «гомеровских эпиграмм» за № 14. Подробнее о рабочей песне см. «Из жизни идей» т. I 3-го изд. (Алетейя, 1995), с. 326–341.

Если вы денег дадите, спою, гончары, я вам песню:
Внемли молитвам, Афина!¹ Десницею печь охраняя,
Дай, чтобы вышли на славу горшки, и бутылки, и миски,
Чтоб обожглись хорошенько и прибыли дали довольно,
Чтоб продавались бойко на рынке, на улицах бойко,
Чтоб от той прибыли жирной за песню и нас наградили.
Если ж, бесстыжее племя, певца вы обманете дерзко,

¹ Афина считалась покровительницей гончарного ремесла.

Тотчас же всех созову я недругов печи гончарной:
Эй, Разбивака, Трескун, Горшколом, Сыроглинник коварный,
Эй, Нетушим¹, на проделки во вред ремеслу тароватый,
Бей и жаровню, и дом, вверх дном опрокидывай печку.
Все разноси, гончары же пусть криком избу оглашают.
Как лошадиная челюсть скрежещет, так печь да скрежещет,
Вдребезги всё разбивая, горшки, и бутылки, и миски.
Также и ты, дочь Солнца, царица колдуний Цирцея²,
Зелья им злого подбрось, чтобы с мастером дело поггло.
Также и Хирон-владыка³ своих пусть приводит кентавров
(Тех, что избегли десницы Геракла, и тех, что побиты):
Всё истопчите кругом, пусть с треском обрушится печка,
Пусть они с жалобным стоном на лютое бедствие смотрят,
Буду, смеясь, любоваться на жалкую долю злодеев.
Если спасти кто захочет, тому пусть голову пламя
Всю обожжет, и послужит другим его участь наукой.

2. Частушки жнецов

Феокрит, X идиллия. Собственно важны для нас только идущие со ст. 24 частушки, старинные по стилю, хотя их феокритовская форма относится к III в. до Р. Х.; но я привел и рамку, хорошо развивавшую экономическое значение рабочей песни.

МИЛОН

Что приключилось с тобою, Букей, злополучный работник?
Уж не умеешь вести полосу ты прямой, как бывало;
Вровень с соседним серпом уж не жнешь. Отстаешь от соседа,
Словно от стада овца, что о камень поранила ногу.
Бедный! Что будет с тобой ввечеру, когда с раннего утра
Еле работу начав, полосу дожинаешь нечисто?

БУКЕЙ

Милон, без устали жнец, необорного камня обломок,
Иль никогда тосковать не случилось тебе... о далеком?

¹ Перечислены имена гончарных бесов.

² О Цирцее см. гл. III.

³ Хирон — воспитатель Ахилла, «справедливейший из кентавров», которые вообще слыли демонами разрушения.

Милон

Нет. Да какая ж тоска о чужом у рабочего люда?

Букей

И никогда по ночам ты без сна не томился от страсти?

Милон

Этого мне не знать; потроха не по нёбу собаке.

Букей

Я же, о Милон, влюблен — вот уж скоро десятые сутки.

Милон

Видно, из бочки ты пьешь; у меня так и уксуса мало¹.

Букей

Вот оттого и покинул я все, как поля без посева.

Милон

Кто же зазноба твоя?

Букей

Полиботова дочка; ты помнишь

Та, что играла наредни на жатве у Гиппокиона².

Милон
(смеется)

Вот когда грешник попался! Добился ты цели давнишней:
Верно, уж ночи твои стрекоза эта славно украсит³.

¹ «Больно ты избалован». Уксус, разбавленный водой, — освежительный напиток рабочих, солдат и т. д.

² То есть флейтистка.

³ Стих спорный. Букеева милая была и тоща и черна; видно, этим его дразнит Милон.

БУКЕЙ

Что издеваешься ты? Ведь слепец не один только Плутос¹:
Слеп и беспечный Эрот. Перестань заноситься надменно!

МИЛОН

Я заноситься не стану. А ты себе знай свое жниво;
Да затяни-ка нам песню — про милую деву.
Ладнее будет работа идти. Ведь и раньше ты в песне был ловок.

*БУКЕЙ**(поет)*

Деву-березку со мной, пиерийские Музы, воспойте
Стройную. Все ведь прекрасно, за что вы возьметесь, богини.
Девушка, милая радость! Сирийкой зовут тебя люди,
Тощей и солнцем сожженной; но мне ты, что мед, смуглолика.
Ведь и фиалка смугла, и клейменого цвет гиацинта²;
Все-таки первыми их величают в венках и плетеньях.
Клевера ищет коза, за козою гоняются волки
И за сохою журавль; а я по тебе изнываю.
Эх, кабы золото мне, что скопил себе Крез знаменитый!
В золоте мы бы с тобой в Афродитином храме стояли.
С флейтою ты, или с розой в руке, или с яблоком спелым,
Весело пляшущим — я в сапогах, и блестящих, и новых.
Девушка, милая радость! Восторг твои стройные ножки,
Голос нежней медуницы, а нрав описать не сумею.

МИЛОН

Право, прекрасные песни тайком наш Букей сочиняет.
Мне с бородой моей — плач. На беду отпустил ее длинной.
Ну, так послушай же песнь, что сложил Литиерс богоравный³.
Матерь о многих плодах и о многих колосьях, Деметра!
Жатву нам спорой соделай и всеми дарами богатой.
Живо снопы вы вяжите, вязальщики, чтоб не промолвил

¹ Бог богатства.

² Есть порода гиацинта, на цветке которого можно прочесть подобие букв ΑΙ; полагали, что этот цветок вырос из крови убившего себя Аянта (ΑΙΑΣ).

³ *Λιτυέρης* (*Lityerses*) — мифический покровитель жнецов и их песни.

Кто проходя: «Лежебоки! Пропала поденная плата».
Пусть у вас сжатые бабки на северный ветер комлями
Или на запад глядят, чтобы колос тучней наливался¹.
Вы, молотильщики, спать не ложитесь в полдневную пору:
В пору ту легче всего отлетает зерно от соломы.
Жать принимайтесь с утра, только птицы на ветках проснутся.
С поля идите, как спать они лягут, а в зной отдыхайте.
Славно житье у лягушек, ребята! Заботит их мало,
Скоро ли пить принесут: ведь питья и под носом довольно.
Эй ты, десятник-скупец, тароватей заваривай кашу!
Палец обрежешь, гляди, как делить будешь зернышки тмина².
Песни такие нам петь подобает, страдающим в поле
Знойном, Букей. О твоей же любви отошлой пусть бабы
Лежа в постели болтают, как будет им ночью не спаться.

**§ 4. Прозаическая сокровищница греческого народа. —
Мифы. — Саги. — Своды правил и поучений. —
Басня, пословица, сказка, легенда**

В противоположность к возбужденной хорее древнейшая *прозаическая* сокровищница греческого народа спокойно и бесстрастно принимала в себя и передавала потомству то постоянно накапливаемое предание верований и установлений, которое составляло мудрость если не всего народа, то его лучшей части, его вождей и советников.

Сюда относятся прежде всего наивно-глубокомысленные ответы на вопрос о происхождении человечества и всего порядка мироздания с управляющими им богами. Первые, еще очень несовершенные наблюдения над чередованиями небесных явлений и нарушениями их правильности в связи с постепенно вырабатываемыми путем длительного внутреннего откровения представлениями о божестве создали эти ответы в форме древнейших *мифов*. Их настоящим смыслом был изначальный дуализм Неба и Земли, — точнее, предвечной богини Земли и

¹ Суеверная практика; полагали, что колос наливается и после того как созрел.

² Крохобора древние греки называли «распиливателем тмина».

рожденного ею во времени и от нее же имеющего погибнуть бога Неба. Не хочет погибнуть небесный царь, создает он себе союзника и помощника в виде человека божественного семени, но этот богочеловек первый гибнет от враждебных сил Земли, и его гибель — предвестница гибели также и того божьего царства, которое он должен был спасти. Этот миф о богочеловеке сосредоточил в себе весь пафос мифотворческой фантазии греков; расщепление их на отдельные племена содействовало тому, что он был представлен в разнообразных, к тому же естественно скрещиваемых и сплетаемых между собою изводах.

Наряду с вопросом, откуда мы приходим, также и вопрос, куда мы идем, возбуждал мифотворческую фантазию греков: к *космогоническим* мифам прибавились и *эсхатологические*. Мнение о переживании души, как то доказывают древнейшие могилы, было общепризнанным: трудно было поверить, чтобы этот мир мертвых был окончательно отделен от мира живых, чтобы «страна без возврата» была таковой для всех решительно, без исключения. И вот появились рассказы о смельчаке, который разбил крепкие затворы врат смерти, который был в ее царстве и вернулся оттуда. Эти рассказы получили различное содержание в зависимости от представлений, которые имело данное племя о самом царстве смерти — они, естественно, были различными у жителей побережья и различными у жителей материка, не говоря уже о других, менее уловимых для нас условиях.

В ту же сокровищницу поступали, однако, и воспоминания о деяниях самого племени, о его войнах и странствованиях, как в его совокупности, так и в лице отдельных, особо выдающихся членов. Лишенные исторической записи, эти воспоминания естественно и самопроизвольно преображались в *сагу*. Личности исчезали, забывались; герои народных войн сливались с тем богочеловеком, о котором речь была выше, герои смелых странствий — с тем выходцем из царства смерти. Слияние мифа и саги породило древнейшую *былевую словесность*, которая, однако, опять-таки вследствие отсутствия записи, была очень неустойчива, изменяясь из поколения в поколение, по мере приращения запаса воспоминаний — или же забвения того или другого, менее яркого элемента традиций.

К той же сокровищнице принадлежали, затем, и своды всевозможных *правил и поучений*, которыми руководствовалась как общественная, так и частная жизнь; строй богослужения, уклад государства, судебные нормы, правила военной дисциплины, заветы нравственности, данные опыта охотничьей, скотоводческой, земледельческой, ремесленной работы, советы по уходу за больными, медицинские и другие рецепты и т. д. Хранительницей всей этой мудрости могла быть и семья, поскольку она ее касалась; но она могла также найти себе особых носителей в лице руководителей профессиональных корпораций. Как бы то ни было, преемственность была необходима, чтобы спасти от забвения достижения предыдущих поколений; а с преемственностью было обеспечено и развитие не только в смысле практического усовершенствования содержания, но и в смысле художественного — формы.

Особое место по важности во всей этой мудрости занимали *заветы нравственности*, непосредственно всех касавшиеся; в видах их возможно действительного внедрения в сознание людей, язык, не располагающий еще способностью дискурсивного мышления, прибегает охотнее всего к двум формам выражения, иносказательному и утвердительному, создавая этим два типа дидактической словесности: *басню* и *пословицу*. Оригинальность обеих на греческой почве несомненна; прежде господствовавшее мнение о влиянии индийской басни на греческую пришлось оставить после более внимательного анализа обеих. Непосредственно близка басне сказка, разделяющая с ней ее фантастичность и нравственную тенденцию; могучее орудие воспитания в устах матерей и кормилиц, она отчасти по этой причине была в загоне у серьезных людей, благодаря чему этот роскошный цветник греческой народной словесности нам мало известен.

Иногда, впрочем, нравственная задача сказки направляется на прославление божества, его силы и благости: тогда мы называем ее *легендой* — у греков ей соответствовала так называемая *ареталогия*. Она часто создавалась и еще чаще хранилась при храмах и вообще в местах почитания богов. Элемент фантастичности во всех этих проявлениях народного творчества мало со-

знавался в такую эпоху, когда грань между действительностью и недействительностью еще не была особенно четкой и люди доверчиво относились ко всем рассказам о вторжении божьего и потустороннего мира в свою повседневную жизнь.

Подобно поэтической сокровищнице, и эта прозаическая была чисто *словесной*; письменность хотя и существовала в Греции с незапамятных времен, как нам доказала найденная не так давно на Крите кирпичная «библиотека царя Миноса», все же вследствие громоздкости писчего материала не могла служить средством к закреплению объемистых поэтических и прозаических произведений. Как заметил еще Платон, при отсутствии письменности *память* у людей бывает особенно развита; все же в этом отношении поэзия находилась в условиях много лучших, чем проза. Ритм могуче содействует запоминанию, сохраняя, кроме содержания, еще и форму того, что им запечатлено; кто поэтому дорожил также и формой того, что он желал сохранить для потомства, тот поневоле должен был прибегать к ритму, т. е. *переводить данное предание из прозаической сокровищницы в поэтическую*. Этим и объясняются те захваты поэзии в области прозы, которые обусловили ранний расцвет первой в ущерб второй и создали ту иллюзию первенства во времени художественной поэзии в сравнении с художественной прозой, о которой речь была выше.

ОБРАЗЦЫ

А. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Из множества греческих пословиц приняты либо образцы русских, либо характерные для Греции.

*

Битый лучше муж фригийский и услужливее стал¹.

*

Вино — и истина.

¹ На то он и варвар (ср. «За одного битого...»).

*

Всегда крестьянин через год богат¹.

*

Вторично дети старики.

*

Вторые думы мудреней всегда.

*

В капкан не попадется старая лиса.

*

В правом и неправом деле слушайся владыки, раб!²

*

В уголья обратилось сокровище³.

*

Выпил вино — выпей и дрожжи.

*

Гвоздем гвоздь вышибаешь.

*

Голень дальше колена.

*

Далеко от Зевса — далеко от перуна.

*

Дрянного ворона — дрянное яйцо.

*

Дружба не вовремя хуже вражды.

¹ То есть живет надеждами.

² На то он и раб; нравственный закон обусловлен свободой.

³ Сказочный мотив.

*

Единый муж — ни единый муж¹.

*

Если народ голодает — и рак у народа в почете².

*

Есть и у собаки свои Эринии.

*

Живем не как хочется, а как можетя.

*

И дважды нам прекрасного, и трижды.

*

Из мухи делаешь слона.

*

Иные работали, другие попользовались.

*

И у муравья есть своя желчь³.

*

Какова хозяйка, такова и собака.

*

Кипит горшок — живет и дружба⁴.

*

Летось всегда лучше.

¹ Ср. «Один в поле...»

² Ср. «На безрыбье...»

³ И самое маленькое существо можно разозлить.

⁴ *Горшок*, конечно, с утешением. В подлиннике игра слов: *Zei* (кипит) *chytra*, *ze* (живет) *philia*.

*

Маслом огонь заливаешь.

*

Медленно мельницы мелют богов, но старательно мелют.

*

Между стаканом и уст твоих краем велик промежуток¹.

*

Много у нас тирсоносцев всегда, но немного вакхантов².

*

Молись Афине, да и рукой двигай³.

*

На первоучке строгость неуместна.

*

Начало — половина целого.

*

На хорошем дереве и повеситься не жаль.

*

На чане учишься гончарному делу⁴.

*

Не береди улегшегося горя.

*

Не было у лидийца забот — пошел и купил.

¹ То есть многое может произойти, пока ты донесешь до уст кубок.

² То есть много внешне исполняющих обряд, но мало внутренне им охваченных.

³ Ср. «На Бога надейся...»

⁴ То есть на самом трудном; иронически.

*

Не выручила львиная шкура — надевай лисью.

*

Не носи сов в Афины¹.

*

Не уместится дельфин в умывальном тазе².

*

Не учи дельфина нырять.

*

Обще достояние друзей.

*

Одна ласточка не делает весны.

*

Осел внимает лире и трубе свинья³.

*

О тот же камень стыдно дважды спотыкаться.

*

От дыма бежал — в огонь попал.

*

Плачет навзрыд победитель, и дух испустил побежденный.

*

Поникнет дуб от множества ударов.

*

Потерпев, и дурак поумнеет.

¹ Совы посвящены Афине; в Афинах их поэтому было много.

² Ср. «Большому кораблю...» и т. д.

³ Ничего не понимая.

*

Против двух и Гераклу непомогут.

*

Птичье молоко¹.

*

Равенство — дружество.

*

Раз дуб упал, ветвей наломит всякий.

*

Рак зайца догнал.

*

Рождала гора — родила мышку².

*

Рука руку моет.

*

Сверстник сверстника тешит.

*

Схватись за края — и середка твоя.

*

С необходимостью и боги не спорят.

*

С ободранного шкуру дерешь.

*

Тени дыма боится.

¹ О сказочном блаженстве.

² Иногда с дополнением: «Рождала гора — Зевс был испуган — а она родила мышь». Но вероятная первоначальная форма: «Рождала (т. е. казалось, что собирается родить) гору, а родила мышку».

*

Что совершил, да потерпит, и будет наш суд правосуден¹.

*

Человек человеку бог.

*

Черепаша вола лентяем зовет.

*

Хвост за лису свидетельство дает.

*

Эфиопа моешь².

*

Юношам — дело, советы — мужам, старикам же — молитвы.

Б. ХРАМОВАЯ ЛЕГЕНДА (АРЕТАЛОГИЯ)

Чудо богини Елены

Спарта почитала Зевсову дочь Елену как богиню; в соседнем городке Ферапне стоял ее храм, и немало чудес приписывалось ее непосредственному вмешательству. Застигнутому бурей пловцу она являлась предвестницей спасения в виде огненной кисти на вершине мачты — это был «Еленин огонь», живущий, к слову сказать, и поныне в народном поверье Западной Европы под именем «огня святого Эльма», причем есть основание предполагать, что христианский святой занял место языческой богини. Но и лично помогала она просителям, как видно из следующей красивой легенды, рассказываемой Геродотом, про одну спартанскую царицу, жену царя Аристона и мать знаменитого в истории персидских войн Демарата.

Она была дочерью одного знатного спартанца и в детстве отличалась крайним безобразием. Ее родители были чрезвычайно опечалены этим недостатком; видя это их горе, ее няня

¹ О свидетельстве своих людей.

² Чтобы смыть с него черный цвет; о тщетном начинании.

носила ее ежедневно в Ферапну, в храм Елены, ставила у кумира богини и просила ее снять с ребенка это клеймо. И вот однажды, когда она оставляла храм, к ней подошла незнакомая женщина и спросила ее:

— Что несешь?

— Ребенка, — ответила няня.

— Покажи! — продолжала незнакомка.

— Не могу: родители не велят.

— А ты все-таки покажи!

Надо полагать, что слово незнакомки звучало очень властно; няня не решилась его послушаться и подняла покров, скрывавший позор родителей от насмешливого взгляда чужих людей. Незнакомка погладила девочку по головке и сказала:

— Эта девочка станет некогда первой в Спарте красавицей.

— Вслед за тем она исчезла.

С этого дня дурнушка стала заметно хорошесть и со временем сделалась такой красавицей, что сам царь обратил на нее внимание и сделал ее своей супругой.



Глава II.

ГОМЕР

§ 5. Царская власть ахейского периода. — Сословие аэдов. — Переход сокровищницы мифов к поэзии. — Миф о богочеловеке. — Эолийское и ионийское наслоения. — Гекзаметр. — «Гомер»

Первоначальная греческая словесность, как мы ее изобразили в предыдущей главе, создавалась под знаком необходимости; и, конечно, оставаясь она всегда под этим знаком — она осталась бы и на том уровне, который им определяется. *Рост* же искусства происходит под знаком не необходимости, а избыточности; избыток достатка, накапливающийся в руках вождей за счет труда подвластных, вызывает потребность украшения жизни, которое рано или поздно, в большей или меньшей мере, как собравшийся в горнях благодетельный дождь, возвращается и к подвластным.

В древнейшей греческой жизни этими вождями были цари многочисленных греческих племен, никогда, впрочем, насколько мы можем судить, не пользовавшиеся той полностью самодержавной властью, которая отличала восточных владык и превращала их подданных в рабов. Древнегреческие цари вели своих подданных в бой против врагов и в домашних, и в заморских войнах; они их судили в тех случаях,

когда домовые или родовые суды, вследствие принадлежности судящихся к разным родам, были неприменимы; они, наконец, представляли их как совокупность народа перед богами. Но и в этих случаях их власть была ограничена значением вельмож, или «анактов», составлявших их царский совет, а в некоторых случаях и собрания всех полноправных граждан; зародыши позднейших аристократизма и демократизма с самого начала имеются в царской власти древнейшей Греции.

Из трех только что названных функций наиболее запечатлена печатью счастливой избыточности последняя, представительство общины перед богами, к которому цари были призваны в силу всеобщей веры, что в них самих течет божеская кровь, что они «богорожденные цари»; они поэтому приносили жертвы богам, не нуждаясь первоначально в услугах жрецов. А так как по греческому пониманию торжественная жертва — и молебственная, и благодарственная — была не всеожжением, а скорее общей трапезой богов и людей, то цари приглашали к ней и своих анактов, членов совета, и в особо важных случаях — и свой народ. *Обрядовая хорея* при этом, естественно, поступала под покровительство царя; желание обставить ее как можно прекраснее — прямое последствие избыточности — повело к тому, что она была поручена руководительству особо сведущих людей, хранителей и пестунов традиции также и ритма, связующего воедино тройной состав хореи. Это были *певцы* (азды).

Другим последствием избыточности было желание воспользоваться услугами аэда также и для украшения царской трапезы, следовавшей за жертвоприношением. Но при этом один из трех элементов хореи, естественно, отпал, а именно пляска: аэд сидел, сидели и гости. Тем более внимания уделялось содержанию исполняемого. Богам была уже воздана честь; что могло более всего занять и развлечь людей-сотрапезников? Очевидно, рассказы о том прошлом, которое сливало их воедино с богами, сокровищница *мифов*; но не в ее сухой прозаической форме, в которой ее знал всякий, а в соответствии с торжеством, в ее ритмическом преображении и

в тесной связи с чарами напева и сопровождающей струнной музыки.

Так состоялся первый захват поэзии в области прозы; она наложила свою руку прежде всего на родную мифологию. Понятно, что первенствующее место должен был занять миф о богочеловеке, успевший уже, благодаря намеченной выше эволюции, превратиться из космогонического в героический. В эпоху, о которой мы говорим, главное место среди греческих племен принадлежало ахейскому, заселявшему и благословенную Фессалию, и суровый Пелопоннес, и другие местности Эллады; ахейцы, естественно, возвеличивали своего родного богатыря, именем которого, произведенным от их собственного имени, они нарекли исконного богочеловека; это был *Ахилл*. Его космогоническое значение забывалось по мере того, как в первоначальный миф вторгалась историческая сага, очеловеченные вселенские начала: Зевс, Земля, Титаны, Гиганты — были обращаемы в вождей своих и вражеских сил, и твердыня Гигантов становилась исторической Троей на Геллеспонте, предметом и неудачных и победоносных походов ахейских и других греческих племен, объединившихся под сборным именем эолийцев, т. е. «пестрых».

Мы не можем проследить отдельных фазисов превращения ахейского космогонического мифа в эолийскую сагу; мы даже с трудом различаем ее самое под наслоениями, обусловленными переходом руководящей роли от эолийских аэдов к ионийским, явившимся последствием могучего роста ионийской колонизации на малоазиатском побережье. Все же преемственность между теми и другими была, и она сказалась не только в удержании главных ахейских героев, рядом с которыми ионийские — главным образом Нестор — могли получить лишь второстепенное значение.

Если тот древний эолийский язык, на котором была составлена первоначальная эпопея об Ахилле под Троей, и был живым языком эолийского племени, чего мы не знаем, то тот, на котором ионийские аэды переделали принятое от их эолийских собратьев наследие, уже не соответствовал ионийской

разговорной речи: преемственность при содействии охранительной силы размера повела к принятию в новый говор значительной части старых эолических элементов языка; был создан особый, эоло-ионийский, он же и эпический говор, в котором вкрапленные эолизмы производили такое же впечатление священной старины, как и вкрапленные славянизмы в духовной русской речи. Это был «язык богов»; его же хранителями были те же аэды.

Наравне с языком они хранили и *размер*. Отпадение пляски, превратившее триединую хорею в двухсоставную музыкально-словесную «аэду» (*aoide*), повело также и к превращению четырехударного стиха, соответствующего именно хорее, в эпический стих. С одной стороны, тот четырехударный стих хорей, вследствие потери своего конца, стал трехударным; с другой, получившиеся трехударные стихи были попарно соединяемы с таким расчетом, чтобы стих нисходящего ритма чередовался со стихом восходящего и они продолжали оставаться отделенными друг от друга обязательной паузой — цезурой. Принцип стихосложения был, как и во всей античной поэзии, количественным, т. е. его основой было строго проведенное деление слогов на долгие и краткие; основным размером был дактиль, т. е. соединение долгого слога с двумя краткими, причем обязательная для эпического стиха равномерность допускала стяжение обоих кратких слогов в один долгий, но не наоборот. При соблюдении этих условий получился величавый стих героической эпопеи, так называемый *гекзаметр*, т. е. «шестимерный» стих:

Гнев, о богиня, воспой нам Пелеева сына Ахилла,
Гнев роковой, что несметных стал бед для ахейцев причиной,
Много бестрепетных душ он низринул в обитель Аида
Витязей, их же самих на пожранье бросил небесным
Птицам и яростным псам в исполнение Зевсовой воли.

В своем соединении равномерности с разнообразием, обусловленном как чередованием стихов нисходящего и восходящего ритма, так и возможностью стяжения двух кратких слогов в один долгий, это — самый совершенный стих, когда-

либо употреблявшийся в каком-либо народном эпосе¹. Блестителями его законов, очень тонких и разнообразных, были всё те же аэды.

Имея в своем распоряжении и богатую сокровищницу родных преданий, и оба внешних орудия их изложения, язык и стих, они, естественно, заняли высокое место среди своих соплеменников как их духовная элита. Но это была элита чисто светская: жречество вообще отсутствует в древнейшей Греции, посредниками между богами и людьми были, как мы видели, цари, а в частном культе — отцы семей. Всё же при своем корпоративном устройстве аэды получили преобладающее значение, подобно школам пророков в древнем Израиле; вся народная мудрость была сосредоточена в их руках, среди них же происходили и споры, обеспечившие развитие этой мудрости. Переход руководящей роли от эолийцев к более культурным ионийцам должен был могуче содействовать этому развитию. Вначале мы видим, как в силу преемственности удерживаются некоторые грубые черты в божьем быте, давно уже исчезнувшие из быта человеческого, — Зевс угрожает Гере такими мерами, которые были бы немыслимы у Гектора в обращении с Андромахой; этот консервативный божий быт производит такое же впечатление, как и эолизмы в языке героической

¹ Римляне, благодаря могучему почину Энны (в начале II в. до Р. Хр.), перенесли его в свою поэзию, в которой он продержался до конца античного мира и перешел в средневековье. Для поэзии новой Европы, не признающей количественного принципа, его приобщение было обставлено известными трудностями; наименьшими сравнительно для немецкой, гекзаметр которой был доведен до совершенства Платеном. В хороших условиях находится и русская поэзия, от которой отсутствие количественного принципа логически требует только одной жертвы: отказа от стяжения двух кратких в один долгий и обусловленного им разнообразия в построении стоп. Попытка воспроизвести это разнообразие примешиванием к дактилям хореев в так называемых «вольных гекзаметрах» разрушает основной принцип греческого гекзаметра: равномерность, и в такой же степени противно духу русской поэзии, допустил ее, к сожалению, Гнедич по недоразумению, но Жуковский и Пушкин от нее справедливо отказались в пользу единственно допустимого чистого гекзаметра. Еще менее извинительна бесцелурность, разрушающая чередование нисходящего и восходящего ритмов и с ним одну из главных красот греческого стиха.

эпопеи. Но мало-помалу и эти представления очищаются, религиозная мысль аэдов, несмотря на их светский характер, ведет постепенно к признанию всемогущества, всеведения и во всяком случае преобладающей благодати богов, становящихся все более и более стражами нравственного закона для людей.

Вернемся однако к чисто литературному значению аэдов. Как эпические певцы, переложившие в стихотворную форму родные предания, они называли себя «гомеридами», т. е. буквально «с-ладителями» (от *homo* — «со» и корня *ar* — «лад»). Это название в свою очередь вызывало представление о родоначальнике *Гомере* как творце эпопей, распеваемых гомеридами; легенда приплелась к этому имени, кристаллизуя вокруг него разрозненные сведения об отдельных певцах, встречающиеся там и сям в «гомеровских» поэмах, и эллины исторической эпохи уже обладали развитой биографией своего древнейшего поэта, удовлетворявшей их стремлению к индивидуализации также и коллективного творчества.

Конечно, коллективный характер созидания гомеровского эпоса не исключал и личного элемента; таковой должен был проявиться с особой силой в начале и в конце процесса его возникновения. В начале должен был явиться по личному почину план поэмы; в конце чья-нибудь личная воля должна была подвергнуть всю совокупность эпопеи, разумея под нею первоначальное ядро с его последовательными наслоениями, коренной редакции, возвращая ей потерянное благодаря этим наслоениям единство. Это было делом поэта, и притом поэта даровитого; он следовал в своей деятельности ряду тонких законов, которые мы только теперь начали обнаруживать. Из этих законов, быть может, самый замечательный — «закон хронологической несовместимости», в силу которого два действия никогда не рассказываются как параллельные и нить эпического повествования никогда не возвращается к точке своего отправления. Именно неукоснительное соблюдение этого закона доказывает сознательность редакции гомеровских поэм.

Пора однако обратиться и к их содержанию.

§ 6. Анализ «Илиады»

Мы видели выше, как первоначальная космогоническая поэма об усилиях богочеловека спасти царство богов и побороть угрозы сил Земли постепенно обратилась в человеческую эпопею о гнев ахейского племенного богатыря Ахилла, неразрывно соединенную с преданием о Троянской войне; когда упомянутый поэт-редактор свел воедино всю совокупность ядра и наслоений, результатом его работы была обширная поэма в 15 с лишком тысяч стихов, разделенная позднее на 24 песни наша «Илиада».

Уже десятый год кипит война ахейцев с Илионом-Троей и ее царем Приамом, вызванная похищением Елены троянским царевичем Парисом-Александром; и все еще муж и деверь похищенной, братья Атриды, Менелай и Агамемнон, не могут добиться восстановления своих прав. Осаждающие ахейцы вынуждены добывать себе продовольствие походами на соседние области; в одном из них Ахилл, самый храбрый витязь в ахейской рати, захватил среди прочей добычи и Хрисеиду, красавицу дочь Аполлонова жреца Хриса; при разделе добычи она была присуждена как почетный дар от всего войска его верховному вождю Агамемнону. Таково положение в начале поэмы.

Огорченный отец приходит в ахейский стан: «Почтите Аполлона, верните мне мою дочь». Агамемнон ему отказывает. Тогда он взмаливается к своему богу: «Отплати ахейцам за мои слезы твоими стрелами». Внял ему Аполлон; его стрелы стали распространять чуму в ахейском стане. Величавое описание этой чумы — начало поэмы. По почину Ахилла созывается собрание войска; по его же настоянию вещатель Калхант открывает причину бедствия: Хрисеида должна быть возвращена отцу. С тяжелым сердцем соглашается Агамемнон: уж очень полюбила ему красавица пленница. Но в этом деле есть и другая сторона: она ведь была ему и почетным даром от войска; «мне ли одному остаться непочтенным?» Ахилл возражает; страсти разгораются. «А, ты не признаешь моих прав — так я, назло тебе, вознагражу себя за твой счет, возьму твою

пленницу Брисеиду». Так возникает *гнев Ахилла*: он обращен против Агамемнона, но и против остальных ахейцев, одоббивших своим молчанием его поведение. Не будет им более помощи от него: пусть сами как знают справляются с троянами.

Дальнейшее развитие поэмы этим намечено: принимая вызов Ахилла, Агамемнон даст троянам битву и будет разбит. Но тут вступает в силу особый закон гомеровской эпики — «закон двойного зрения», как я его назвал. Ведь все происходящее происходит по божьей воле, по воле Зевса; что же заставило Зевса дать удовлетворение Ахиллу? Правота его дела? До этой высоты религиозное сознание еще не поднялось: боги еще не являются блюстителями нравственного закона. Нет: Зевса упростила божественная мать Ахилла, морская царевна Фетида. Такова небесная причинность, независимая от земной, таково «двойное зрение» Гомера. Тем более ждем мы в дальнейшем поражения ахейцев; этим ожиданием кончается *песнь о ссоре царей — первая песнь «Илиады»*.

Это ожидание усиливается во второй. Агамемнон решает дать битву троянам; чтобы воодушевить войско, он в притворной речи приглашает его отказаться от дальнейшей войны и вернуться домой. Он ждет бурных протестов; к его ужасу войско согласно, оно бросается к кораблям, чтобы немедленно осуществить план позорного бегства — и лишь с трудом удаётся мудрейшим царским соратникам, старцу Нестору и «хитроумному» царю Итаки Одиссею, восстановить дисциплину.

Попутно мастерски изображается личность дерзкого и трусливого демагога Терсита, настраивающего войско против царя. Длинным перечнем ахейских сил кончается *вторая песнь*.

Третья дает начало битвы — но именно только начало. Менелай, муж Елены, видит против себя ее похитителя Париса; последний робко отступает перед справедливым гневом оскорбленного. За это его стыдит старший брат, лучший троянский витязь Гектор; под гнетом его упреков он вызывает Менелая на единоборство. Происходит *поединок между Менелаем и Парисом*, приготовления к которому красиво разобразятся так называемым *смотром со стены*, в котором

Елена показывает Приаму главных ахейских витязей. Сама она знает о поединке и его условиях; конечно, Менелай победит и она будет ему возвращена. Сладкая тоска по старинной родине, по муже, по девочке-дочери наполняет ее сердце. Менелай действительно побеждает, и все-таки она ему не возвращается: Афродита похищает побежденного Париса, переносит его чудом в его терем и своей властной волей заставляет Елену покориться ему; таково содержание *третьей песни*. Строго логически рассуждая, оно было бы уместнее в начале войны, чем на десятом ее году; есть, однако, оправдание и для этой экономии действия. Поэт не мог дать трагической вины поэмы, т. е. похищения Елены; предваряя обычай позднейшей трагедии, он заменил сцену вины *сценой виновности*, представляя нам новое поправление Парисом с помощью Афродиты священных супружеских прав Менелая.

Войска всё еще, связанные перемирием, сидят друг против друга. Все дивятся: куда исчез Парис? В этом положении троянскому союзнику Пандару приходит злая мысль: предательской стрелой убить Менелая и этим кончить войну к выгоде Париса и троян. Прекрасно во всей его жуткости описание этого *выстрела Пандара*, этой центральной части *четвертой песни*; начинается, в рамке трагедии гнева Ахилла, новая трагедия, *трагедия совести*. Боги предотвращают роковой исход: Менелай только ранен нечестивой стрелой, не убит. Все же перемирие нарушено, продолжение войны необходимо; Агамемнон обходит ряды, возбуждая всех к предстоящей битве.

Битва разгорается; но какая? Неблагоприятная для ахейцев? Нет; этот первоначальный план поэта пока оттеснен другим, естественным развитием предательского нарушения перемирия: мы видим, как перебивают друг друга кристаллизовавшиеся вокруг первоначального ядра наслоения. Все же гнев Ахилла не забыт; отсутствующего витязя заменяет почти равный ему по отваге Диомед, *подвиги Диомеда* — содержание *пятой песни*. Его, видимо, воодушевляет покровительница ахейских бойцов Паллада-Афина; он настигает и карает заслуженной смертью виновника нарушения перемирия предателя

Пандара; но поэт не прощает и божественной его виновницы, нарушительницы условий поединка Афродиты. Паллада сняла с очей Диомеда поволоку человеческой слепоты, он видит материнскую заботу Афродиты о своем сыне, благочестивом Энее, взявшем Пандара на свою колесницу и теперь едва не разделившем его участь. «Отступи, Зевсова дочь! Довольно с тебя и того, что ты слабых женщин обольщаешь!» — кричит ей бесстрашный витязь, раня ее в руку. И далее, и далее развивается битва; везде впереди Диомед, любимец Паллады.

Трояне смущены; как помочь беде? Их вещатель, царевич Елен, знает ее причину: надо умиловить грозную противницу, Палладу. С этой целью он отправляет в Трою своего брата Гектора: пусть царица Гекуба снарядит шествие женщин к храму Паллады в троянском кремле и молебствие перед ее кумиром. Гектор повинует: на мгновение шум битвы умолкает. Пока он идет в Трою, на поле происходит красивая сцена побратимства ахейского витязя Диомеда с троянским Главком; затем наши взоры возвращаются к Гектору. Мы видим его в беседе с матерью, с братом Парисом и невесткой Еленой, с женой Андромахой... Все это — сплошное ожерелье красот, но главная жемчужина в нем — это все-таки его *прощание с Андромахой* и благословение малолетнего сына Астианакта:

О, да услышит он слово: «Отца далеко превзошел ты!»

Вот почему эта *шестая песнь* — одна из самых незабвенных в «Илиаде».

Гектор возвращается к своим, ведя с собою примиренного Париса, но битва за поздним временем не возобновляется; остаток вечера занимает с обоюдного согласия *поединок Гектора и Аянта*, интересная и красивая сцена, полная рыцарского духа, не движущая однако действия вперед. И только к концу этой *седьмой песни* поэт заставляет нас вспомнить о своей главной теме — о гневе Ахилла, об обещании Зевса Фетиде, о предстоящем поражении ахейцев.

Его дает следующая, *восьмая песнь*; есть ряд красивых мест и в ней, но в общем итоге она одна из сравнительно скромных.

К ее концу ахейцы разбиты и загнаны в свою стоянку у вытянутых на морской берег кораблей; Гектор с нетерпением ждет утра, чтобы завершить свою победу, и, не возвращаясь в город, проводит ночь в открытом стане, освещаемом зловещими для ахейцев огнями разведенных костров.

Под грозой поражения гордый дух Агамемнона смиряется: он *отправляет к Ахиллу послами* Аянта Старшего и Одиссея, предлагает удовлетворение, подарки, свойство... Если бы он знал своего ретивого противника ближе — он бы оставил у себя и послов, и подарки и, отправившись к нему лично, с теплыми словами примирения протянул бы ему руку. Теперь же эта торжественность посольства, несмотря на все искусство Одиссея и всю товарищескую откровенность Аянта, только бережит рану оскорбленного героя. Нет, пусть управляются без него; он к своим не вернется. Этим решительным отказом кончается *девятая песнь*, мастерская по выдержанности заполняющих ее речей.

Неудачный исход посольства еще более удручает ахейцев; надо что-нибудь предпринять, чтобы поднять их поникший дух. Ночь еще не прошла; там, в равнине, раздражающе сверкают злорадствующие троянские огни. Одиссей и Диомед идут на разведку. Им навстречу попадает отправленный с такой же целью в ахейский стан троянец Долон. Трусливый лазутчик, чтобы только спасти свою жизнь, рассказывает ахейским витязям все, что им надо. Его все-таки убивают — пусть знают потомки, что предателям нечего рассчитывать на пощаду. Пользуясь его указаниями, оба ахейца проникают во вражеский стан, убивают новоприбывшего союзника троян фракийца Реса с его ратью и уводят его коней. Таково содержание этой «Долониш», числом *десятой песни* «Илиады», свежей и занимательной, первообраза всех позднейших описаний ночных вылазок от Вергилия до Сенкевича.

И вот светает; наступил день великой битвы. Сам Агамемнон до сих пор как главнокомандующий только руководил военными действиями; теперь он решается принять в них личное участие как витязь среди витязей. *Подвигами Агамемнона* открывается эта *одиннадцатая песнь*. Они длятся

недолго; полученная от врага рана заставляет царя покинуть битву. Вскоре его участь разделяет и недавний герой Диомед, за ним — Одиссей; наконец, и Махаон, воин и врач, ранен стрелою Париса. Его берет на свою колесницу Нестор, чтобы увезти в стоянку. Видит их с кормы своего корабля Ахилл, узнает Нестора, не узнает раненого витязя: кто бы он мог быть?.. Какое ему дело? Разве он не отделил себя своим гневом от своих товарищей? Да, если бы человек мог быть последовательным! Но нет: «Иди к Нестору, друг *Патрокл*, узнай, кто этот раненый витязь». И Патрокл, скромный добрый друг пылкого сына Фетиды, повинуется; «и это было началом его беды».

Патрокл у Нестора: «Узнаю Махаона, а затем прощайте, пославший меня нетерпелив». Уж будто? Видно, зловещее предчувствие закралось в сердце юноши. Но Нестор, сладкоречивый вития, его отпустить не согласен. Он знает, что Патрокл — это наполовину сам Ахилл, что в лице его звезда спасения сверкнула над ахейцами, — и знает также чарующую силу своего слова. Он держит его за руку, рассказывает ему о подвиге своей собственной юности, как он, послушавшись отца, пришел на помощь своим, «и воины молились из богов — Зевсу, а из людей — Нестору». И когда его речь отзвучала, в душе его слушателя уже горит та воля, которая спасет его товарищей ценою его собственной жизни.

Одиннадцатая песнь кончена; мы ждем осуществления новой воли Патрокла — но оно наступит лишь в шестнадцатой, пока же поэт, неестественно растягивая возвращение его героя к Ахиллу, рассказывает дальнейшие перипетии битвы. Гектор приступом берет стену ахейской стоянки (*двенадцатая песнь*); он загоняет ахейцев в ряды их кораблей и готов разрушить огнем этот последний их оплот, но само море, куда он надеется их опрокинуть, воодушевляет их мужеством отчаяния — или, как это картинно изображает поэт, бог моря Посейдон, не узнанный ахейцами, их ободряет к сопротивлению в «битве у кораблей» (*тринадцатая песнь*). Видит это Гера, всегдашняя покровительница ахейцев; она благодарна брату, но ей страшно, как бы Зевс, заметив это нарушение своей воли, не прекратил его помощи. Она решает усыпить его силою сво-

их любовных чар — следует смелое и прекрасное в его чувственной красоте описание «обмана Зевса» (*четырнадцатая песнь*). Ахейцы побеждают, но ненадолго: Зевс просыпается и восстанавливает прежнее положение. Опять ахейцы оттеснены к кораблям, их оставшийся вождь Аянт стоит на наиболее угрожаемом месте с длинным копьём в руке и убивает им всякого, кто подступает с огнем. Еще он обороняет ахейцев; но надолго ли хватит его сил? (*Пятнадцатая песнь*.)

И вот Патрокл вернулся к Ахиллу, со слезами в глазах передал ему просьбу Нестора. Уничтожения кораблей и он, Ахилл, допустить не может, это было бы слишком; пусть же Патрокл берет товарищей-воинов, пусть отразит троян от корабельной стоянки, но затем пусть тотчас возвращается к нему, не преследуя врагов под Трою. И Патрокл твердо решил так поступить. Нагрянув со своей ратью на утомленных троян, да еще в доспехах Ахилла, так что его вначале приняли за его могучего друга, он легко очистил стоянку от врагов; теперь можно бы и вернуться. Он так и намерен сделать. Но против него выступает один из самых храбрых троянских союзников Сарпедон, второй после Гектора. Жажда славы соблазняет юношу. Он принимает бой; Сарпедон убит. Успех опьяняет победителя; забыв о данном другу обещании, он мчит колесницу вперед: «в Трою!» Уже стена достигнута. Но тут против него выступает его роковой враг — Гектор. Против него он бессилен. «А, это ты хотел взять нашу Трою!» И душа убитого отправилась в подземную обитель; кончена песнь о *подвигах Патрокла* — *шестнадцатая песнь* «Илиады».

Семнадцатая содержит описание битвы за его тело; так как в ней особенно отличился Менелай, помнивший, что Патрокл пал ради его, Менелая, чести, то она называется песнью о *подвигах Менелая*. Ахейцам снова приходится туго; доспехами Патрокла, — т. е., собственно, Ахилла — завладевает Гектор, да и тело с трудом удаётся вынести с места падения; а донесут ли до стоянки, неизвестно... Разве что сам Ахилл поможет?

К нему отправляется с грустной вестью младший сын Нестора Антилох, любимейший его друг после Патрокла. Ахилл падает на землю; с криком зовет он свою божественную мать.

«Что с тобою, мой сын? Что огорчает тебя? Удовлетворение ты ведь получил?» Да, получил! Лучше бы перед тем погибнуть... Теперь у него одно желание — отомстить за друга. Но доспехов у него нет; пусть же он подождет, пока она принесет ему новые: а для спасения тела Патрокла достаточно будет и одного его появления. И он появляется, раздается его могучий зов — враги бегут, тело спасено. Кстати и вечер наступил — вечер долгого дня, начавшегося с «подвигов Агамемнона». А ночь Фетида проводит в кузнице Гефеста, где искусный бог кует новые доспехи для ее сына — причем подробно описываются изображения на «щите Ахилла» (*восемнадцатая песнь*).

Следующий день приносит Ахиллову битву и, как вступление к ней, торжественное примирение героя с Агамемноном. Брисеида ему возвращается, но она уже более не радует его огорченного сердца — он живет только для мести (*девятнадцатая песнь*). Гектор пока уклоняется от боя — не рассчитывая на победу, он умело руководит отступлением своих, причем Ахиллу приходится довольствоваться успехами против менее значительных витязей (*двадцатая песнь*). Все же он теснит троян дальше и дальше; вот уж и Скамандр, троянская река, делящая на две части равнину битвы. Он возмущен тем, что неутомимый богатырь заполнил трупами его чистое русло; заманив его туда самого, он обрушивается на него всей силой своих волн, Ахилл едва не гибнет — поразительно по своей смелости это описание «речной битвы»; спасает его Гефест, зажегший в отместку Скамандру степной пожар (*двадцать первая песнь*). И вот, наконец, достигнута Троя; там, на башне, стоят старики Приам и Гекуба, тщетно умоляя своего сына Гектора тоже войти в город. Он твердо решил дожидаться врага у городских ворот; но его решимость тает при его появлении, при страшном блеске его копья. Войти в ворота поздно; он бросается бежать вдоль стены. Трижды гонит его Ахилл вокруг нее; с участием взирает на него Зевс:

Горе! Любимого мужа, гонимого около града,
Видю очами своими, и плачет о нем мое сердце.

И мы с умилением отмечаем эту черту в религиозном сознании греческого певца, внушившего своему богу такое милостивое отношение к врагу своего народа.

Конечно, Гектору придется погибнуть в неравном бою. Но поэтом опять руководит закон двойного зрения. Судьба Гектора решается в вышних: сам Зевс взвешивает жребии обоих противников на весах Миры; поникает жребий Гектора, покидает его Аполлон, к Ахиллу же подходит Афина. Гектор гибнет. Крик вырывается из груди Гекубы на троянской башне; слышит его Андромаха, прибегает в тревожном предчувствии — и видит, как разъяренный победитель привязывает к своей колеснице труп ее мужа и мчит его к своей стоянке. Кончена песнь *о гибели Гектора* — *двадцать вторая песнь «Илиады»*.

После песни крайнего напряжения — песнь отдыха: *двадцать третья*, песнь *о похоронах Патрокла*. Уже здесь слышатся примирительные звуки с того света: Ахилл хочет утешить душу убитого описанием страшной мести за него, но душа является ему во сне с жалобой: «Зачем ты забыл обо мне? Похорони меня скорее»... Пока эта наука пропадает даром. Ахилл с блеском справляет похороны убитого друга, украшая траурное торжество состязаниями, описание которых составляет главный предмет песни.

Вот и похороны кончены; наступает ночь — Ахиллу не спится. Отчего он не спокоен? Вторично ему дано полное удовлетворение; он отмстил за смерть друга, труп его убийцы тут же в бесчестии вблизи его палатки. Ночь пришла, а сна нет... Вдруг дверь в его палатку тихо отворяется — перед ним старец в глубоком горе. Он бросается перед ним на колени, целует его руку:

Вспомни отца своего, о Ахилл, небожителем равный,
Старца такого ж, как я... Но ведь я еще более жалок:
Я испытую, чего на земле не испытывал смертный:
Мужа, убийцы моих сыновей, лобызаю я руку.

Это — Приам, пришедший просить Ахилла выдать ему для честных похорон тело его сына. Приам его понимает: не посольство снаряжает он к нему, а сам приходит, сам являет ему

пример ничтожества земного величия. И Ахилл понимает Приама. Вначале мстительность еще борется с добрыми чувствами, но затем эти чувства побеждают. Он протягивает руку просителю; его просьба исполнена.

Так хоронили трояне наездника Гектора тело.

Этим стихом кончается *двадцать четвертая песнь* и вся «Илиада».

ОБРАЗЦЫ

ИЗ «ИЛИАДЫ»

1. Вступление. Чума (песнь I, ст. 1–54)

Отрывок приводится как образец редкого у Гомера сжатого письма, еще без «эпического раздолья» (о нем см. ниже § 8).

Гнев, о богиня, воспой нам Пелеева сына Ахилла,
Гнев роковой, что несметных стал бед для ахейцев причиной:
Много бестрепетных душ он низринул в обитель Аида
Витязей, их же самих на пожранье бросил небесным
Птицам и яростным псам. И свершилась Зевесова воля.
Песнь же начни с того дня, когда лютой враждой воспылали
Дивный воитель Ахилл и владыка мужей Агамемнон.
Кто их подвиг из бессмертных в нерадостном споре сразиться?
Феб Аполлон. На царя ополчился он гневом и войско
Язвою злой поразил, от нее ж умирали народы,
Хриса, жреца своего, на обидчике скорбь вымещая,
Ибо отправился Хрис к кораблям быстроходным ахейцев:
Выкупить дочь он желал, предлагая несметное злато.
Бога повязки белели, далекоразящего Феба,
Посох венчая жреца: и взмолился ко всем он ахейцам,
Всех же превыше к Атридам двоим, повелителям рати:
«Слава Атрея сынам и красивопоножным ахейцам!
Вам да дозволит Зевес и Олимпа властители боги
Город Приама добыть и счастливо домой возвратиться;

Мне же отдайте вы дочь и богатый мой выкуп примите
Зевсову сыну в угодую, далекоразящему Фебу».
Все благоречьем ахейцы на Хриса ответили слово:
«Должно уважить жреца и принять его выкуп роскошный».
Но не по праву то было царю Агамемнону: гневно
Хрису уйти приказал он, напутствуя словом обидным:
«Старец! Смотри, чтоб тебя в судовой я не встретил стоянке!
В ней ты и ныне не медли и впредь не дерзай появляться!
Иначе, знай, не помогут тебе ни повязки, ни посох¹.
Дочери ты не получишь от нас; ее старость настигнет
Раньше в аргосском чертоге, вдали от отчизны любимой,
Кросен работницей наших и царского ложа усладой.
Ты же ступай и меня не гневи, да уйдешь невредимым!» —
Так он сказал; испугался старик и покорствовал речи.
Молча он вышел на брег неустанно шумящего моря.
Там, от своих отделившись, он истово к богу взмолился,
К Фебу-властителю, сыну прекрасноволосой Латоны:
«Внемли мне, бог сребролукий, что Хрису мою охраняешь,
Киллу святую блюдешь и могуче царишь в Тенедосе!²
Если когда-либо храм тебе твой осенил³ я в угодую,
Если когда-либо в жертву сжигал тебе тучные бедра
Козьи и телячьи — о, ныне моей не отвергни молитвы:
Слезы мои да искупят стрелами твоими данайцы!» —
Так он, моляся, сказал, и мольбе его внял сребролукий:
С гневной душой он спустился с высот поднебесных Олимпа,
Лук за плечами неся и колчан о покрывше надежной.
Звякнули стрелы его, когда с места он двинулся, гневом
Лютым горя, и все дале он шествовал, ночи подобный.
Сев от судов в стороне, он стрелою нацелился в войско.
Страшен был звон тетивы, что серебряный лук изгибала,
Мулов сперва убивал он и псов белоногих; но вскоре
Острыми стал он стрелами людей поражать — и несметных
Ряд похоронных костров запылал в корабельной стоянке.
Девять томилося дней под стрелами незримыми войско;
А на десятый Ахилл всенародное вече назначил.

¹ *Посох* свидетельствует о его жречестве, шерстяные *повязки* — о просительстве: он вдвойне священен.

² *Хриса, Килла, Тенедос* — места культа Аполлона близ Трои.

³ *Осенил* — неясно и в подлиннике.

2. Прощание Гектора и Андромахи (песнь VI, ст. 399—502)

Там¹ ее встретил супруг, и кормилица шла вслед за нею
С нежным дитятей на белых руках, еще вовсе малюткой:
То Гекторид был любимый, подобный звезде лучезарной.
Сына родитель Скамандрием² звал; величали другие
Астианактом³ за то, что лишь Гектор был Трои спасеньем.
Витязь теперь улыбнулся, безмолвно на сына взирая;
У Андромахи же слезы из глаз покатились; к супругу
Близко она подошла и, схватив его руку, сказала:

«О злополучный, погубит тебя твоя храбрость; не жалко,
Видно, ни сына тебе, ни меня, горемычной, что скоро
Стану вдовой по тебе: тебя скоро убьют аргивяне,
Вкупе тебя окружив. Если ж ты меня бросишь — спуститься
Лучше под землю и мне. Уж ничто мне души не согреет
После кончины твоей; моя доля — сплошное несчастье:
Нет у меня ни отца, ни приветливой матери: смерти
Предал отца моего победитель, Ахилл богоравный,
Он же и град разорил киликиян, мужами обильный,
Фивы высоковоротные⁴. Пал от него мой родитель;
Все же доспехов с него он не снял: убоился бесчестить
Он старика. Он его погребению честному предал
Во всеоружье и там же курган ему царский насыпал,
А орады шатром его вязов высоких покрыли.
Семеро братьев моих процветало в чертоге отцовском —
Все они в день тот единый в поддонное царство спустились:
Все от Ахилла они полегли быстроногого в битве,
Стадо коров кривоногих блюдя и овец белорунных.
Мать же родную мою, что царила над Плаком лесистым,
Вместе с другою добычей приведши сюда, отпустил он
Снова в родительский дом, получив подобающий выкуп:
Там же ее Артемида безбольно стрелой поразила⁵.

¹ Там — на улице по направлению к Скейским воротам и башне.

² Скамандрий — в честь бога троянской реки Скамандра.

³ Астианакт — от *asty* — город и «анакс» (род. *anaktos*) — владыка.

⁴ Фивы под Плаком, одним из отрогов Иды троянской, их (мифических) киликиян не смешивать с историческими в юго-восточной области Малой Азии.

⁵ Смысл: умерла скоропостижно от неведомой причины.

Гектор! Ты ныне отец мне и ты же почтенная мать,
Ты же и брат дорогой мне, и ты же супруг мой цветущий!
О, пожалей же меня, оставайся за крепкой стеною,
Дабы не стал сиротою твой сын и вдовою супруга».

Гектор отвечивал ей, о сверкающем шлеме воитель:
Этим я сам озабочен, жена, но стыжусь нареканий
Доблестных в битве троян и роскошноодетых троянок,
Если, как трус, уклонюсь я от сечи за крепкой стеною.
Да и душа не дозволит: привык я считаться отважным
И среди первых в троянских рядах с супостатами биться,
Славы великой отца моего и моей охранитель.
Правда, настойчиво сердце и разум меня уверяют:
Будет тот день роковой, что погубит священную Трою,
С нею Приама-отца и народ копьеносца Приама.
Но не страшат меня так предстоящие Трои страдания,
Горе Гекубы самой и державного участь Приама,
Братьев судьба, что во прах под ударом врагов разоренных
Лягут — а ляжет их много, и доблестью все непорочны, —
Всех их не столько судьбой озабочен я, сколько твоею,
Мысля, как с плачем пойдешь ты вослед меднобронному мужу,
Воли своей лишена; как ты в Аргосе ткацкой работой
Будешь служить госпоже; как тебя за водою отправят
К Среднему града ключу или к Верхнему — сердце возропщет,
Но приневолит нужда. И увидев в слезах тебя, скажут:
«Гектора это вдова, что в сражений троянских годину
Доблестью всех превзошел конеборцев — сынов Илиона».
И ты услышишь ту речь, и сильнее твоя рана занает:
Вспомнишь с тоскою о том, кто тебя охранял от неволи.
О, да сокроет сыпучая персть меня мертвого раньше,
Чем я услышу твой вопль и потуги борьбы непосильной!»

Так он сказал, и к младенцу простер свои руки воитель;
С криком младенец назад к полногрудой кормилицы лону
В страхе припал, испугавшись убора отца дорогого —
Меди зловещего блеска и гребня о конском султানে,
Грозно кивавшем с вершины слепящего гладкого шлема.
И засмеялись почтенная мать и родитель любезный:
Шлем с головы своей тотчас снимает блистательный Гектор,
На землю ставит его, чтоб оттуда сверкал он безболно.
Сам же он обнял дитя, на руках покачал его вволю

И помолился, взывая к бессмертным и к Зевсу-владыке:
 «Зевс и бессмертные боги! Да будет и этот младенец,
 Сын мой, как я, когда время придет, средь троян превосходен,
 Так же и силой могуч и престолом почтен в Илионе!
 И да услышит он слово: „Отца далеко превзошел ты!” —
 С боя домой возвращаясь с доспехом кровавым в деснице,
 Снятым с врага, и да дрогнет от радости матери сердце».

Так говоря, возвратил он супруге любимой младенца.
 Та, улыбаясь сквозь слезы, его к благовонному лону
 Крепко прижала. Заметил супруги волнение Гектор:
 Жалости полный, рукой приласкал ее, так утешая:

«Бедная ты! Не круши чрезмерной тревогою сердца.
 Мире¹ никто вопреки не пошлет меня в царство Аида,
 Воли же Миры своей не избег ни один земнородный,
 Будь он труслив или храбр, с той поры как на свет он родился.
 Ныне ж вернися домой и займись своим делом привычным,
 Прялкой и ткацким станком, и прислужниц к работе урочной,
 Как подобает, приставь. О войне ж позаботятся мужи,
 Все Илиона сыны, а превыше их всех — их царевич».

Так говоря, осенил себя снова сияющий Гектор
 Шлемом своим густогривым. Домой удалилась супруга,
 Все озираясь назад, проливая горячие слезы.
 Вскоре чертог ее принял, прекрасный в убранстве уютном,
 Гектора грозного; там суежилась несметная челядь:
 Все, госпожу увидав, огласили рыданьем хоромы.
 Так-то при жизни еще в своем доме оплакан был Гектор:
 Словно не верилось им, что вернется с войны невредимым
 Их господин, избежав кровожадной отваги ахейцев.

3. Посольство к Ахиллу (песнь IX, ст. 224—431)

Обе составляющие речи по композиции и стилю противоположны друг другу. *Речь Одиссея* (ст. 225—306) — образец обдуманной и расчлененной речи; состоит она из узаконенных позднейшей риторикой для советательной речи четырех частей: вступления (ст. 225—31), описания положения дел (232—46), обоснованного требования (ст. 247—300, см. сноску к ст. 247) и заключения (ст. 301—06). О речи Ахилла см. сноску к ст. 308—426. Обе вместе они предвзвешивают позднейшие драматические «агоны».

¹ *Мира* (Μοῖρα) — богиня судьбы, у римлян *Парка*.

Кубок наполнив, Ахилла приветствовал вождь итакийский:

«Друг мой, здоровье твое! Не обижены мы угощением,
Ни в тароватом шатре Агамемнона, сына Атрея,
Ни у тебя: усладительных яств нам предложено много.
Но не по сердцу нам ныне пиров беззаботных утеха:
Горе великое нас, о питомец богов, поразило.
Трепет нам души объял, и вещает нам надвое сердце:
Или спасти корабли — или пасть, если ты нас покинешь.

Тут же, у емких судов и стены¹, супостат горделивый
Стан свой разбил — и трояне, и рати союзной отряды.
Много костров развели они всюду с угрозою явной:
«Медлить не будем — как вихрь на суда их крутые нагрянем!»
Зевс озаряет им путь, посылая счастливые знаки
Молний небесных; а Гектор, кичась необорною силой,
Страшно бушует, на Зевса надеется он; нипочем уж
Боги и люди ему; обуянный неистовством диким,
Молится он, чтоб скорее Заря золотая явилась,
Молвя, что быстро с судов он красу кормовую отрубит,
Пламенем бурным затем подожжет их, самих же ахейцев
Всех уничтожит в удушливой мгле беспросветного дыма.
Вот чего страшно боюсь я: исполнят бессмертные боги
Злые угрозы его и судят нам погибнуть бесславно
В вражьей троянской земле, далеко от отчизны любимой.

Друг мой!² Решись — если хочешь ты подлинно воинов наших
В их притесненье спасти, хоть и поздно, от грозной напасти.
Иначе сам пожалеешь; когда уж свершилась гибель,
Тщетно искать исцеленья. Заранее должен ты здраво
Мыслью раскинуть, чтоб пагубы день отвратить от данайцев.
Вспомни, родной, что тебе заповедал Пелей, твой родитель,
В день, когда к рати Атрида тебя посылал он из Фтии³:
«Сын мой, тебе одоленье Афина и Гера даруют,

¹ Стены ахейской, о ней см. далее ст. 348.

² Начало третьей и главной части: обоснованное требование «прекрати свой гнев». Основания: 1) потом будет поздно, ст. 247–51; 2) заветы Пелея, ст. 252–60; 3) дары Агамемнона, ст. 261–99; четвертое основание, любовь к товарищам, побережено для заключения. Из этих пунктов самый слабый, ввиду настроения Ахилла, третий. Одиссей помещает его с тонким психологическим расчетом между двумя наиболее сильными. Так учила и позднейшая риторика (*odro Homericus*).

³ Фтия в Фессалии — родина Ахилла, царство его отца Пелея.

Если их милость на то; свое ж сердце мятежное сам ты
 Сдерживать должен в груди, ибо ласковость лучше гораздо.
 Не отдавайся вражде злоумышленной, чтобы охотней
 Чтили ахейцы тебя, молодые равно как и старцы». —
 Так тебе молвил отец твой, его же забыл ты науку.
 Но хоть теперь примиришь, отказавшись от горестной распри,
 Царь же дары дорогие тебе предлагает, коль гнев свой
 Ты прекратишь... Ну, послушай: тебе перечислить хочу я,
 Что обещал тебе дать в своей ставке владыка микенский...

(Перечисляются дары: золото, медь, кони, рабыни.)

Их он дарует тебе, а меж ними ту деву, что отнял
 Он у тебя, Брисеиду, и клятву великую даст он,
 Что никогда не делил ее ложа в утехе любовной,
 Как это терпит закон, и мужчинам, и женщинам данный.
 Все это *ныне* тебе приготовлено. Если же боги
 Город великий Приама добыть разрешат — свое судно
 Златом и медью по край ты наполнишь, войдя самолично
 В круг, когда будем делить мы, ахейцы, сокровища Трои.
 Сам же ты двадцать троянок себе изберешь, что красую,
 После Елены самой, среди всех превосходнее будут.
 Если же в Аргос ахейский вернемся, счастливую землю,
 Будешь ты зятем царю и с Орестом тебя он сравниет,
 Сыном последнерожденным, взлелеянным в неге беспечной.
 Все это даст он тебе за отказ от тяжелого гнева.

Если же сам Агамемнон сверх меры тебе ненавистен,
 Он и подарки его, — пожалей хоть других ты ахейцев
 Многострадальную рать: точно бога тебя они будут
 Чтить. Ведь великую славу стяжать ты их можешь оружием —
 Гектора можешь сразить. Роковой обуянный гордыней,
 Встретится он и с тобой: никого не считает он равным
 Силе своей, сколько нас ни доставили с Аргоса струги». —

Так говорил Одиссей; и ответил Ахилл быстроногий¹:
 «Витязь, питомец богов, многохитростный отпрыск Лаэрта!
 Должен на речь я твою непротивным ответить отказом,

¹ Речь Ахилла (ст. 308—426) — прямой контраст с предыдущей. Расчленения никакого; мысли нанизываются одна на другую, в центре кошмарное чувство: «я обманут, оскорблен, обижен» (соответственные места ради наглядности напечатаны курсивом).

Как мне внушает душа и как будет исполнено мною,
Чтоб не пришлось вам опять досаждать мне беседой напрасной.
Мне ненавистен в душе, как врата душегуба Аида,
Тот, кто одно сокрывает в душе, говорит же другое.
Нет; от меня вы услышите то, что мне кажется лучшим.
Не убедит меня речь Агамемнона, сына Атрея,
Ни остальных аргивян. Благодарности мне ведь не будет,
Сколько бы я ни сражался за вас с неприятелем в поле.
Доля одна домоседам и тем, что без устали бьются;
Честь не иная отважным бойцам и презренному трусу;
Равная смерть и работника ждет и бездельного мужа.
Много я выстрадал горя — и пользы отныне не вижу
В том, чтобы, жертвуя жизнью своей, с супостатом сражаться,
Словно как matka, что пищу бесперым птенцам промышляет,
Мушку, какую найдет, а самой ей несладко живется.
Так же и я: без числа проводил и ночей я бессонных,
И окровавленных дней, неустанно сражаясь с врагами;
С храброю ратью троян, добывая супруг для Атридов¹.
Взял я, с судами плывя, городов населенных двенадцать,
С пешей одиннадцать ратью в пределах державы Троянской;
Много добыл я добра драгоценного в них; и, добывши,
Всё Агамемнону в стан относил я покорно. И что же?
Он, оставаясь в тылу, в судовой безопасной стоянке,
Брал, что ему приносил я, немного вам раздавая,
Большую часть оставляя себе. Но что роздал другим он,
То и осталось у них; *одного лишь меня средь ахейцев*
Он обесчестил, лишив меня милой супруги... Ну, что же!
Пусть наслаждается ею... Зачем же воюют аргосцы
С градом Приама? Зачем собирал свою рать Агамемнон,
В Трою зачем привозил? Не Елены ль красавицы ради?
Что же? Атриды одни среди стольких людей земнородных
Жен своих любят? Я думаю всяк, кто и добр и разумен,
Любит свою и жалеет ее; так и я Брисеиду
Всею душою любил, хоть и взял ее силой оружия...
Ныне же отнял ее, обманув меня, царь Агамемнон;
Ласку познал я его. Пусть же бросит попытки: удачи

¹ Для Менелая — Елену, для Агамемнона — Хрисеиду. Они для Ахилла на одной плоскости, так же как его Брисеида (см. ниже): он признаёт только любовь.

Боле не будет ему. Пусть с тобой и с другими вождами
Держит совет, чтобы вражий огонь отразить от стоянки.
Вижу, немало и так без меня потрудились он: стену
Перед судами воздвиг, окружил ее рвом укрепленным,
Длинным, широким, и дно частоколом уставил... Напрасно!
Гектора-мужеубийцы сдержать не сумел он отваги,
Я же пока воевал среди войска ахейского, битвы
Не предлагал вне стены нам царевич на поле открытом;
Только всего и ходил, что до Скейских ворот и до дуба,
Там лишь скрываясь: и то моей силы с трудом он избегнул.
Будет! Не стану я впредь с бронеблещущим Гектором биться.
Завтра Зевесу тельцов и другим я бессмертным зарежу,
Плотно суда нагружу и в глубокое море спущу их.
Ты ж, если будет охота и память напомнит, — увидишь,
Как они с ранней зарей по волнам Геллеспонта умчатся,
Полные сильных мужей, погружающих весла усердно.
Пусть только плаванье даст нам счастливое моря властитель —
В третье надеюсь я утро кормилицы Фтии достигнуть...
Много сокровищ я в ней, отправляясь под Трою, оставил,
Много отсюда везу: и сверкающей меди, и злата,
И полногрудых рабынь, и седого железа — добычу,
Жребием данную мне... *А почетный мой дар — его отнял
Тот, кто его присудил, Агамемнон, в гордыне обидной...*
Всё же ему расскажите, что вам я поведал, — открыто,
Чтоб возроптали на злобу его и другие ахейцы,
Если еще одного обмануть он надеется, в ризу
Вечно бесстыдства одетый... А все ж не решится в глаза мне,
Как он ни дерзок, взглянуть... Не намерен отныне совета
С ним я держать, и в делах не товарищ ему. *Обманул он
И оскорбил меня раз* — не обманет вторично коварной
Речью своею: довольно! Пусть с миром идет, куда хочет:
Видно, рассудка лишил его здорового Зевс-промыслитель.
Все мне дары ненавистны его, ни во что их не ставлю.
Если бы даже и в десять, и в двадцать он раз мог умножить
Все, что уж есть у него и что вновь приобрести он сумеет;
Если бы все, чем богат Орхомен¹, предложить мне он вздумал,

¹ *Орхомен беотийский* (к западу от Фив) — богатейший город героической Греции, родина золотого руна.

Все, что египетских Фив¹ золотые чертоги вмещают —
Фив, в коих сотня ворот и чрез каждые двести проехать
Могут мужей с колесницами в ряд и с конями своими, —
Если бы столько он дал, сколько в бреге приморском песчинок, —
Тщетны усилья: меня не уласковит царь Агамемнон
Раньше, чем всей не искупит *терзающей душу обиды*.
В жены я дочь не возьму Агамемнона, сына Атрея,
Если бы даже она красотой с Афродитой сравнялась,
Рук же искусством своих с ясноокой Палладой — женою
Все ж ей моей не бывать. Пусть другого найдет ей ахейца,
Нравом такого ж как он и породю выше Ахилла.
Если же боги мне жизнь сохранят и вернуться позволят,
Дома мне сам мой родитель супругу сосватает. Много
Юных красавиц цветет и во Фтии моей, и в Элладе²,
Дочери первых мужей, городов охранителей наших:
Волен любую из них дорогою наречь я супругой.
Чаще и чаще меня убеждает мятежное сердце
Взять за себя по закону жену подобающей доли,
Жить, наслаждаясь добром, что Пелей престарелый промыслил,
С жизнью ничто не сравнится ценой, никакое богатство:
Ни Илиона казна, многолюдного града, какую
В мирные дни процветала она, до прихода ахейцев,
Ни золотые дары, что за каменным скрыты порогом
Феба о грозных стрелах под отвесной скалою Пифона³.
Дело, друзья, наживное — быки и прекрасные овцы,
Медных треножников блеск и коней златогривых утех;
Душу ж не властен свою человек приневолить — вторично,
Раз из огады зубов она вырвалась, в тело вернуться.
Так заповедала мне среброногая мать Фетида:
Две меня доли ведут к неизбежному смерти пределу.
Если останусь я здесь, под стеной Илиона сражаясь,
Нет мне возврата в отчизну, зато моя слава бессмертна;
Если ж домой уплыву я, к брегам моей родины милой,
Нет вожденной мне славы, зато моя жизнь долговечна
И лишь на склоне ее меня смерть ненавистная встретит.

¹ *Фивы египетские* (стовратные) — столица Верхнего царства.

² *Эллада* у Гомера — ближайшая к Фтии часть позднейшей Фессалии, а не Греция вообще.

³ *Пифон* — то же что и Дельфы, под Парнасом.

Тот же совет и другим я даю: отправляйтесь в отчизну!
 Нет все равно вам победы на град крепкостенный Приама.
 Руку любовно над ним простирает Зевес-дальновидец,
 И под охраной могучей воспрянули духом трояне.
 Вот моя речь; передайте ее предводителям войска —
 Так ведь велит вам посольский ваш долг — чтоб иное решение,
 Лучшее, ум им внушил для спасения рати ахейской
 У многоемных судов. А от этого пользы не ждите:
 Я не боец вам с *тех пор, как мою отчуждили вы душу*». —
 Так он сказал. У послов воцарилось глухое молчанье:
 В душу запала им речь, столь крутым прозвучавши отказом.

4. Приам в ставке Ахилла (песнь XXIV, ст. 468–676)

Предшествует рассказ о том, как Приама, отправившегося ночью со своим глашатаем Идеем на колеснице в ахейский стан, чтобы отвезти повозку с выкупом за тело Гектора, встретил Гермес в образе юноши и доставил безопасно к ставке Ахилла.

...Так возвестив, удалился Гермес на вершину Олимпа.
 Спрянул Приам с колесницы, при ней он Идея оставил,
 Чтобы коней он и мулов хранил среди ночи. А сам он
 Прямо направил шаги к крепкозданному дому Ахилла,
 Боголюбезного мужа; к нему подошел он внезапно,
 Обнял колени его и покрыл лобызаньями руки —
 Страшные, стольких сынов у него умертвившие в битвах.
 Сидит порою на мужа ума помраченье: убьет он
 В граде своем гражданина, бежит на чужбину, к вельможе.
 Вступит в чертог — с изумлением все на входящего смотрят —
 Так изумился Ахилл, на Приама седого взирая;
 Он же смиренно к нему обратился с молящею речью:
 «Вспомни отца дорогого, Ахилл, небожителем равный,
 Старца такого ж как я, на безжалостной смерти пороге!
 Много, боюсь я, его сопредельных царей притесняет
 Бранною силой, и нет отвратителя гибели лютой.
 Все же он слышит порою, что жив ты, — и тихая радость
 Сердце ласкает его: он надеется милого сына
 В доме иметь навсегда по возврате его из-под Трои.
 Я же несчастнее всех: благороднейших в Трое широкой

Я возрастил сыновей — и из них никого не осталось¹.
Прочих уж раньше Арес уложил в многогорестной сече;
Лишь одного пощадил он, защитника града и граждан:
Ныне и он от тебя смерть принял в бою за отчизну —
Гектор. Я ради него прихожу в судовую стоянку
Вызволить тело его и отдать подобающий выкуп.
Ты же смирись пред богами и сжался над старца кручиной;
Вспомнив отца дорогого. Но я еще более жалок.
Я испытую, чего на земле не испытывал смертный²:
Руку к устам подношу, сыновей обогретенную кровью».

Молвил; проснулась тоска по родителе тут у Ахилла:
За руку старца он взял — но опять оттолкнул его тихо³:
Скорбь обуяла обоих: о Гекторе, грозном в сраженьях,
С плачем Приам вспоминал, у Ахилловых ног убиваясь;
Тот же о милом отце — и опять о Патрокле любимом.
Долго стенания их оглашали хорому; когда же
Плачем насытился лютым Ахилл, богоравный воитель,
Быстро он с кресла вскочил и молящего за руку поднял,
Жалости полный к седой бороде и главе его белой,
И обращаясь к нему, окрыленное слово промолвил:

«Ах, злополучный! Немало, знать, горя в душе ты изведал.
Как ты дерзнул одиноким пройти в судовую стоянку,
Мужу пред очи предстать, поразившему доблестных в битве
Стольких сынов у тебя? Наделен из булата ты сердцем!
Ныне ты в кресло садись, своему ж ненасытному горю
Спать мы прикажем в груди, как оно ни терзает нам душу.
Тщетно отрады нам ждать от потуг холодящего плача:
Так уже нить нашей жизни прядут повелители-боги,
Чтобы мы жили в тоске; лишь они огорчений не знают.
Молвят, два чана стоят у порога державного Зевса:
Горести полон один, а другой — вожделем счастья.
Если кому из обоих наполнит Заоблачный чашу,
Тот испытает и горе порой, но порою и радость⁴.
Если ж из чана кручин одного — поношению предан

¹ Остались *Парис, Елен, Деифоб* и другие, но их отец в несправедливости своего горя после смерти Гектора не считает.

² Этот стих оставлен в переводе Гнедича.

³ Противоречивые движения под влиянием борьбы чувств.

⁴ Из одного чана радости он не наливает никому: это — удел богов, а не людей. В этом — суть притчи.

Тот человек: его гонит без устали гложущий голод,
 Нищим скитается он, ни людьми не почтен, ни богами.
 Так и Пелей от богов был дарами роскошными взыскан
 С раннего детства: сиял среди всех он людей земнородных
 Счастьем своим и богатством, страны мирмидонской владыка¹,
 И удостоен был смертный с бессмертной богиней союза²,
 Но и ему ниспослали несчастье боги: не видит
 Старец в чертоге своем сыновей и наследников царства;
 Лишь одного он родил — это я, обреченный. И все же
 Не утешаю и я его старости: здесь, на чужбине,
 Рать я на Трою веду и *тебя с сыновьями бездолю*³.
 Да и тебя перед тем величали счастливым народы:
 В области всей, что на запад с Макаровым царством⁴ граничит,
 С Лесбосом, а на восток замыкается Фригией Верхней,
 В области, чьи берега Геллеспонт беспредельный⁵ ласкает,
 Был ты велик и богатством, и силой сынов необорных.
 Но и тебя олимпийцы жестокой бедой поразили:
 Битвы и мужеубийства без устали в царстве бушуют.
 Будь же вынослив, души не терзай бесконечною скорбью:
 Пользы не будет тебе от печали по доблестном сыне;
 К жизни его не вернешь, только горе ты к горю прибавишь».

Так он сказал, и ответил герою Приам богоравный:
 «Не принуждай меня сесть, о питомец богов, пока Гектор
 В пренебрежение лежит у палатки; как можно скорее
 Вызvoli тело его и прими подобающий выкуп;
 Пусть принесет он тебе вожделенное счастье и будет
 Дан тебе в землю родную возврат — за твое благородство,
 Что ты мне жизнь даровал и сиянье отрадное солнца».

Грозно глазами сверкнув, ему молвил Ахилл быстроногий:
 «Не раздражай меня, старец! Волнуют и так меня думы:
 Не разжигай мне в душе опечаленной пламени гнева!
 Иначе — будешь вотще в моей ставке искать ты защиты,

¹ Мирмидоняне — граждане Фтии фессалийской, подданные Пелея и Ахилла.

² Речь идет о Фетиде, дочери морского бога Нереея.

³ Здесь поворот в душе Ахилла: разрыв со всем прошлым.

⁴ Макар — древнейший царь Лесбоса, вплетенный позднее разнообразно в генеалогии этого эолийского острова. Граница с ним Троады — морская.

⁵ Геллеспонт обнимает здесь и Пропонтиду.

Хоть и проситель ты мой, и нарушу я заповедь Зевса»¹. —
Так он сказал; испугался старик и покорствовал речи.
Сам же Ахилл, словно лев, из хоромы к дверям устремился.
С ним из дружины его поспешило товарищей двое,
Автомедонт и Алким: после смерти Патрокла обоих
Более всех он любил. Отпрягли от ярма они тотчас
Мулов и быстрых коней, а затем и глашатая в ставку
С честью ввели и в точеное кресло его посадили.
К возу затем возвратившись узорному, выкуп богатый
Сняли они, что Приам приготовил за выдачу сына,
Два лишь плаща в нем оставив и с ними хитон крепкотканый,
Чтоб обряженное тело домой отвезти мог родитель.
Вызвав прислужниц затем, повелел им Ахилл, чтоб омыли
И намастили они мертвеца — в стороне от Приама:
Он опасался, что тот, увидав его, гнева не сдержит,
Что в нем самом загорится душевного пламени искра,
Что старика умертвит он и заповедь Зевса нарушит.
Вскоре омыли они и душистыми труп намастили
Мазями; в новый хитон и в плащи обрядили, тогда лишь
Гектора поднял Ахилл, на одре распростер и с друзьями
Вместе его на узорчатый воз положил. И заплакал
Витязь, товарищу-другу печальный привет посылая:

«О, не гневись на меня ты, Патрокл, если в доме Аида
Весть долетит до тебя, что я вызволил Гектора тело²:
Выкуп принес подобающий мне его милый родитель³,
И от него ты, товарищ, достойную долю получишь»⁴.
Так возгласил он и снова в палатку свою возвратился,
Сел у противной Приаму стены на резное сиденье,
С коего встал он тогда, и сказал ему краткое слово:

«Вызвален, старец, твой сын: твоя просьба исполнена; сам ты
Завтра увидишь его на заре, когда в путь соберешься.
Тело в повозке лежит, на одре. А теперь и о пище

¹ Раздраженность Ахилла объясняется болезненностью психологического процесса, о котором свидетельствуют с. 542 и порывистость его движений в ст. 572 и 621.

² Намек на «подземную молву» (*chthonia pheme*), посредницу между обоими мирами.

³ Не жадность (Ахиллу самому близка смерть), а вопрос чести: отдача тела без выкупа была бы признаком унижения.

⁴ Единственное у Гомера свидетельство о культе мертвых после тризны.

Вспомним. О ней ведь и мать Ниобея-краса¹ не забыла —
 Та, что двенадцать детей потеряла в дворце крепкозданном,
 Шесть дочерей миловидных и шесть сыновей на расцвете
 Сил молодых. Дней девять в крови они черной лежали:
 Некому было предать их земле, ибо в камень народы
 Зевс обратил. На десятый лишь день олимпийские боги
 Похоронили детей, Ниобея же пищи коснулась.
 Вспомним о пище и мы, богоравный Приам. А оплакать
 Сына успеешь потом, в Илион его тело доставив:
 Там безутешных немало прольете вы слез о погибшем».

Молвил и, с места вскочивши, овцу белорунную витязь
 Медью заклал; с нее кожу содрали прислужники, мясо
 Чисто омыли, на части изрезали, как полагалось,
 На вертелах осторожно зажарили их и обратно
 Сняли с огня. Хлеб белый в кошницах узорчатых ставил
 Автомедонт пред гостями, а мясо Ахилл уделял им.
 Те к приготовленным яствам с охотою руки простерли;
 Вскоре они утолили еды и питья вожделенье.
 Стал на Ахилла тогда любоваться Приам богоравный,
 Росту его и красе: небожителю был он подобен.
 Также дивился Ахилл Дарданиду² Приаму, взирая
 На его ласковый лик и внимая словам его мудрым...

§ 7. Анализ «Одиссеи»

«Илиады» младшая сестра «Одиссея» так же развилась из эсхатологического мифа, как она сама из космогонического; и как там сплетение с историческими войнами, так здесь сплетение с историческими путешествиями основателей колоний способствовало очеловечению мифа. На этих путешествиях поистине многообразная смерть — и от стихий, и от людей — поджидала смелого пловца; «возвращение героя из царства смерти» очень легко могло облечься в ризу одного из них и даже многих. Вначале этим героем был сам бог, поборовший

¹ Миф о Ниобее после славной (потерянной) трагедии Софокла «Ниобея» — у Овидия «Метаморфозы» VI; но черта в ст. 610–13 для нас загадочна. По-видимому — мифологическое обоснование поминального пира.

² Дардан — родоначальник троянских царей.

смерть, аркадский Гермес; по мере очеловечения мифа его заменил смертный, Одиссей.

Конечно, и он принимал участие в Троянской войне, оставив у себя на родине, на островке Итаке, старого отца Лаэрта, верную жену Пенелопу и малолетнего сына Телемаха. Но вот война отбушевала, Троя пала, все витязи, поскольку они не погибли, вернулись домой, даже Менелай, девять лет блуждавший с новодобытой Еленой по волнам; только Одиссей вернуться не мог, его держала на далеком острове Огигии на крайнем западе нимфа Калипсо («покрывающая» — одна из разновидностей многообразной смерти), желающая внушить ему забвение родины, чтобы он навеки остался у нее. Здесь начинается поэма.

Почему только здесь? Почему поэт не рассказывает нам по порядку, как его скиталец на пути из Трои попал к далекой волшебнице? Вначале оно так и было; но окончательная редакция «Одиссеи» состоялась уже после ее введения в тот эпический цикл, о котором у нас речь впереди. По порядку цикла «Одиссея» следовала за эпосом «Возвращения»; здесь последним было описано возвращение Менелая через девять лет после взятия Трои и поэт-редактор, связанный законом хронологической несовместимости, должен был продолжать свой рассказ об Одиссее с того момента, которым он кончил рассказ о Менелее. Так он законами своей поэтической техники был заставлен изобрести прием, которому много удивлялись и подражали потомки, — ввести своего слушателя *in medias res*, предоставляя себе впоследствии рассказом самого героя наверстать упущенное пока здесь. «Одиссея», будучи значительно меньше «Илиады» — двенадцать с лишком тысяч стихов против пятнадцати с лишком тысяч там, — была позднее тоже разделена на 24 песни, которые, однако, удобно группируются в шесть частей, по четыре в каждой.

В первой (песни I–IV) поэт только издалека показывает нам Одиссея; ее содержание — *приключения Телемаха*. Паллада-Афина в образе старого Мента (Mentes) посещает подростка сына скитальца, томящегося на Итаке под гнетом двойного горя: и неизвестности о судьбе отца, и нашествия женихов, которые,

считая Пенелопу вдовой, отовсюду собрались добиваться ее руки и, впредь до ее согласия, опустошают дом без вести пропавшего. Ободренный своим гостем, Телемах решает отправиться на поиски отца. Правда, его сограждане ему при этом помощи не оказывают — женихи Пенелопы наводят на них страх. Но Афина вторично, этот раз в образе старого итакийца Ментора (Mentor), помогает юноше и сама сопровождает его в плавании к старцу Нестору в Пилос, а тот в свою очередь посылает его со своим сыном в соседнюю Спарту к Менелая. Его встречают хорошо, как Одиссеева сына; и нам отраднее присутствовать при этой вечерней заре Троянской войны, видеть в уютной домашней обстановке Нестора, Менелая, Елену. То, что они рассказывают Телемаху, внушает ему надежду, что его отец жив и вернется.

Но поэт покидает здесь, у Менелая, своего молодого героя; во *второй части* (песни V–VIII) мы вместе с Гермесом, посланником богов, навещаем самого Одиссея на острове Калипсо. Гермес передает ей приказ Зевса — не задерживать долее многотрадального витязя, пусть беспрепятственно плывет домой. С болью в сердце она прощается с любимым человеком; он сам сооружает себе лодку и на ней доверяется морю. Вначале все идет хорошо; но вот с ним встречается Посейдон, разгневанный на него... За что? Это мы узнаем впоследствии из уст самого Одиссея. Он разбивает своим трезубцем лодку героя; вплавав, после двух дней, достигает несчастный берега и в изнеможении засыпает. Будит его на следующий день девичий крик: это феакийская царевна Навсикая пришла с товарками стирать белье на морском берегу и теперь, после работы, играет с ними в мяч. Следуя ее указаниям, Одиссей отправляется к феакийцам, во дворец их царя Алкиноя, просителем обнимает колени царицы Ареты — его милостиво принимают и угощают, ему обеспечено исполнение его просьбы, отправление его домой. Но вначале царь созывает собрание своего народа — жертвоприношение, пир горой, состязания юношей, песнь аэда — и наконец, последний вопрос эллинского гостеприимства: «Откройся нам, кто ты! И зачем у тебя слезы навертываются на глаза, когда ты слышишь песни о Троянской войне?» Этим вопросом кончается *вторая часть* — «Одиссей у феакийцев».

Третья часть (песни IX–XII) содержит рассказ *Одиссея* о своих приключениях от Трои до Огигии; это — Одиссея «Одиссеи», самая знаменитая своей сказочной прелестью ее часть. Вначале у героя еще много кораблей; с ними он, нуждаясь в добыче, берет, хотя и ценою значительных потерь, город фракийских *киконцев*; потом плывет мимо побережья Греции, хочет обогнуть ее южный мыс Малею, чтобы затем продолжать путь на север, к своему родному острову, — но тут ветры его отбрасывают в южное море — начинается царство сказки. Сначала его встречает ее ласка — земля кротких *лотофагов*, питающихся «цветочной пищей» (т. е. лотосом); но эта пища так приятна, что заставляет человека забыть о родине. Затем идет ее гроза — чудовищные одноглазые *киклопы* и особенно людоед Полифем, которого Одиссей ослепляет, чтобы освободить себя и товарищей. Но этот Полифем был сыном Посейдона, и его ослепление возбуждает против героя гнев пылкого бога, неустанно его отныне преследующий. Затем опять ласка — остров справедливого *Эола*, царя ветров; желая доставить Одиссея благополучно на родину, он дает ему связанными в мехе все неблагоприятные ветры, и герой почти уже достиг своего острова — но, пользуясь его сном, его товарищи развязывают мех, ветры, вырвавшись, опять заносят его к Эолу, в этот раз царь уже отказывает «богоненавистному» в своей дальнейшей милости. И опять гроза: исполинские людоеды *лестригоны*, у которых герой теряет все свои корабли с экипажем, кроме одного. На нем он и прибывает на остров волшебницы *Цирцеи*. Коварная красавица сначала превращает часть его товарищей в свиней и не прочь так же поступить и с ним; когда же он, благодаря ответным чарам Гермеса, торжествует над ее искусством, она освобождает его товарищей и дарит ему свою любовь. Он проводит с ней год, но затем все-таки решает вернуться. Для этого, учит его Цирцея, он должен предварительно отправиться в преисподнюю и узнать свою судьбу от души старинного прорицателя Тиресия. И вот Одиссей в подлинном *царстве смерти*; он видит там и свою мать, и погибших соратников под Троей. Пользуясь и предсказаниями Тиресия,

и объяснениями Цирцеи, он отправляется в обратный путь. Он проплывает благополучно мимо прелестниц *Сирен*, манящих пловцов своей неотразимой песнью; сравнительно благополучно между прожорливой *Сциллой* и всепоглощающей *Харибдой*, но на *острове Солнца* его настигает рок. Несмотря на его предостережение, внушенное ему советами Тиресия, его неразумные товарищи, томимые безветрием и голодом, закалывают быков из заповедного стада ретивого бога; за это буря разбивает их корабли, и Одиссей один спасается на остров Калипсо Огигию. Она держит его у себя девять лет и лишь затем, по приказу богов, отпускает его; как он от нее попадает к *феакийцам*, это мы уже знаем.

После феакийцев возвращение Одиссея на родину уже обеспечено; одну только ночь длится чудесная переправа. Одиссей на Итаке, которой он не узнает, — начинается *четвертая часть* поэмы (песни XIII—XVI), которую мы по ее главному содержанию можем назвать «*Одиссей у Евмея*». Евмей — это его верный свинопас, честно оберегающий его добро от насилия хищников-женихов. Одиссея он, разумеется, не узнает, но все же радушно принимает в своей хижине, туда же приходит, простившись с Менелаем и счастливо избежав предательского покушения женихов, и его сын Телемах. Ему Одиссей открывается; они вместе обдумывают план мести беззаконникам и освобождения от них Пенелопы и дома.

Подготовления к тому и другому занимают *пятую часть* «Одиссеи» (песни XVI—XX), содержащую *приключения неузнанного Одиссея в его доме*; это психологически самая тонкая и продуманная часть поэмы. Самая трогательная сцена стоит на первом месте; приближающегося к дому хозяина узнаёт только его верная старая собака Арг, в немощи и пренебрежении лежащая на навозе, приветливо виляет хвостом — и затем испускает дух. Но и в дальнейшем много красот, превосходен этот выносливый и грозный герой, терпящий всевозможные оскорбления и унижения от захватчиков его дома и нигде не теряющий самообладания — все это, мол, вам зачтется. Превосходен он в особенности перед не узнающей его женой, позвавшей его, чтобы расспросить его о муже: признание так и

просится наружу — но нет, это было бы преждевременно, надо заглушить здесь радость, как там гнев. Наконец, наступил день расплаты; женихи, не предвидя своей участи, весело пируют. Но это — Валтасаров пир; пророк Феоклимен видит предстоящую кровь, видит хорому, полную душ, устремленных в преисподнюю, он предостерегает их — они высмеивают его, и он удаляется. Теперь — расплата.

Поводом для нее является новое решение Пенелопы, с которого начинается *шестая и последняя часть поэмы* (песни XXI–XXIV) — *месть Одиссея*. Пенелопа не в силах долее выносить разграбление дома, расхищение наследия своего сына; если все дело за ней, она пожертвует собой. Пусть же ее женихи готовятся к состязанию: кто натянет лук Одиссея и стрельнет из него указанным способом, тому она отдаст свою руку. Все радостно берутся за дело; но, увы, никто не в силах натянуть лук могучего богатыря. Делает это, к всеобщему удивлению, он сам, мнимый нищий-бродяга, исполняет условие стрельбы — и вслед за тем пускает вторую стрелу в сердце главного насильника. Тут только он дает себя узнать. После минуты ужаса женихи собираются с силами: их ведь много, на стороне же Одиссея, кроме Телемаха, только двое верных рабов. Но их надежды тщетны, все они гибнут от стрел и от копья Одиссея и его соратников. Теперь Одиссей посылает к Пенелопе — ее Телемах предусмотрительно удалил в женские покои еще до начала расправы — и дает себя узнать также и ей. Не сразу верит испытанная горем жена исполнению ее всегдашних желаний: как Одиссей не мог узнать своей Итаки, так она теперь не может узнать его. Но ее муж указывает ей верные приметы. Тут только она бросается ему на шею, целует его в голову — наступает минута неопишемого блаженства.

Все же опасность не миновала — за убитых женихов отмстят их родичи. Одиссей удаляется в пригородный замок своего отца Лаэрта, тоже несказанно обрадованного появлением своего богатыря-сына. Начинается новая битва, но именно только начинается. Испуганные громом Зевса, родичи отказываются от вражды, и прочный мир заключается между итакийским народом и его вернувшимся царем.

ОБРАЗЦЫ

ИЗ «ОДИССЕИ»

1. Одиссей в море (песнь V, ст. 278–463)

Отрывок взят здесь как образчик того «запаха моря», о котором говорится в общем очерке.

Плыл уж семнадцать он дней по путям беспредельного моря;
Вдруг на заре он увидел желанной земли феакийской
Горы тенистые — мыс, что ближайшим ему представлялся.
С виду круглилась она, словно щит средь туманного моря.

Но и его увидал, возвращаясь с пиров эфиоплян,
Издали с гор Солимиийских земли колебатель могучий.
Там среди волн он заметил его и исполнился гнева:
Грозно потрянув головой, в своем сердце он слово промолвил:
«Что это значит? Ужель, пока я на пирах эфиоплян
Дни проводил, изменили намеренья прежние боги?
Вот уж вблизи он земли феакийской, где Мира судила
Доли ему трудовой завершение. Все же напрасно
Он торжествует: еще он изведает горя немало».

Так говоря, свои тучи сбирал он и, в руку трезубец
Взяв, всколыхнул глубину непокорного моря. Слетелись
Вьюги толпой и окутали мглы беспросветным покровом
Море и землю, и ночь с омраченного неба спустилась.
Тут разрешились суставы колен и отвага героя:

«Горе! Какая судьба поразить меня сызнова хочет?
Страшным венчает венцом громоздящихся туч Громовержец
Небо, морскую пучину взъярил он, и вьюги толпою
Мчатся с высот на меня; угрожает мне лютая гибель.
Трижды блаженны мужи и четырежды, что под стеною
Трои погибли тогда, свою кровь отдавая Атридам.
Лучше бы было и мне, если б смерть меня в битве настигла
В день, когда столько в меня меднокованных копий трояне
Бросили, я ж их напор отразил от Ахиллова тела¹.

¹ Из «Малой Илиады». Когда Ахилл был убит стрелой Париса в битве у Скейских ворот, Аянт вынес его тело, Одиссей же, сражаясь, прикрывал отступление.

Славу тогда б я стяжал и покрылся бы перстью могильной;
Ныне ж мне боги судили безвестною смертью погибнуть».

Слово едва досказал он — и вал разъяренный нагрянул
Спереди с силой ужасной. Ладья затряслась; самого же
В море отбросил удар далеко от нее; рулевое
Вырвал весло он из рук у несчастного. Надвое мачту
С треском расшиб, а косицу и парус смоленный в морскую
Даль унесло. Одиссея ж волна захлестнула, и долго
Выплыть не мог он — таков был напор погрузившего вала.
Да и одежда стесняла его, что ему подарила
Нимфа¹. Но вот, наконец, на поверхность он выбился, рот свой
Освободил от воды, что с волос в изобилие струилась.
Тяжко ему приходилось, но все ж о ладье не забыл он:
Бросился вплавь по волнам и, схватив ее край, на средину
Выбрался; так свою жизнь охранил от предела он смерти.
Волны бросали ладью по теченью громадные, словно
В позднюю осень Борей над полянами вереск уносит,
Сросшийся плотно шипами в запутанный ком шаровидный,
Так и ладью Одиссея туда и сюда по простору
Ветры носили: то Нот ее кинет Борею, то снова
Евр ее бросит Зефиру, как мяч, для забавы жестокой.

В этой тревоге его дочь Кадма, Ино, увидала —
Некогда смертная речью, теперь же краса Левкофея²,
Божьей почтенная долей средь сил многошумного моря³.
Сердцем склонилась она к горемыке приветливым, села
Сбоку на край крепкозданной ладьи и промолвила слово:

«Бедный! И чем прогневил так жестоко ты моря владыку,
Что нескончаемых бед на тебя насыляет он сонмы?
Все ж, как ни гневайся он, но тебя погубить он не властен.
Ты же послушай меня — не оставлен ты разумом, вижу, —
Скинь свои ризы, ладью предоставь произволу свободных
Ветров и, морю доверив себя, к феакийскому берегу
Вплавь устремись; а уж там тебе боги судили спасенье.
Вот покрывало: его подвяжи ты под грудь. Чудесна

¹ Нимфа — Калипсо.

² Ино, четвертая дочь Кадма, спасаясь с младенцем сыном от обезумевшего мужа, бросилась в море и стала морской богиней Левкофеей.

³ То есть говорящая языком людей — самое вероятное объяснение загадочного эпитета.

Сила его, и на нем ты ни муки не бойся, ни смерти.
Помни, однако: лишь только земли ты рукою коснешься,
Снова его отвяжи и, от берега далеко, обратно
Брось его в море, глаза отвратив от таинственной глубины».

Так возвестив, протянула покров Одиссею богиня;
Белою чайкой затем в многопенные волны спорхнула
Вспять с устремленной ладьи и исчезла в чернеющей бездне.
Крепко задумался витязь; но думы прервал Земледержец.
Валом могучим прошиб он ладьи крепкосвязанной брусью,
Страшным, огромным, нависшим, и смел его с палубы
скользкой.

Словно как ветер внезапный разметывать станет соломы
Грудю сухой — то туда то сюда разлетаются стебли —
Так разметал Посейдон корабельные длинные брусья.
Как на коне, Одиссей на одном уместился; одежду
Скинул он с тела тотчас, что ему Калипсо подарила,
Вместо нее подвязал покрывало богини под грудь,
Бросился в волны стремглав, простирая могучие руки,
Вплыв устремляясь к далекой земле. Посейдон же владыка,
Грозно потряхнув головой, его лютым напутствовал словом:
«Много ты бед испытал — испытай же и эту. По морю
Бурному вволю плыви, пока божьих людей не обрящешь.
Карой ты будешь доволен, что ныне тебе ниспослал я».

Пуще взъярились волны; две ночи, два дня между ними
Плыл Одиссей, и не раз его сердце погибели ждало.
Но когда третьего дня показалась заря золотая,
Ветер внезапно затих, расходившийся вал усмирился,
Все прояснилось кругом — и, волною приподнятый, с гребня,
Взор напрягая, увидел вдали он желанную землю.
Сколь вожденной отца возвращенная жизнь его детям
Явится, злого недуга прошедшего лютые муки, —
Долго томился он в нем под неласковым демона гнетом,
Но наконец его бог от погибели спас ненавистой —
Столь вожденной земля с ее лесом страдальцу явилась.
Силы напряг он, ступить поспешая на твердую почву.
Вот уже близко она; если крикнешь, твой голос услышат —
Вдруг его шум поразил об утесы крутые прибоя.
С ревом глухим буруны устремлялись в пещерную полость
И извергались опять, покрывая кипящею пеной

Море кругом; не видать было гаваней, верных пристанищ:
Всюду отвесные скалы и гор неприступных громады.
Тут разрешились суставы колен и отвага героя;
В крайнем волненье сказал своему он могущему сердцу:

«Горе! Едва я успел вождевленную землю увидеть
Милостью Зевса, такой совершив перегон необъятный,
И не дарован мне выход из моря седого. Повсюду
Острые скалы; о них разбиваются дикие волны
С рокотом хриплым, и гладкой стеной возвышается берег.
Море приглубо везде, не дает оно твердой опоры,
Чтобы, ногами обеими став, отдохнуть от томлений.
Только приближусь, меня о скалу острогрудую бросит
Вал исполинский, и будут вотще неземные усилия.
Если ж я вдоль поплыву и найти попытаюсь отлогий
Берег иль мелкий залив, голубого излучину моря, —
Снова, боюсь, меня ветер лихой, из-за мыса нагрывнув,
Вдаль унесет, презирая мой стон, на простор необъятный
Или найдет на меня необорное чудище демон,
Коих немало растит в заповедной глуби Амфитрита.
Знаю ведь, как на меня Посейдон-земледержец разгневан».

Так размышлял Одиссей в глубине омраченного сердца;
Вдруг он почувал — несет его вал на утесистый берег.
Тут с него кожу сорвал бы и кости его раскрошил бы
Камень — но вовремя мысль подала ему дева Афина.
Камень с налета схватил он руками обеими — стоны
Боль исторгала, но он, прицепившись, держал его крепко.
Мимо пронесся бурун, уцелел он; в обратном теченье
С камня сорвал его он и отбросил в пучину далеко,
Словно когда из норы извлекает рыбак осьминога,
К щупальцам густо его пристают отскочившие гальки,
Так и от рук Одиссея отважных к поверхности камня
Кожа пристала¹; его ж захлестнуло волною глубокой.
Тут бы, судьбе вопреки, утонул Одиссей злополучный,
Если б спасительной мысли ему не внушила Афина.
Выпрыгнув вдруг из волны, когда вновь она бросилась к берегу,
Вкось устремился он вплавь, озираясь на землю: отлогий
Берег иль мелкий залив он увидеть надеялся. Вскоре

¹ Пункт сравнения — плотность соприкосновения кожи с камнем; но действие его обратное: там камни пристаю́т к коже, здесь кожа к камню.

Он поравнялся, плывя, со впадением прекраснотекущей
Светлой реки. Полубилось ему это место: от камней
Было свободно оно и давало защиту от ветра.

Тягу воды он почуял и жарко взмолился к потоку:

«Внемли, владыка, — тебя ж величать не умею — с мольбою
Вод я касаюсь твоих, от грозы Посейдона спасенный.
И средь бессмертных богов ведь почтенен тот муж,

что в скитанье

К ним прибегает. И я к твоему прибегая теченью
И обнимаю колени твои. Претерпел я немало:
Сжался, отец, надо мной: твой проситель я ныне почтенный.

Так он сказал; и поток свое тотчас замедлил течение,
Тихую гладь уготовал ему и усталого принял
В устье свое. Он ступил; но под ним подкосились колени,
Сильные руки повисли; ослабла душа его в море,
Тело повсюду распухло, и влага морская струилась
Носом и ртом из него. Без дыханья, без голоса, долго
Он полумертвый лежал, в утомлении страшном поникши.
Мало-помалу вернулось дыханье к нему, собралась
Снова душа в оболочке груди. Покрывало богини
Он отвязал и в течение реки его бросил; она же
В море его отнесла; приняла его там Левкофея.
На берег вышел тем временем он, покидая течение,
Через тростник — и, припав, лобызал хлебородную землю.

В приведенном выше отрывке представлен человек, по-нашему, в полном одиночестве — и все-таки он не одинок. Афина, Посейдон, Левкофея, бог реки — это всё окружающие его силы, то участливые, то грозные, но никогда не равнодушные.

2. Певец Демодок (песнь VIII, ст. 62–82; 474–580)

Этот отрывок дает нам обстановку, в которой первоначально исполнялись так же песни «Илиады» и «Одиссеи».

К ним¹ возвратился глашатай: певца знаменитого вел он.
Муза его, возлюбивши, и злом и добром наградила:
Очи затмила его, зато сладкую песнь даровала.

¹ К ним — к царю Алкиною и его гостям, среди которых сидит и Одиссей.

Трон посредине гостей, ко столбу прислоненный хоромы,
Вестник ему указал, серебром изукрашенный; лиру
Над головою его на гвозде он повесил, удобно
Чтоб ему было рукою ее доставать: перед ним же
Стол он поставил; на нем красовалась с хлебом кошница.
Тут же и кубок вина, чтобы пил, когда сердце запросит.
Те к приготовленным яствам с охотою руки простерли;
Вскоре они утолили еды и питья вожделенье.
Муза тогда повелела певцу, чтобы витязей славу
Он феакийцам воспел — знаменитую песнь среди песней,
Спор Одиссея-царя и Пелеева сына Ахилла¹,
Как воспылали они среди божьей трапезы цветущей
Гневом великим и как ликовал Агамемнон-владыка
В сердце своем, что ахейцев заспорили лучшие мужи.
Так ведь ответил ему на вопрос во священной Пифоне
Феб-Аполлон, когда царь чрез порог его каменный в Дельфах
Переступил: этот спор будет бед несказанных причиной
Трои сынам и ахейцам — исполнится Зевсова воля...

(Затем рассказывается о состязаниях, о второй песни Демодока про любовь Ареса и Афродиты — о пляске феакийцев, о дарах Алкиноя неузнанному еще Одиссею, о прощании Одиссея с Навсикаей. Затем ужин в прежней обстановке).

Вестнику слово тогда Одиссей многохитростный молвил,
Долю отрезав хребта² — но осталось на блюде довольно —
Вепря о белых клыках, окруженную туком обильным:
«Дай эту долю, глашатай, певцу Демодок: к нему я,
Как ни печальна душа, обращаюсь с великою просьбой.
Всеми людьми, что живут на земле, почтены и любимы
Песни владыки певцы: их богиня сама научает
Муза ладам и напевам; певцов она род возлюбила».

Так он сказал, и глашатай вручил Демодок: веприну,
Дар Одиссея, а он ее принял с душой благодарной.
Те к приготовленным яствам с охотою руки простерли;

¹ Нам этот спор мало известен; произошел он, вероятно, во время той «божьей трапезы» (см. общий очерк), во время которой был ранен и Филоктет. Подробности, значит, стояли в «Киприях».

² *Хребет*, т. е. вырезка, почетная часть веприны; здесь ее получил Одиссей, как гость.

Вскоре они утолили еды и питья вожделенье.

Слово тогда Демодоку сказал Одиссей благородный:

«Всех земнородных превыше тебя, Демодок, восхваляю,
Муза ль тебя научила, Зевесова дочь, Аполлон ли —
Так ты удачно поёшь про страду боевую ахейцев,
Всё, что свершили они, что стерпели, что дух их сломило,
Точно ты был среди них иль допрашивал послухов верных,
Ныне ж другую нам песнь подари — о *коне деревянном*¹,
Как его создал Эпей по внушению девы Паллады,
Как в Илиона он кремль Одиссея введен был искусством,
Полный отважных мужей, что разрушили город Приама.
Если и это ты нам по порядку поведаешь — буду
Всюду твердить и всегда среди всех, с кем сведет меня Мира,
Что тебе дивную песнь небожителей милость внушила».

Так он сказал. И, к богине с мольбой обратившись, являет
Песнь им свою Демодок, с того дня начиная, как флот свой
В море умчали ахейцы, огнем истребивши палатки.
Те же, которых собрал вокруг себя Одиссей богоравный
В темную полость коня, уж в ограде троянской сидели:
Сами ведь в кремль Илиона трояне ввели супостата.
Вот он стоял, а под ним неразумные слышались речи
Граждан, сидящих кругом. Рассуждали о трех они мерах:
Или безжалостной медью разбить это полое древо,
Иль, докативши до края, в глубокую пропасть низвергнуть,
Или в Пергаме² богам ублажительной жертвой оставить.
Так напоследок и было исполнено: рок ведь назначил
Пасть Илиону, когда городская охватит ограда
Чудо-коня исполина и в нем наилучших героев
Горсть, что троянам-врагам уготовили грозную гибель.
Пел он затем, как, оставив коварную чрева засаду,
Высыпал рой из коня, разорению град предавая.
Все разбрелись, кто сюда, кто туда, на грабеж и убийство.
Но Одиссей с Менелаем божественным в дом Деифоба³
Грозный вошел, как Арес. Там отпор жесточайший он встретил,
Но под конец победил веледушным Афины раченьем.

Так свою песнь создавал вдохновенный певец. Был растроган

¹ Тема взята из «Разрушения Илиона» Арктина, см. общий очерк.

² *Пергам* — кремль Трои.

³ *Деифоб* — сын Приама, после гибели Париса стал мужем Елены.

Гость, из-под черных ресниц орошал он слезами ланиты,
Словно жена, к дорожному супругу припав, омывает
Тело слезами его... Он погиб за народ и за город,
Рабства безжалостный день отражая от родины милой.
Видит героя жена, как дрожит он в предсмертной потуге;
Плачет, руками обвив отходящего; враг же за нею
Бьет ее древком копья по плечам и спине, чтоб рабыней
В дом свой ее увести на бессветное горе и муку,
Как ни изрыли ланиты ее безутешные слезы.
Так из-под вежд Одиссея горячая влага росилась.
Скрыл он от прочих гостей неустанный свой плач; но хозяин —
Рядом ведь с ним он сидел — его слезы заметил и вздохи
Ясно услышал, что часто из груди его вырывались.
Веселюбивым сказал феакийцам он властное слово:

«Слушайте, что я сказать вам имею, вожди феакийцев.
Пусть прекратит Демодок своей звонкой форминги напевы:
Вижу, не всем угождает он песнью своей вдохновенной.
Только мы ужинать сели и звуки ее полились —
Слезы не сохнут под сенью ресниц на лице омраченном
Нашего гостя: знать, страшная скорбь его дух обуяла.
Пусть же умолкнет та песнь, чтобы общим осталось веселье
И для хозяев равно, и для гостя: так будет отрадней.
Ради ведь гостя почтенного весь мы устроили праздник;
Проводы будут ему и дары дружелюбные наши.
Гость и проситель — их с братом родным наравне почитает
Всякий, кто мыслью своей хоть немного раскинуть способен¹.
Друг мой, и ты не таи в глубине недоверчивой сердца
То, что узнать я хочу; откровенность ведь скрытности лучше.
Имя открой нам свое, коим мать и отец тебя звали
В родине дальней твоей и другие сограждане ваши.
Далее *землю* свою назови, и народ свой, и город,
Чтоб безошибочно мог тебя струт феакийский доставить.
Также и то Расскажи без утайки нам в искреннем слове,
Где ты скитался, каких навестил поселения смертных².
А напоследок признайся, зачем проливаешь ты слезы,

¹ Отметить предполагаемую интеллектуальную подкладку нравственного чувства.

² Ответом на эти вопросы служит знаменитый рассказ *Одиссея* (песни XI—XII).

Песни внимая о горькой судьбе и ахейцев, и Трои.
 Боги судили ее, они нить им погибели пряли,
 Чтобы в грядущие дни они песнью прославлены были.

3. Одиссей в преисподней (песнь XI, ст. 471–549)

Алкиной спрашивает Одиссея, не видел ли он в преисподней своих бывших соратников под Троей; Одиссей рассказывает о своей встрече с душами Агамемнона, Ахилла и Аянта.

...Тотчас узнала меня быстрого тень Эакида¹;
 Голосом грустным она мне крылатое слово сказала:
 «Слава тебе, Одиссей, многохитростный отпрыск Лаэрта!
 Этого подвига ты никогда превзойти не сумеешь.
 Как ты спуститься дерзнул в безотрадное царство, где души
 Лишь без сознания реют, людей утомленных подобья?»

Так он спросил; и в ответ ему слово сказал я такое:
 «Отпрыск Пелея Ахилл, средь ахейцев боец несравненный,
 Должен Тиресия был спросить я, чтоб путь указал он,
 Коим достигнуть могу я Итаки своей каменистой.
 Ведь не видал я поныне ахейской земли, не касался
 Почвы родной в бесконечных скитаниях горестных. Ты же
 Счастлив, Ахилл, средь людей и минувших и будущих: чтили
 Мы и при жизни тебя наравне с олимпийцами, ныне ж
 Вижу тебя я и здесь повелителем душ преисподней.
 Будь же доволен, Ахилл, и о смерти своей не кручинься».

Так я сказал и немедля ответное слово услышал:
 «Не заговаривай мне, Одиссей, сокрушенья о смерти!
 О, если б мог батраком я работать на мужа чужого,
 Скудной владельца земли, разделяя живот его жалкий!
 Слаще б то было, чем царствовать здесь среди душ преисподней.
 Ты же мне слово скажи про деянье любимого сына:
 Первым ли в бой он идет — или нет — среди рати аргосской?
 И не слыхал ли ты вести о старце почтенном Пелее?
 Все ли он прежнюю честью велик в мирмидонском народе?

¹ Узнала, хотя и без сознания (ст. 476). По основному представлению нашей песни души действительно лишены сознания и получают таковое на время, напившись приготовленной Одиссеем жертвенной крови. Но не везде это выдержано.

Или его притесняют вельможи Эллады и Фтии,
Видя, что руки и ноги несчастного старость сковала?»

Так он спросил, и в ответ ему слово сказал я такое:

«Нет, не имею я вести о старце почтенном Пелее;
Неоптолема же жизнь, твоего незабвенного сына¹,
Ведома мне, и о нем тебе всю я поведаю правду.
Сам ведь привез я его в корабле величавоплывущем
С острова Скироса к нам меж красивопоножных ахейцев.
Там мы под Троей не раз, предводители, думали думу:
Он среди первых рядил и разумный совет подавал нам;
Нестор один богоравный да я его там побеждали.
Также и в поле троянском, когда мы сражались медью,
Не оставался в тылу он и в ратников прочих дружине;
В первых он бился рядах, никому уступать не желая.
Многих мужей он сразил в исступлении сечи жестокой.
В день же, когда мы спустились в коня, что был создан Эпеем,
Первые стана бойцы, и начальствовать мне поручили, —
Страшно там стало ахейским вождям, они слезы украдкой
С ликов стирали своих, и невольно их дрожь пробирала.
Неоптолем же ни разу не пролил слезы малодушной,
Бледностью робкой ни разу ланит не разбавил румянца.
Часто меня он просил, чтоб скорее открыл я затворы;
То он за древко копья, то за меч двулезвийный хватался,
Жаждою битвы горя и грозу на троян замышляя.
После ж того как мы град разгромили Приама высокий,
Долю добычи свою и почетный свой дар получивши,
Сел невредимым на струг он, ни издали медью не тронут,
Ни в рукопашном бою, как то часто случается в битве:
Косит ведь всех вперемежку Аресов булат безрассудный»².

Так я сказал; и душа многославного витязя гордо

¹ *Неоптолем* был сыном Ахилла от Деидамии, дочери Ликомеда, царя острова Скироса (одного из северных Спорад), и воспитывался у этого своего деда.

² Эта маленькая хвалебная речь Одиссея (ст. 510–537), ранний образчик «эпидиктического красноречия» (см. ниже § 43), так же заботливо расчленена, как и вышеприведенная большая совещательная. Превосходный витязь должен быть и витией слов (в совете), и вершителем дел (бранных). Храбрость в делах опять сказывается либо в битве, либо в засаде.

На асфоделев вернулася лут¹ в величавой осанке,
Радуюсь речи моей о всепризнанной доблести сына.

4. Последний пир женихов (песнь XX, ст. 320–394)

Предшествовало издевательство одного из женихов над (неузнанным) Одиссеем, вызвавшее гневное слово Телемаха женихам. Одиссей в образе нищего присутствует при всей этой сцене.

Так он сказал, и в ответ женихи промолчали угрюмо;
Поздно лишь слово Дамасторов сын Агелай² им промолвил:
«Полно, друзья! Не годится в ответ на упрек справедливый
Гневаться ни возражать упрекавшему в речи обидной.
Пусть же не будет от нас оскорбления гостю, ни прочей
Челяди, сколько ее ни вмещает чертог Одиссея.
Я ж Телемаху хочу и красе Пенелопе открыто
Слово сказать — и надеюсь, они его оба одобрят.
В дни, когда ваши сердца согревала надежда златая,
Что Одиссей многоумный в страну возвратится родную,
Было простительно вам, что вы ждали и ждать заставляли
В доме своем женихов: оно выгодней было, конечно,
Чтоб возвратился герой и вернул себе власть над чертогом.
Ныне же ясно для всех, что ему уж не будет возврата.
Должен поэтому ты своей матери слово поведать
Крепкое, чтоб выходила она за того, кто в народе
Силою всех превосходит и лучшее вено предложит.
Примешь тогда ты на радость наследье отца и за пиром
Пир снарядишь, а она у другого хозяйкою станет».

Так он сказал; и ему Телемах отвечает разумный:
«Зевсом клянусь, Агелай, и отца бесконечною мукой —
Жив ли скиталец, иль пал далеко от Итаки родимой —
Матери свадьбу не я замедляю, совет мой всегдашний,
Чтоб выходила она, от себя и приданое дам ей.
Властным же словом ее против воли изгнать из чертога
Долг не велит мне сыновний; храни меня бог от насилья!»

¹ *Асфодел* — высокое растение о бледно-зеленых листьях (златоголовник), именно по этой причине перенесенное в преисподнюю.

² *Агелай* — один из самых энергичных женихов; его умеренность здесь не без расчета.

Так отвечал Телемах. Женихам же Паллада внушила,
Неугасимого смеха охоту безумную. Только
Точно чужими они челюстями смеялись; сочилась
Кровь с того мяса, что ели они, на глазах показались
Слезы, и сердце их вдруг беспричинной тоскою заныло¹.
Феоклимен, богоравный пророк, то заметив, сказал им:

«Горе! Что с вами творится, несчастные? Тьма покрывает
Головы ваши и лики, колени во тьме потонули;
Снонами вспыхнул чертог, увлажнились слезами ланиты.
Кровью обрызганы стены, приделы прекрасные кровью;
Призраки сень наполняют и призраки двор; в преисподний
Мрак устремились они; да и солнца не вижу я боле
На небесах, отвратительной мглою дворец наш окутан»².

Так он сказал; а они уж над ним продолжали смеяться;
Слово сказал наконец Евримах среди них, сын Полиба;
«Видно, решился ума этот гость из чужбины недавний.
Вы, молодежь, ему живо порог укажите чертога:
Пусть он на площадь идет, если здесь его тьма одолела».

Феоклимен, богоравный пророк, ему тотчас ответил:
«Благодарю, Евримах, не нуждаюсь в твоих провожатых.
Сам я владею глазами, ушами и парой надежных
Ног, да и разум мой цел в оболочке груди³: из чертога
Выйду один. А на вас надвигается злая судьбина:
Меч занесен — никому не избежать его, не спастись
Из женихов, что в хорамах любимца богов Одиссея
Людям обиды творят в ослеплении спеси безумной».

Так он сказал и, покинув покой крепкозданного дома,
Гостем к Пирею⁴ ушел; его принял радушно хозяин,

¹ Ст. 345–49. Здесь описываются *действительные* явления, дающие повод в дальнейшем к пророческому *видению* Феоклимена. Это истерический смех, вызывающий как реакцию столь же беспричинную грусть — особенно у людей, уже тронутых вином. К «чужими челюстями смеяться» (я дал нарочно буквальный перевод) ср. наше «не своим голосом плачет». Если с недожаренного мяса сочится кровь, стекая по губам и подбородку неестественно смеющегося, то в этом нет ничего удивительного; но следует представить себе всю картину.

² Он видит их собственную смерть, кровь и души.

³ До Алкмеона Кротонского и греки, подобно другим народам древности, считали грудь (а не голову)местилищем разума.

⁴ *Пирей* — молодой итакиец, товарищ Телемаха по путешествию в Пилос.

А женихи между тем, друг на друга взирая лукаво,
Стали дразнить Телемаха, гостями его попрекая:
Так из среды их промолвил один, пересмешник надменный:
 «Не прогневишь, Телемах, но в гостях ты прямой неудачник.
Был и тот прежний хорош¹, неопрятный бродяга, охотник
Лишь до вина и до брашна, к работе же всякой негодный,
Старый, бессильный, противный, земли бесполезное бремя.
Ныне ж еще объявился один, прорицатель беспутный².
Нет, мой совет ты прими — о твоей же я пользе радею —
Выдай гостей нам твоих; отведем их на емкое судно
Да к сицилийцам отправим, а там с барышом продадим их».
Молвили так женихи; Телемах им внимал равнодушно,
Все на отца он смотрел, молчаливый, когда же подаст он
Знак, чтоб на дерзкую рать наложить им возмездия руку.
Тою порой в супротивной хороме, в узорчатом кресле
Старца Икария мудрая дочь Пенелопа сидела.
Не потеряла она ни единого слова беседы.
Да, был веселия полон *обед* их и смеха пустого,
Вкусный, приятный — скота для него ведь зарезали много.
Ужин зато — безотрадной нигде не придумают люди
Против того, что могучий готовил им муж и богиня,
Долгой обиды почин по заслугам на них вымещая.

5. Признание Одиссея Пенелопой (песнь XXIII, ст. 1–296)

Во время расправы Одиссея с женихами Пенелопа в своей светлице (в верхнем этаже дома) спала волшебным сном, навеянным на нее Афиной. Расправа заняла весь день, теперь вечер, скоро зажгут лучины (ламп-пад гомеровская Греция еще не знает).

Тою порою наверх поднялась Еврикля, ликуя,
Чтоб известить госпожу о возврате желанного мужа.
Сильно колени под нею тряслись, оступались ноги.
У изголовия став, она слово сказала царице:

¹ *Прежний* — сам Одиссей в образе нищего; о нем знал только Телемах.

² Пророк Феоклимен явился к Телемаху в Пилосе во время возлижания перед обратным плаванием, изгнанный из своей родины, он упросил взять его с собой.

«Дочь дорогая, проснись! Ты своими очами увидишь
То, к чему сердце твое сколько лет уж так страстно стремилось.
Знай, Одиссей возвратился! Он здесь после долгих скитаний.
Высокомерных он смерти предал женихов, что нещадно
Дома добро расточали, над сыном его измываясь».

Ей Пенелопа тогда многомудрая так отвечала:
Матушка, вижу, твой ум помutilи бессмертные, могут
И у разумных они их испытанный разум похитить,
И слабоумному путь указать рассудительной мысли.
Из колеи и тебя они выбили: раньше ж была ты
В здоровом уме. Как могла ты над скорбью моей издеваться
Речью нелепой твоей? Для чего ты развеяла сон мой
Сладкий, что очи сковал мне и дух мой забвеньем окутал?
Сна я не знала такого с тех пор, как Итаку покинул
Мой Одиссей и пошел осаждать Илион злополучный.
Ныне оставь ты меня и вернись обратно в хорому.
Если б другая из жен, что работают в нашем чертоге,
С речью такою пришла и рассеяла сон мой утешный —
Жестким бы словом ее я назад отослала; тебе же
Выгоду пусть принесет хоть такую почтенная старость!»

Ей Евриклея в ответ, ее милая няня, сказала:
«Не издеваюсь, дитя, над тобою я; нет, достоверна
Речь моя: здесь Одиссей, он вернулся в чертог свой старинный.
Тот чужестранец, которого все поносили в хороме, —
Он это был. Одному лишь открылся герой Телемаху,
Тот же разумно молчал о решениях отца дорогого,
Чтобы верней покарать супостатов надменных насилье».
Молвила так. И с одра сорвалась Пенелопа поспешно,
Бросилась няне на шею, потоками слез орошая
Лик миловидный; затем она стала в хорому спускаться,
Много в уме размышляя своем, попытать ли ей гостя
Издали, иль подойти, его за руку взять и лобзаньем
Голову мужа покрыть. Вот спустилась она; вот хоромы
Переступила порог она каменный — и против гостя
Села в сиянье огня, к супротивной стене прислонившись.
Он же сидел под высоким столбом, в ожидании томном
Очи потупив: какое ему она слово промолвит
Ныне, воочию мужа увидевши, свет-Пенелопа?

Недоуменья полна, она долго молчала; порой ей
Луч узнавания чело озарял, на супруга глядевшей;
То колебалась опять, его жалким смущенная видом.
Ей напоследок со вздохом сказал Одиссей богоравный:

«Странная ты! Непреклонным, я вижу, тебя одарили
Сердцем превыше всех жен земнородных Олимпа владыки.
Вряд ли могла бы другая с таким равнодушьем чуждаться
Мужа, что, столько изведавши бед, после долгих скитаний
И на двадцатом году в дорогую отчизну вернулся.
Матушка, ты мне постель постели: хоть один я прилягу,
Раз у твоей госпожи беспощадно жестокое сердце».

Так он промолвил, и так отвечала ему Пенелопа:
«Нет, не надменен мой дух, не грешу я тупым равнодушьем,
Памятью тоже тверда: не забыла, каким ты покинул
Нашу Итаку; взошедши на длинновесельное судно.
Что ж, постели ему ложе упругое, друг Еврикля,
Вне крепкозданного терема, — то, что он сам изготовил.
Пусть его вынесут люди наружу, а ты для постели
Выдай овчину, да мягкий ковер, да покров плотнотканый».

Так она молвила, мужа пытая. А он, восплававши
Гневом, с такой укоризной к своей обратился супруге:
«Что это значит, жена? Мое сердце кольнула ты речью.
Кто мое ложе дерзнул из урочного двинуть покоя?
Как бы он ни был искусен, за трудное взялся он дело.
Разве что бог, пособляя, чудесною силой наружу
Вынес его; человек же живой даже в юности цвете
Не повернул бы его; в нем примета великая скрыта,
В ложе узорном моем: его сам смастерил и один я.
Ствол длиннолистой маслины в ограде моей возвышался
В столб толщиной хоромный, листвою увенчанный сочной.
Терем построил вокруг я его, из камней воздвигая
Плотно прилаженных стены, покрыл его кровлей надежной
И в завершение дверь к косякам его прочно приделал.
Снес я затем той маслины венец густолиственный, ствол же,
Близко к корню обрубив, отесал отовсюду орудьем
Медным, умело и гладко, изъяны снуром исправляя.
Ложа основой я сделал тот ствол, пробуравив где надо
Дыры; затем, из него исходя, сколотил ему раму;

Золотом пышно ее, серебром и слоновою костью
Я изукрасил извне, изнутри же воловьими туго
Ложе ремнями свое обтянул. Я поведал примету;
Только того я не знаю, стоит ли на месте старинном
Ныне оно, иль унес его кто, подпиливши основу».

Молвил. У ней разрешились суставы колен и отвага:
Знаки признала она достоверные в речи супруга.
Брызнули слезы из глаз, подбежала она к Одиссею,
Шею его обвила и, главу лобызая, сказала:

«О, не гневись, Одиссей! Ведь и в прочем суждении здравом
Ты превосходишь людей. Ниспослали нам боги кручину:
Не пожелали они, чтобы цветом мы юности нашей
Вместе могли насладиться и вместе состарились мирно.
Ты же меня не кори и не сетуй, что с первого взгляда
Я не признала тебя, не приветила лаской любовной:
Вечно питала я страх в глубине беспокойного сердца,
Как бы, в хорому войдя, не прельстил меня словом обманным
Муж незнакомый — а мало ли их о корысти мечтают!
Ты же мне знаки назвал достоверные нашего ложа,
Коего глаз не коснулся чужой: мы одни лишь с тобою
Знаем о них, да еще из прислужниц моих Акторида,
Та, что по воле отца мне досталась из дома родного
И стерегла неусыпно заветного терема двери.
Мой недоверчивый дух убедил ты нелживой приметой».

Молвила так, пробуждая и в нем вождеделение плача:
Слезы струил он, к супруге любимой и верной прильнувши.

(Он рассказывает ей вкратце о своих приключениях).

Тою порой в терему Евринома с прилежною няней
Мягкую стлали постель, освещая лучиной работу;
Вскоре усердием их засияло приветное ложе.
Няня-старушка к себе на покой удалилась немедленно,
А господам Евринома, их спальница, путь озарила
В терем уютный, в руке подымая пылающий светоч.
Их проводив, и она удалилась к себе; а супруги
С радостным сердцем закон обновили старинного ложа.

**§ 8. Полнота искусства. — Характеристики. — Речи. —
Искусство расчленения и развития. — Эпическое
раздолье. — Эпитеты. — Сравнения. — Нравственно-
религиозные представления. — Гуманность**

Наш анализ обеих гомеровских поэм не только предоставил достаточный материал для их *характеристики*, но отчасти уже служил таковой; остается подвести итоги. Первое, долженствующее быть отмеченным, это полнота искусства, свидетельствующая о долгой подготовительной работе в школах аэдов. Эта полнота искусства сказывается прежде всего в том, как Гомер — оставим ему это имя ради удобства — *характеризует своих героев*. Шкала его характеров всеобъемлюща. Возьмем «Илиаду»: Ахилл, так страстно умеющий и любить и ненавидеть, — строгий представитель традиции Агамемнон — рыцарски добрый и самоотверженный Аянт — пылкий Диомед — мягкий Менелай — нежный, при всей неукротимости воина, сын, супруг и отец Гектор — старцы Приам, Нестор, и столько, столько других. Там же среди женщин нежная и вечно встревоженная Андромаха рядом со спокойным в своей богатырской силе Гектором, кающаяся грешница Елена рядом с беззаботным обольстителем Парисом. В «Одиссее», конечно, первенствует сам герой с его горячей любовью к родине, неутомимый в помощи своим и на море, и на суше; но и его противников, женихов, поэт сумел должным образом охарактеризовать, ставя рядом с умным насильником Антиноом — насильника просто Евримаха, дерзкого Ктесиппа и колеблющегося в беспокойстве совершаемого греха Амфинома. Палитра женских характеров здесь, как это и естественно, богаче: величаявая Арета; страдалница жена и мать Пенелопа; нежный, только еще распускающийся цветок Навсикая. Настаиваю на этом богатстве и разнообразии характеристик: как мы увидим в дальнейшем, это искусство после падения эпоса было утрачено, и люди, даже не теряя знакомства с Гомером, не умели ему в нем подражать, должны были учиться сызнова и только в V в. до Р. Хр. опять достигли прежней высоты.

Затем интересно и то, как Гомер характеризует: реже всего от себя, чаще отзывами других лиц, еще чаще непосредственно действиями, но чаще всего — *речами* самих героев. Эти речи развиты у него до высших пределов; он пользуется ими при каждом случае, и в диалогической, и в монологической форме, выражая в них не только характер, но и минутное настроение данного лица, колебание его воли между двумя решениями, влияние на него переживаемых событий. В связи с этим и искусство речи стоит у него на поразительной высоте: особенно восхищались потомки речами в IX песни «Илиады» (посольство к Ахиллу), идеально предварившими позднейшую риторiku: расчлененною и рассчитанною на эффект речью Одиссея, товарищески краткой и искренней — Аянта, старчески болтливой — Феникса и, в противоположность им всем, — страстными беспорядочными ответами Ахилла с кошмаром оскорбления в их центре. Вообще *искусство расчленения и развития* мыслей, вывода одного положения из другого, вся умственная сторона композиции достигла у Гомера такого совершенства, которого они в дальнейшем уже не знали вплоть до V в. Это, после искусства характеристики героев, второе, в чем Гомер был в течение веков учителем позднейшей Греции; и в сравнении с ним все прочие народные эпосы кажутся детски неуклюжими и наивными.

Скорее можно усмотреть известную условность, но приятную для читателя, в том, что мы можем назвать «*эпическим раздольем*». Поэт не торопится; он как бы любит свою собственную речь, этим «языком богов», и это ведет его к *обстоятельности*, не боящейся и повторений, к той ионийской словоохотливости, которая так противоречила позднее дорическому «лаконизму». Характерным образчиком может служить место из VI песни «Илиады», где Гектор ищет свою жену Андромаху:

«Жены — прислужницы дома, скажите мне всё без утайки:
Белораменную где я сумею найти Андромаху?
В доме ль золовки она? Иль прекрасною невестки?
Или к Афине во храм удалася, где и другие
Пышноволосяные жены ретивую молят богиню?»

С речью к нему обратилась усердная ключница дома:

«Гектор, когда ты велишь мне сказать тебе всё без утайки –
Нет, не к золовке своей, не к прекраснонарядной невестке,
Но и не в храм госпожа удалилася, где и другие
Пышноволосые жены ретивую молят богиню:
К башне высокой она илионской ушла, услышавши,
Что одолели троян необорною силой ахейцы.

Помимо повторений читатель заметил еще и другую особенность этого эпического раздолья: любовь к *украшающим эпитетам*: белораменная Андромаха, прекраснонарядные невестки, усердная ключница, высокая башня. Здесь они все, по крайней мере, уместны; но страсть к эпитетам так велика у поэта, что он говорит о звездном небе среди бела дня, о «быстрых кораблях», когда они вытянуты на берег, о «звонкоголосых глашатаях», когда они молчат.

О том же эпическом раздолье свидетельствуют и многочисленные — особенно в «Илиаде» — *сравнения*. И в них поэт часто увлекается, развивая сравнение также и в таких его чертах, которые не имеют значения для данного места. Так, топот коней, уносивших троян от преследовавшего их Патрокла, наводит певца его подвигов на следующее сравнение («Илиада»):

Словно под бурей земля отягченная черная стонет
В мрачную осень, когда проливные дожди посылает
С выси небесной Зевес, раздраженный преступностью смертных,
Кои насильственно суд совершают на сходах неправый,
Правде обиду творя, не заботясь об оке бессмертных –
Бурная влага за то наполняет текучие реки,
Многие нависи скал отторгают разливные воды,
Даже до моря несутся пурпурного с шумом ужасным,
Прядая с гор и кругом разоряя дела человека –
Так и под бегом троянских коней сотрясалась почва.

Очевидно, преступность кривосудных людей не имеет никакого значения для окраски топота троянских коней — поэт тут просто увлекся. Для нас эти сравнения интересны еще тем, что поэт черпает материал для них из современной ему

жизни; в своем повествовании он, напротив, сознательно изображает старину в ее отличии от его современности, то время, когда жили богатыри, а не «такие люди, как ныне». Поэт — хранитель этой древней традиции, старых нравов и обычаев: он охотно вносит их в свой рассказ, обстоятельно описывая, как вооружаются витязи, как приносят жертвы богам, как снаряжают трапезу, как играют девушки, как радушный хозяин принимает гостей. Особенно по этому последнему пункту мы легко заметим известную настойчивость и намеренность, что и неудивительно: певец, сам гость царской трапезы, действовал в собственных выгодах, распространяя высокие представления о долге гостеприимства.

Это наводит нас на *нравственно-религиозные представления* Гомера; но тут мы должны отличать поэта как *свидетеля* от поэта как *учителя*. Нравственно-религиозный уровень Гомера не совпадает с уровнем его эпохи или той, о которой он пишет. То была во многих отношениях эпоха жестокая; особенно бедственной представляется нам участь взятого врагами города — избиение мужского населения, увод в рабство женщин, разграбление добра, разрушение стен и зданий. Сравните с этим суд, который Гомер творит в «Илиаде» над «гневом» своего героя Ахилла. В двух последовательных видах он представляет нам его. В первом — это гнев против своих же соратников, которыми он считает себя оскорбленным. Благодаря покровительству упрощенных богов и собственной ценности, он добивается полного удовлетворения, его соратники разбиты — но в общем поражении погиб и тот друг, которого он любил более всего на свете. Тогда он проклинает свой гнев, мирится со своим оскорбителем, все его мысли и чувства направлены на дело мести — но в том он не отдает себе отчета, что эта жажда мести лишь другая разновидность того же гнева, которым он дышал и раньше. И лишь после того как он вторично получил полное удовлетворение, убив убийцу своего друга и захватив его тело для жестокой расправы, — лишь после этого он в личном общении с отцом убитого им врага убеждается в призрачности также и этого своего гнева, в том, что его раньше произнесенное слово: «О, да погибнет вражда,

от богов проклята и от смертных!» — имело гораздо более глубокое значение, чем он предполагал сам.

Не столь высока мораль «Одиссеи»; все же нельзя не одобрить и не полюбить этой цепкой и глубокой любви к родине и к своему очагу, которой она проникнута, этого героя, который даже под лаской богини мечтает о том, чтобы «видеть хоть дым, от родных берегов далеко восходящий», и согласен жизнью заплатить за это зрелище. Нельзя также не полюбить и еще одного элемента, бессознательно введенного певцом, — этого запаха морского воздуха, который слышится в «Одиссее», этого плеска то играющих, то бурных волн, который вторит человеческим речам и страстям.

Вернемся, однако, к этике. Как видно из сказанного, ее главная примета — повсюду разлитая *гуманность*, благодаря ей Гомер и стал учителем гуманности сначала к Греции, а потом и повсюду. В связи с этим и то, что у Гомера впервые и божество носит гуманный характер: уже выше было подчеркнуто, что его Зевс — первый в истории человечества всечеловеческий, а не племенной бог. Это тем более замечательно, что певец об этом говорит как бы мимоходом, не особенно задумываясь: он — не богослов, а, как мы видели, представитель светской интеллигенции. Поэтому он и не колеблется в «Илиаде» сохранить и местами проявлять и грубые черты «божьего быта», глубоко возмущившие позднейших мыслителей. Все же очищение происходило и здесь, в самих школах аэдов. В «Одиссее» мы уже находимся в более облагороженной атмосфере, чем в «Илиаде». Боги и «всё знают» и «всё могут»; их связь с нравственным законом стала много теснее. Напрасно смертные жалуются, что зло им ниспосылается богами: боги их, напротив, предостерегают, они же сами, упорствуя во зле, вызывают справедливое возмездие. Значительно обезврежена также и страшная в своей загадочности сила *рока*; она еще признается, но главное все-таки — это вольная воля Зевса и богов вообще, их недреманная *opis*, видящая дела правых и неправых людей и воздающая тем и другим по их заслугам.



Глава III.

ПОСЛЕГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС

§ 9. Киклический эпос. — Эпосы троянского цикла: «Киприи», «Эфиопида», «Малая Илиада», «О разрушении Илиона», «Возвращения», «Телегония»

Еще до окончательной редакции обеих гомеровских поэм пример первых певцов песней о гневе Ахилла и о возвращении Одиссея воодушевил других к таким же поэтическим переложениям других мифов прозаической сокровищницы, как примыкающих к гомеровским, так и не примыкающих. Результатом этой работы аэдов было великое множество эпоей, общим объемом значительно превосходивших «Илиаду» и «Одиссею» вместе взятые. Нам они не сохранились; от некоторых уцелели отрывки и извлечения, имена авторов или самих эпоей; но мы можем быть уверены, что и помимо них существовали такие, память о которых совершенно заглохла. Все же в свое время этот *эпический цикл* — так он позднее был прозван — был очень влиятелен; им вдохновлялись и художники и поэты, особенно трагики V–IV вв. до Р. Хр.

Ближе всего к «Илиаде» и «Одиссее» стояли поэмы *троянского цикла*, поставившие себе целью отчасти представить в поэтической форме начало Троянской войны до «Илиады», отчасти связать «Илиаду» и «Одиссею», отчасти же и

прибавить к «Одиссее» недостающий ей конец, т. е. повесть о последних годах и смерти Одиссея.

Первую задачу исполнил некто *Стасин* из Кипра в эпосе, которая по месту своего происхождения была названа «*Киприями*». Руководимый смутным чувством первоначального космогонического значения мифа о гневе Ахилла, Стасин Троянскую войну возводит к отношениям Зевса и Земли.

В оные дни тьмы смертных, толпясь по великому телу
Широкогрудой Земли, изнуряли праматери силу.
Видя мученья ее, пожалел ее Зевс; порешил он
В разуме крепком своем облегчить всекормилицы ношу,
Пламень великой войны Илионской в народах разжегши,
Дабы обузу расхитила смерть. И у стен Илиона
Племя героев погибло — свершилася Зевсова воля.

Из лона Немезиды — так представлял дело кипрский певец — Зевс выводит прекраснейшую из смертных, *Елену*. Затем боги награждают доблестного фессалийского царя Пелея браком с морской царевной Фетидой и соглашаются быть гостями его свадебного пира. Все приглашены, кроме богини раздора Ириды; обойденная мстит тем, что бросает в среду пирующих яблоко с коварной надписью «*Прекраснейшей*».

Прекраснейшая — это, конечно, богиня; но кто? Гера? Паллада? Афродита? Зевс, имея в виду свое решение, велит ответи спорящих на троянскую Иду, к царевичу-пастуху Парису, сыну старого Приама; пусть он их рассудит. Парис присуждает «яблоко раздора» Афродите: благодарная богиня обещает ему за это в жены прекраснейшую из смертных, Елену. Но Елена уже не свободна: свою руку и свое спартанское царство она отдала Менелаю, младшему брату аргосского царя Агамемнона, — Парис должен ее похитить, будучи гостем Менелая. Мстя за оскорбление гостеприимной трапезы, Агамемнон снаряжает поход против Трои. Призываются к нему все витязи Эллады: и сын Пелея с Фетидой Ахилл, и царь Итаки Одиссей, и старый пилосский (в Мессении) вождь Нестор с сыновьями, и Аянт Саламинский, и Аянт Локрийский, и Диомед, и еще много других; не забыт и прорицатель Калхант. Местом сбора для

кораблей Агамемнон назначает беотийскую Авлиду. Но он сам имеет неосторожность оскорбить авлидскую богиню Артемиду — и богиня не дает флоту попутных ветров, пока Агамемнон не искупит своего оскорбления принесением ей в жертву своей старшей дочери Ифигении. Несчастный военачальник должен исполнить это условие; и хотя богиня, довольствуясь его готовностью, не доводит дело до кровопролития, а напротив, похитив Ифигению с алтаря, награждает ее бессмертием — все же жена Агамемнона Клитемнестра, считая свою дочь погибшей под ножом своего мужа, проникается жгучей ненавистью к нему. Пока, однако, флот благополучно достигает троянского побережья — если не считать того, что один из витязей, Филоктет, во время одной из стоянок получает незаживную рану от ядовитой змеи и товарищи вынуждены оставить его на острове Лемносе. Начинается осада Трои; но и у троян много сил и храбрый вождь, старший царевич Гектор. Девять лет тянутся бои; ахейцы вынуждены добывать себе продовольствие набегами на соседние области. Руководит ими большею частью неутомимый Ахилл. Во время одного из таких набегов он в числе прочей добычи захватывает двух красавиц, дочерей жреца Хриса и мелкого князя Бриса, из коих первая присуждается Агамемнону, а вторая — ему. Они-то и дают повод к «гневу Ахилла», а с ним и к теме «Илиады».

Связь между «Илиадой» и «Одиссеей» была создана не в один прием. Сначала *Арктин Милетский* сложил соединительную поэму, по объему (как и «Киприи») немного меньше «Одиссеи», следующего содержания. После похорон Гектора военные действия возобновились; на помощь Приаму привела свою удалую рать царица амазонок, прекрасная Пентесилея. Ахилл в единоборстве ее сразил — и в момент ее смерти был охвачен страстной запоздалой любовью к своей жертве. Это заметил пересмешник из II песни «Илиады» Терсит. И в укор побежденному победителю стал издеваться над трупом убитой; возмущенный Ахилл тут же прикончил негодяя. Но ахейцы разгневались на героя за это убийство соратника, да и сам Ахилл почувствовал себя оскверненным его кровью и счел нужным подвергнуть себя обряду очищения (влияние

Аполлоновой религии). Этот обряд совершил над ним Одиссей, но отчуждение его от своих продолжалось. Тем временем Пентесилею заменил другой союзник, этот раз из далекого юга, сын Зари, царь эфиоплян *Мемнон*. Ахейская рать не выдержала его напора; он едва не настиг Нестора, но за него подставил свою грудь под удар врага его юный сын Антилох и спас отца ценою своей жизни. Убийство Антилоха, его лучшего друга после смерти Патрокла, побудило Ахилла вернуться в бой, несмотря на предостережение Фетиды, что смерть Мемнона будет сигналом к его собственной гибели. Мемнона он действительно убил и затем на плечах бегущих троян едва не ворвался в Илион; но у самых Скейских ворот его настигла стрела Париса. Тогда Фетида с Нереидами и Музами подняла раздирающий плач об убитом герое-сыне; его золотые доспехи, скованные Гефестом, она объявляет наградой лучшему после погибшего ахейскому бойцу. Таковым считают себя двое, Аянт и Одиссей; «суд о доспехах» решает спор в пользу Одиссея, что имеет последствием самоубийство Аянта. После гибели лучших мужей ясно, что силой Илиона не одолеть; предпочтенный Аянту Одиссей чувствует, что его долг — оправдать доверие войска. По его совету и указанию войсковой зодчий Эпей строит огромной величины деревянного коня; его ахейцы для виду посвящают Палладе и, тоже для виду, уплывают. Трояне, обрадованные уходом врагов, решают перенести их посвящение в свой кремль. Это и входило в план ахейцев; с наступлением ночи их избранные мужи, скрывавшиеся в полости деревянного коня, вышли и открыли городские ворота ахейцам, которые к тому времени вернулись с притворного бегства. Так город был взят. Приам с сыновьями и все мужское население было перебито, женщины были уведены в плен, причем Елена была, наконец, возвращена Менелаю.

Поэма Арктина относится еще к VIII в. Столетьем позже некто *Лесх* из Лесбоса сочинил другую связующую эпопею, значительно меньше Арктиновой, которая ходила под заглавием «Малая Илиада». У него гибель Ахилла примыкала довольно близко к смерти Гектора; суд о доспехах и самоубийство Аянта рассказывались иначе; Одиссей приводит на помощь своим по-

кинутого Филоктета из Лемноса и подростов Ахиллова сына Неоптолема из его родины, после чего Парис гибнет от стрелы Филоктета и последний троянский союзник Еврипил — от копья Неоптолема, и затем уже свершается рок Илиона при помощи деревянного коня. Позднее, в интересах связности цикла, поэму Арктина разорвали пополам, назвав первую, большую, половину «*Эфиопидой*», а вторую, меньшую, песнью «*О разрушении Илиона*» («*Iliu persis*»), а «Малую Илиаду» вставили между ними, так что она покрывала их своими краями.

Все названные писали под влиянием «Илиады»; но и «Одиссея» не осталась без подражателей. Под ее влиянием Агий из Трезена написал эпос «*Возвращения*» («*Nostoi*», «Ностои», дополний «витязей»), в котором он, примыкая к разрушению Трои, повествовал о приключениях на обратном пути Калханта, Неоптолема, Диомеда, Нестора, но особенно Агамемнона и Менелая. Агамемнон благополучно вернулся домой, но за время его отсутствия его жена Клитемнестра, возненавидевшая его за жертвоприношение Ифигении, отдалась его коварному родственнику Эгисфу, и теперь он по ее наущению убивает его. У него остался однако малолетний сын Орест, который в его отсутствие воспитывался у его друга Строфия под Парнасом и там подружился с сыном своего хозяина Пиладом; выросши, он с Пиладом возвращается на родину и, исполняя приказание Аполлона, убивает Эгисфа... Про Клитемнестру умалчивается, но несомненно, что гибнет и она. Вернувшийся после многих приключений Менелай поспевает как раз к похоронам преступной четы.

После принятия в цикл «Возвращений» «Одиссея», по «закону хронологической несовместимости», уже не могла начинаться с момента после взятия Трои; мы уже видели, с помощью какой уловки удалось ее начало приурочить к моменту возвращения Менелая. Сама она кончалась примирением Одиссея с итакийцами; было желательно прибавить и повесть о последних годах героя. Это сделал *Евгаммон* из Кирены (в Северной Африке) в своей необъемистой «Телегонии». Предполагается, что последствием годичного брака Одиссея с Цирцеей было рождение сына, который, как «родившийся

далеко» (от отца), был назван Телегоном. Возмужав, он на пиратской галере отправляется отыскивать отца. Заезжает он и на Итаку. Налет пиратов заставляет Одиссея повести против них вооруженную рать; в происшедшем бою Телегон насмерть ранит своего неузнанного отца.

Таким образом, в своем готовом виде троянский цикл состоял из следующих эпосов: 1) «Киприи», 2) («Илиада»), 3) «Эфиопида», 4) «Малая Илиада», 5) «О разрушении Илиона», 6) «Возвращения», 7) («Одиссея»), 8) «Телегония».

**§ 10. Эпосы фиванского цикла: «Эдиподея»,
«Фиваида», «Поход Амфиарая», «Эпигоны»,
«Алкмеонида». — Эпосы космогонического цикла:
«Теогония», «Титаномахия», «Гигантомахия». —
Эпосы цикла о Геракле: «Данаида», «Персеида»,
«Гераклея», «Взятие Эхалии». — Эпосы цикла
об аргонавтах: «Миниада», «Аргонавтика»**

Менее объемисты были другие; из них, впрочем, нам ближе известен только *фиванский цикл*. И он развился исподволь и без строгой последовательности. Его первым эпосом была «*Эдиподея*», имевшая следующее содержание. Фиванский царь Лаий, прельстившись красотой Пелопова сына, отрока Хрисиппа, похищает его у отца; за это злодеяние Пелоп проклинает его: да не родится у него собственного сына, а буде родится — да станет он убийцей своего отца. Женившись на Эпикасте, Лаий становится отцом младенца; помня о Пелоповом проклятии, он приказывает бросить его в море. Младенца прибывает волнами к побережью Сикиона, царь которого воспитывает его как собственного сына, назвав Эдипом. Пелопово проклятие было, однако, услышано богиней брака Герой; хотя и поздно, но она решает его осуществить и насылает на Фивы кровожадного Сфинкса. Чтобы умиловить ее, Лаий отправляется паломником к ее храму на пограничной горе Кифероне. Там он встречается с молодым путником; между ними происходит ссора, в которой последний убивает царя.

Этим путником и был Эдип. Идя дальше, он приходит в Фивы, где все еще свирепствует Сфинкс. Наградой освободителю от него объявлена рука вдовы-царицы и царство. Эдип убивает Сфинкса и получает награду — и лишь после свадьбы Эпикаста узнает, что ее новый муж Эдип — ее собственный сын. Она проклинает его и кончает самоубийством. Эдип остается однако царем; женившись вторично, он становится отцом двух сыновей, Этеокла и Полиника. Но они непочтительно обходятся с царем-отцеубийцей; Эдип их проклинает и умирает в горе.

«Эдиподея» имела двойное продолжение: с одной стороны, «Фиваиду», с другой — «Поход Амфиарая».

Содержание «Фиваиды» следующее: Этеокл и Полиник сначала царствуют сообща. Но проклятие Эдипа начинает действовать: братья ссорятся. Этеокл изгоняет Полиника из Фив. Полиник обращается за помощью в Аргос, где царем был Адраст. Адраст женит его на своей дочери Аргее и затем, чтобы вернуть своему зятю фиванский престол, снаряжает против Этеокла поход, который — вследствие участия и нем под начальством Адраста семи вождей — известен под именем *похода Семи против Фив*. Поход однако кончается неудачей: все семь вождей гибнут у семи ворот Фив, притом Полиник в единоборстве с Этеоклом, убивая его и убитый им. Адраст уводит обратно остаток своей рати, фиванский престол остается за сыном Этеокла Лаодамантом.

Третий эпос, «Поход Амфиарая», по содержанию параллелен «Фиваиде», но его интерес сосредоточен в судьбе его героя. Амфиарай, один из аргосских князей, был женат на Эрифиле, сестре Адраста. Зная как прорицатель о предстоящей несчастной развязке похода против Фив, он ответил отказом на приглашение своего шурина принять в нем участие. А был между ними еще ранее заключен договор, согласно которому все споры между ними должны были быть решены Эрифилой. И вот Полиник подкупает Эрифилу фиванским сокровищем — ожерельем своей родоначальницы Гармонии, и она решает спор в пользу Адраста. Амфиарай вынужден принять участие в походе в качестве одного из Семи. Покидая родину, он прощается со своим малолетним сыном Алкмеоном, открывая ему,

что ему суждено погибнуть и что его убийца — его жена и мать Алкмеона Эрифила. В сражении у фиванских ворот Амфиарай с другими обращен в бегство; победитель-фиванец уже настаивает его — вдруг земля разверзается и принимает прорицателя живым в свое лоно. С тех пор он живет под землею, не изведав смерти, но мрачным и скорбящим, в ожидании завещанной мести за его гибель.

Продолжением «Фиваиды» были «Эпигоны»; эпигонами были названы сыновья Семи вождей. Подросши, они под начальством того же Адраста снарядили новый поход против Фив, чтобы отомстить за гибель своих отцов, и одержали победу. Одним из эпигонов был Диомед, соединительное звено между фиванским и троянским циклами. Точнее этот эпос нам неизвестен.

Лучше мы осведомлены о параллельном с ним эпосе — об «Алкмеониде», продолжавшей «Поход Амфиарая», так же как «Эпигоны» продолжали «Фиваиду». Подросши, Алкмеон исполняет завещанное ему отцом дело мести, убивая его убийцу — свою мать Эрифилу; вслед за тем он участвует в походе эпигонов и довершает эту месть, лично убивая в поединке фиванского царя Лаодаманта. И тогда лишь им овладевает Эриния убитой им матери. Преследуемый ею, он бежит к царю аркадской Псофиды, который очищает его от матереубийства и женит его на своей дочери Алфесибее. Но и тогда Эриния не оставляет его в покое. Он слышит вещание — только та земля, которая не была свидетельницей его матереубийства, может его принять. Таковой оказываются Акарнания, свежесозданная наносами реки Ахелоя. Ахелой очищает его окончательно и, очищенного, женит на своей дочери, нимфе Каллирое. Но Каллироя знает о первом псофидском браке своего мужа; обураваемая ревностью, она требует от него ожерелья Гармонии, которое он подарил своей первой жене. И вот Алкмеон возвращается в Псофиду, радостно встречаемый Алфесибеей и ее отцом; он говорит ей, что обещал посвятить роковое ожерелье в Дельфы в благодарность за свое исцеление — доверчивая Алфесибее с готовностью ему его возвращает. Но этот обман возмущает слугу и спутника Алкмеона: он открывает всю тай-

ну Алфесибее и ее семье. Великодушная женщина и тут согласна простить любимого мужа; но ее братья чувствуют себя оскорбленными, убивают Алкмеона и отнимают у него ожерелье. Тогда, отчаяние овладевает Алфесибеей: она мстит за Алкмеона, убивает братьев — и тогда только проклятое золото, обогренное столь обильною кровью, находит себе успокоение в дельфийском храме Аполлона.

Фиванский и троянский циклы были во многих отношениях параллельны: оба повествовали о том, «как перевелись богатыри». Было поэтому соблазнительно объединить их общим началом — *космогоническим циклом*. Он нам, однако, менее всех известен; не знаем даже, состоял ли он из двух эпосов, или из трех. Первым во всяком случае была (киклическая) «*Теогония*», повествование о происхождении богов — не то от Океана, как «искони рожденного», не то от первозданной четы Урана (т. е. Неба) и Земли. От них произошли Кронос и Рея; от этих опять — Зевс с братьями и Гера, его сестра и супруга. «Теогонию» продолжала «*Титаномахия*», патетический рассказ о том, как Зевс с братьями поборол Кроноса и союзные с ним силы Титанов, сынов Земли, и основал царство новых богов, свергнув побежденных в Тартар. Правда, ему угрожает новая опасность от новых сынов Земли, Гигантов, — бой с ними составлял, кажется, содержание третьего эпоса, «*Гигантомахии*». После этого пришлось вековым противникам, Зевсу и Земле, помириться; какую ценою — это показали эпосы фиванского и троянского циклов.

Третьим продолжением космогонического цикла был, по-видимому, цикл эпосов, имевших своим центральным героем богочеловека *Геракла*; но этот цикл является перед нами в очень туманных очертаниях. Геракл — намеченный роком спаситель царства Зевса и богов; но именно поэтому темные силы не дремлют, стараясь воспрепятствовать тройной закалке этого меча богов. Орудие их — Гера, строгая, но близорукая блюстительница чистоты браков, олимпийских и земных. Зная о роке, Зевс создает себе сначала от аргосской нимфы Ио сына Эпафа; Гера поражает Ио бешенством, лишь у волн Нила находит она себе успокоение. В потомстве Эпафа два брата,

Египет и Данай; у первого пятьдесят сыновей, у второго столько же дочерей. Египтиады хотят взять за себя Данаид, те бегут обратно в старинную родину Аргос. Они настигнуты Египтиадами, насильственный брак порешен. Данай вооружает дочерей кинжалами, приказывая им в брачную ночь истребить своих мужей. Только одна, Гипермнестра, из любви к своему молодому супругу Линкею щадит его. За это Данай хочет ее осудить, но ее выручает Афродита, она спасена — и с нею преемственность семени Зевса. Таково было содержание киклической «Данаиды». В потомстве Линкея рождается Акрисий; в лоне его дочери Данаи должна произойти вторая закалка Зевсова меча. Напуганный вещаниями, он держит ее взаперти; Зевс все-таки проникает к ней в виде золотого дождя. Когда она рождает младенца *Персея*, Акрисий велит ее вместе с ним заключить в ларце и бросить в море. Волнами их прибывает к острову Серифу; здесь и вырастает Персей. Но царь острова влюбляется в Данаю; чтобы избавиться от молодого витязя, он посылает его за головой страшилища Медузы, в надежде что он от нее погибнет. Но Афина охраняет его; он убивает Медузу, на обратном пути добывает себе красавицу-невесту Андромеду и, вернувшись на Сериф, спасает свою мать от назойливого царя, обращая его видом Медузы в камень. Так повествовала «*Персеида*». В потомстве Персея и Андромеды рождается Алкмена; в ней — третья закалка Зевсова меча. Она дает Зевсу его самого славного сына — богочеловека *Геракла*; но его успехи заранее подорваны кознями ревливой Геры, которая путем лукавства заставляет своего супруга отдать его на службу ее приспешнику Еврисфею. По его приказанию Геракл совершает ряд подвигов, описание которых было содержанием нескольких «*Гераклей*», из коих самой славной была «Гераклея» Писандра Родосского (VII в.). Наконец, потрясающая смерть героя была содержанием киклического эпоса «*Взятие Эхалии*» Креофила Самосского. Геракл женат на Деянире, но на склоне лет он видит Иолу, дочь эхалийского царя Еврита, и его охватывает непреоборимая страсть к ней. Взяв Эхалию силой, он овладевает Иолой; узнав об этом, ревнивая Деянира посылает ему плащ, пропитанный полученным ею некогда от

кентавра Несса ядом («Нессов плащ»). Не будучи в состоянии вынести мучений, Геракл сам сжигает себя на костре.

Наконец, мы можем с вероятностью указать и четвертое продолжение космогонического цикла; в его центре — золотое руно и богочеловек Ясон. В «*Миниаде*» была описана утрата золотого руна. Ее виновником был Афамант, царь племени миниев в Орхомене. Вследствие козней своей второй жены он собирается погубить Фрикса и Геллу, своих детей от первой, божественной Нефелы (т. е. «Тучи»). Нефела их спасает, даруя им златорунного овна, который чудом переносит их на восток, причем Гелла гибнет в «Геллеспонте», Фрикс же благополучно достигает сказочной Колхиды, царь которой Ээт и становится господином руна закланного чудесного спасителя; Афаманта же настигает кара от руки Геракла, который завоевывает Орхомен.

Возвращение золотого руна было содержанием многих «*Аргонавтик*». Эту задачу царь Иолка фессалийского Пелий ставит своему племяннику Ясону как условие обратной уступки ему отцовского царства. Ясон строит чудесный корабль «*Арго*» и, пригласив сверстников, отправляется на нем в Колхиду. Золотое руно он добывает с помощью дочери Ээта волшебницы Медеи и с ней вместе бежит на родину. Но впоследствии он изменяет своей беглянке ради женитьбы на дочери царя (загадочной) Эфиры. Тогда Медея чарами убивает его и его невесту с ее отцом.

**§ 11. «Киклический характер». — Маргит. —
«Война мышей и лягушек». — Аэды и рапсоды. —
Гомерические гимны¹. — Личность «Гомера»**

Как видно из сказанного, героический эпос в VIII–VI вв. материально разливался все шире и шире и представлял собою под конец безбрежное море; в него перешла значительная часть прозаической сокровищницы мифов. Но его интерес и был главным образом материальный. Он пленял *богатством*

¹ Далее, в «Образцах», они именуются гомеровскими. (Прим. сост.)

содержания; еще Аристотель заметил, что позднейшие трагические поэты из «Илиады» и «Одиссеи» могли заимствовать самое большее по две темы, а из значительно меньшей объемом «Малой Илиады» — более восьми. Нас, кроме того, эти эпосы заинтересовали бы и своей *нравственно-религиозной тенденцией*. Они возникли в то время, когда уже религия дельфийского Аполлона работала над реформой религии Зевса и всего уклада греческой жизни; отголоски вызванной этим борьбы мы и нашли бы в эпическом цикле. Аэды-гомериды были принципиально, как носители гомеровских традиций, настроены против новшеств Аполлона, и, например, в «Эдиподе» мы можем усмотреть протест против допущенной им неестественной любви (ср. «Пелопово проклятие»); но в других вопросах, например, религиозного очищения, гомериды находятся под видимым влиянием дельфийского бога.

Зато талантом киклики значительно уступали Гомеру. Они были подавлены богатством содержания и без внутренней идейной связи нанизывали приключение на приключение, пользуясь установленным запасом ходячих оборотов, эпитетов и т. п., вследствие чего у позднейших критиков самое слово «киклический характер», в противоположность «гомеровскому», получило значение «тривиального». Вообще эти эпигоны героического эпоса были не столько творцами и художниками, сколько подражателями и ремесленниками. И как ремесленный характер «рыцарского романа» в Испании XVI–XVII в. вызвал гениальную пародию Сервантеса, так и вырождающийся героический эпос гомеридов нашел такую в лице безымянного «*Маргита*», героем которого был такой же шалый неудачник, как и Дон-Кихот. Нам он не сохранный, но о его высоких достоинствах мы заключаем из того, что Аристотель сопоставляет его с «Илиадой» и «Одиссеей» и видит в нем родоначальника комедии, как в тех — трагедии. Пародический характер поэмы виден уже из ее размера:

Из Колофона пришел вдохновенный певец престарелый;
Музы слугою он был и далёкоразящего Феба;
В руках же нес он лиры сладкозвучной дар.

Плавное течение гекзаметров прерывается *ямбическими триметрами*.

Нас за утрату этого ценного произведения не может вознаградить другая сохранный нам пародия, а именно «*Батрахомиомахия*» (т. е. «Война мышей и лягушек»), довольно забавная, хотя и не особенно выдающаяся по остроумию.

Вырождение эпоса совпало с изменением социального положения поэтов; а оно в свою очередь находилось в связи с изменением политики под влиянием колонизации. В колониях жизнь шла ускоренным темпом; монархии уступили место аристократиям с сильной демократической закваской; певец-аэд перестал быть гостем царской трапезы, взамен этого его стали приглашать на всенародные праздники для украшения их песнью наравне с гимнастическими и тому подобными состязаниями. Этих состязающихся поэтов называли *рапсодами*, т. е., собственно, «сшивателями песней». Необходимость включить многое в рамках немногих праздничных дней повела к замене пения с аккомпанементом форминги — декламацией; мало-помалу старинный термин «пою» стал для рапсоды таким же пережитком, как и для его позднейших подражателей вплоть до новых времен.

Но праздники праздновались в честь местных богов — Аполлона, Деметры, Афродиты и т. п.; рапсоды, чтобы снискать их милость, естественно, предпосылали своим декламациям славословия этих богов. Это были так называемые *гомерические гимны*; нам сохранилась коллекция таковых, состоящая из 34 образцов, 5 крупных и 29 мелких; их назначение видно из некоторых заключений, где рапсод просит богов о даровании ему победы. Пять крупных гимнов посвящены Аполлону Делосскому, Аполлону Дельфийскому, Гермесу, Афродите и Деметре; их поэтический интерес довольно значителен, особенно последнего, в котором описывается похищение Коры Аидом и учреждение элевсинских таинств.

В VI в. гомеровский эпос нашел свое завершение; сокровищница была наполнена, возникавшие там и сям представители «позднейшего» эпоса уже не смешивались с «Гомером». Зато киклический эпос ему приписывался если не весь,

то в значительной своей части. Как это имя возникло, мы выше видели; теперь, в VI в., зародилась потребность иметь также и его биографию. Ее собрали между прочим из личных намеков, встречавшихся там и сям в эпосах цикла и гимнах. На беду они были противоречивы: автор «Киприй» был явно из кипрского Саламина, автор «Маргита» — из Колофона, автор гимна Аполлону Делосскому говорит о себе как о слепом певце из Хиоса. Возникли споры, о которых свидетельствует сохранившееся двустишие:

Семь городов соревнуют за мудрого корень Гомера:
Смирна, Родос, Колофон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины.

После споров началась и критика: на основании противоречий то один то другой эпос стали отнимать у «Гомера» и отчасти приписывать другим аэдам (они названы выше), отчасти оставлять безымянными. Под конец за Гомером остались только оба лучших — «Илиада» и «Одиссея». Как их творец, Гомер считался величайшим поэтом древности во все время ее жизни.

ОБРАЗЦЫ

А. ИЗ «ВОЙНЫ МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК» (СТ. 168–197)

Царь лягушек Скулодуд приглашает царевича мышей Крохобора переправиться на его спине в его царство (пародия на похищение Европы). Во время переправы внезапно показывается выдра. Скулодуд ныряет. Крохобор гибнет. Царь мышей Хлебогрыз, уверенный в коварстве Скулодува, объявляет ему войну. Описывается вооружение обеих ратей, затем следует наша сцена.

Собрание богов

Зевс же бессмертных созвал на притин многозвездного неба
И, показав им военную мощь и воителей славных,
Многих и рослых, грозой ошестиненных копий несметных,
Рати кентавров лихих уподобленных или Гигантов, —

Их, улыбаясь, спросил: «Кто из вас за лягушек сразится,
Кто за мышей? — И Афине вещал он крылатое слово: —

Милая дочь, не захочешь ли ты за мышей заступиться?
В храме роскошном твоём хоровод они водят усердно,
Радуюсь запаху чада и снеди обилию всякой».

Так вопрошал ее Зевс, и ему отвечала богиня:
«Нет, мой отец, я мышам не заступница в брани кровавой,
Много от них испытала я зла: ежечасно повязки
Портят они шерстяные и масло лампад выпивают.
Боле ж всего они дух огорчили мой делом недавним:
Плащ мой изгрызли они, что с трудом соткала я великим,
В тонкие нити основы уток паутинный вплетая.
Весь он в лохмотьях теперь. Суровщик же висит над душою,
Требуя деньги с меня; для богов это крайне обидно.
В долг ведь товар я взяла, и теперь заплатить мне уж нечем.
Но и лягушкам помочь не согласна я в лютой их брани:
Ум и у них поврежден. Возвращалась намеренно я с битвы;
В изнеможение едва на ногах я держалась; и что же?
Как ни хотелось мне спать, от нелепого кваканья тварей
Глаз я сомкнуть не могла; голова нестерпимо болела;
В полной бессоннице ночь провела до зари я румяной.
Нет, предложение мое: отказаться от помощи бранной
Этим бойцам, чтоб самим в рукопашном бою ненароком
Не пострадать: не уважат они даже бога в сраженьи¹.
Лучше нам с выси небес на их распрю взирать благодушно».
Так она молвила; речь с одобрением встретили боги.

Б. ИЗ ГОМЕРОВСКОГО «ГИМНА ДЕМЕТРЕ» (СТ. 212–496)

Певец с первых же слов рассказывает о похищении Деметриной дочери Персефоны Аидом. Мать ее долго ищет; узнав, что она похищена с соизволения Зевса, она отделяет себя от прочих богов и в виде смертной старушки садится у Девичьей (позднее Веселой) криницы под Элевсином; там ее застают дочери царя Келея и приводят к своей матери Метанире.

¹ Намек на поранение Афродиты и Ареса Диомедом в V песни «Илиады».

К ней обратилась тогда Метанира с приветливым словом:
Радуйся, мать, — не худых, полагаю я, граждан слывешь ты
Дочерью, нет, наилучших: и чести и вежества светом
Светятся очи твои, как царя-охранителя правды.
То, что нам боги пошлют, выносить поневоле должны мы,
Люди, хотя б и болела душа: мы — народ подъяремный.
Ныне останься у нас; свой достаток с тобой разделю я.
Ты же мне этого сына взрасти: даровал ведь последним
Бог мне его после долгих молитв и напрасных обетов.
Если ты вскормишь его и в пределы он юности вступит,
Будет любая жена твоей доле завидовать: столько
Даст тебе щедрых даров он за труд своего воспитанья».

Благовенчанная так отвечала царице Деметра:
«Радуйся так же и ты, да пошлют тебе доброе боги.
Сына ж охотно вскормлю твоего, как того ты желаешь.
Мнится, не будет вреда по вине малоопытной няни
Ни от напасти враждебной ему, ни от злого укуса:
Знаю для всех я укусов могучее зелье лесное,
Знаю и заговор верный для всякой враждебной напасти».
Так отвечая, она к благовонному лону прижала
Дланью бессмертной младенца; от радости дрогнуло сердце
Матери. С этого дня она нянчила в доме Келея
Сына-красавца его Демофонта — его же недавно
Милая мать родила, Метанира прекрасная. Он же
Силой чудесною рос: не сосал материнского млека,
Хлеба не ел: его днем намащала амброзией няня,
Точно бессмертных дитя, благовонным дыханьем лелея
Нежное тело его и на лоне своем согревая.
Ночью же, как головню, она в пламени ярком калила
Тайно его от отца и от матери. Диву дивились
Все, как чудесно он цвел, на бессмертного ликом подобный.
Вечную жизнь бы ему даровала и вечную юность
Дивная, если бы чары ее, подглядев, Метанира
Не обратила в ничто. Она, терем душистый покинув,
Ночью однажды прокралась за ней — и по бедрам обоим
С криком ударила громким себя, за дитя испугавшись, —
Грех несказанный то был — и сквозь слезы промолвила слово:
«О Демофонт, о дитя, тебя в пламени яром чужая

Крепко прижала; другая огонь развела для купели¹,
 Третья пустилась бежать, сколько силы в ногах ее нежных
 Было, чтоб вывести мать из душистого дыма хоромы².
 Вместе собравшись, омыли они, спеленали малютку,
 Тешили лаской его. Но обиды своей не забыл он:
 Много ведь хуже о нем против прежней заботились няни.

(Келей исполняет приказание Деметры. Зевс приглашает ее на Олимп, но она отказывается, пока не будет возвращена ее дочь. Под конец заключается мир под условием, чтобы Персефона одну треть года проводила с мужем и две — с матерью. Посредницей выступает общая мать Зевса, Аида и Деметры Рея.)

Так говорила ей мать; и вняла ее слову Деметра.
 Тотчас взрастила она благодатной равнины богатство³.
 Зазеленели за ней, расцвелились в убранстве роскошном
 Земли кругом. А она средь царей-охранителей правды
 (Был между ними Диокл, укротитель коней, с Триптолемом,
 Пастырь народов Келей и Евмолп, необорный воитель⁴)
 Действ сокровенных устав указала и чин неизменный,
 Коих не властен никто заповедную тайну нарушить
 Словом одним: страх божий уста посвященным смыкает,
 Счастлив, кто видеть сподобился их из людей земнородных!
 Тот же, кто приобщиться не мог, и за смерти порогом
 Доли его не разделит в туманной обители мертвых.

Кончив свое наставленье, богиня могучая с дочерью
 Вновь вознеслась на Олимп в небожителей прочих собрание.
 Там пребывают с тех пор у престола они Громовержца
 В чести великой навеки. Блажен средь людей земнородных
 Смертный, кого возлюбили они в независтливом сердце.
 Ниспосылают они ему Плутоса в дом его милый,

¹ Для купели я прибавил по догадке; иначе неясно, к чему огонь. Но куда девался чудесный огонь Деметры?

² Представление сцены как будто не выдержано: да и текст не в порядке.

³ Равнина (Рарийская под Элевсином) была пустынна во время гнева Деметры.

⁴ Диокл, Триптолем, Келей, Евмолп — родоначальники жреческих родов в Элевсине. Из них Триптолем позднее занял место Демофонта.

Плутоса, всех дарователя благ среди рода людского.
Слава тебе, госпожа благовонных хором Элевсина,
Пароса, морем обвитого, скал недоступных Антрона!¹
Слава, царица времен, благодатная мать Деметра!
Слава и дочери твоей, несказанной красе Персефоне!
Жизни безбольной даруй мне, за песнь мою звонкую, милость,
Я же, восславив тебя, перейду к славословию иному.

§ 12. Коренная и колониальная Эллада.

Дидактический эпос. — Гесиод. — «Работы и дни». — «Теогония». — «Каталог». — «Щит Геракла». — Стиль

В ту самую эпоху, когда последователи первых гомеровидов перелагали в формы эпической поэзии родные мифы, входившие до тех пор в прозаическую сокровищницу преданий, и этим, с одной стороны, укрепляли их в облюбованном изводе, с другой — распространяли их знание по Элладе, — в эту самую эпоху и по этой самой причине состоялся и другой важный захват поэзии в области прозы: он коснулся сокровищницы *правил и поучений*. Другими словами: наряду с героическим эпосом возник эпос *дидактический*.

Его родиной была, однако, не колониальная, а собственно Греция. Здесь формы жизни были значительно уже, что и понятно: ведь именно самые предприимчивые люди отправлялись в колонии, их фантазии рисовались и смелые войны вроде Троянской, и еще более смелые морские приключения в духе «Аргонавтики» или «Одиссеи»; они и жизни дали более быстрый темп, сравнительно рано осуществляя демократические требования в своих уже давно не монархических государствах. В собственно Греции остался элемент, более привязанный к родной почве, менее подвижный и склонный к приключениям, преимущественно крестьянский; смелый полет фантазии был ему чужд, зато он дорожил богами отцов и укладом их жизни. От демократии он был бесконечно

¹ О культе Деметры на *Паросе* см. общий очерк; об *Антроне* (городе в фессалийской Фтиотиде) нам подробности неизвестны.

далек; его государства, поскольку они не были монархическими, управлялись знатными родами; это было своего рода многоцарствие, органически развившееся из единоцарствия и не к выгоде подданных; даже само имя царей было удержано.

При этой сравнительной неподвижности коренного населения собственно Греции сомнительно даже, чтобы оно могло создать своими силами новую поэзию; толчок пришел извне, из Греции колониальной. Эолида была связана узами родства с Беотией; один торговец из эолийской Кимы (около 800 г.), потерявший там свое состояние, переселился оттуда в Беотию и там приобрел участок земли у подножия Геликона; там выросли его два сына, *Гесиод* и Перс. Выросши, они поссорились из-за отцовского наследства; тяжба была решена «царями» вопреки правде в пользу Перса, которому приобретенное неправдой добро не принесло счастья: вследствие нерадивого отношения к делу он разорился. Эта личная обида открыла Гесиоду глаза на смысл жизни, на святость правды и труда; но в певцы-пророки его поставило видение, которого он был удостоен в то время, когда он пас своих овец на пустынном выгоне Геликона. Ему там явились Музы и обратились к нему со следующим словом:

Жалкие пастыри диких полян, животы, да и только!
Много умеем мы сказок вещать, лишь похожих на правду,
Но если двинет нас воля — и правду вещать мы умеем.

Они дали ему лавровый посох — отличие рапсода — и «вдохновили» его (*επερνεusan*), дабы он стал певцом не сказки, а правды и вызволил своих земляков из их грубого «животного» быта. Но искусству песнопения он, несомненно, еще раньше научился у своего отца, выходца из малоазиатской Эолиды; это мы заключаем из того, что его стих и язык — тот же, что и у гомеровидов.

Благодаря этим признаниям о себе, сближающим его с ветхозаветными пророками — Амосом, Осией, — Гесиод для нас первая *личность* в истории греческой литературы. Свое назначение быть певцом правды он осуществил главным образом в двух поэмах.

Первая — это его «*Работы и дни*», непосредственно примыкающая к его ссоре с братом Персом. Есть два спора у смертных, зловерный, спор-вражда, и благодетельный, спор-соревнование. «Ты, Перс, соблазнился первым и добился своего, прислужившись царям-дароядцам. Глупцы! Того они не знают, насколько половина больше целого». Ибо скрыли боги от смертных ключ их жизни — так же как Зевс скрыл от них огонь, разгневавшись на обман Прометея. Правда, Прометей его похитил, но Зевс за это послал на людей еще худшее бедствие — женщину (Пандору), снявшую покрывку с чана зол. Тому же учит и другая притча — о смене веков золотого, серебряного, медного, героического (погибшего под стенами Фив и Трои) и железного, в котором живем мы, пока его не истребит Зевс. Ныне царит насилие: «Правда у него, что голубка в когтях у ястреба. Но ты, Перс, и вы, цари, все-таки слушайтесь правды (следует ряд нравоучений). А если хочешь приобрести достаток — трудом к труду трудись». И вот поэт подробно говорит о земледельческом труде в связи с временами года; за ним короче о труде судовщика, т. е. купца. За этими систематическими наставлениями следует опять ряд нравоучений смешанного характера, и в заключение — правила относительно счастливых и несчастных «дней», давшие поэме ее второе заглавие. Ибо «иной день (гр. *hetera* женского рода) — мачеха, иной день — мать».

Вторая поэма Гесиода — его «*Теогония*», т. е. эпос о происхождении богов; действительно, на этой ранней ступени религиозного сознания полагали, что боги возникли во времени из предвечной Земли. От Урана и Геи (Земли) произошли Титаны и Титаниды, среди них Кронос и Рея и еще много других чудовищных порождений; теснимая ими Гея взмолилась к Кроносу, чтобы он лишил отца его детородной силы, что он и сделал. Далее говорится о потомстве Титанов, в том числе Кроноса и Реи; от последних произошли старшие из нынешних богов, Зевс с братьями Посейдоном и Аидом и Гера с сестрами Деметрой и Гестией. И как от Кроноса произошли боги, так другой Титан, Иапет, через своего сына Прометея стал родоначальником людей; по этому поводу поэт подробно рассказывает миф

об обмане Зевса Прометеем и похищении огня, лишь кратко затронутый в «Работах и днях». Затем идет рассказ о борьбе Зевса и Титанов и утверждении царства новых богов, потом вкратце и сухо о потомстве Зевса на Олимпе. Несколько неожиданно следует за этой главой глава о смертном (т. е. от смертных зачатом) потомстве богинь, а затем, на словах:

Ныне же женское племя воспойте, о голосе звонком
Музы, Олимпа жилицы, Зевеса могучего дщери! —

поэма обрывается.

Объясняется это тем, что в древности за нею следовал так называемый «Каталог женщин», т. е. тех героинь, которые от богов стали матерями героев и родоначальницами знатных родов; понятно, что песнь о них была особенно приятна греческой аристократии. Это был ряд стихотворных мифов о смертных красавицах, удостоившихся любви бога; эротический момент при этом, однако, совершенно отступает на задний план, главным было облагораживание человеческой породы божественной кровью и создание могучих героев. В центре каждого мифа стояла героиня; переход к новой героине совершался чисто внешним образом, в позднейших книгах посредством стоячей формулы «*E hoie...*» («Иль какова...»), что и доставило этим книгам «каталога» полунасмешливое прозвище «*Ehoiai*» («Ээи» — «Иль каковы»). Значение поэмы было очень крупное; в ней, а равно в происшедших от нее других генеалогических поэмах сокровищница стихов получила свою вторую — после гомеридов — поэтическую обработку. Нам она в целости не сохранена, но довольно большое число отрывков, увеличивающееся благодаря последовательным находкам новых папирусов, а также и следы в более поздней традиции дают о ней достаточное представление.

Зато нам сохранилась старинная поэма под заглавием «Щит Геракла» («*Aspis Herakleus*»), состоящая из трех лишь внешне спаянных частей. Начало — миф о рождении Геракла от Алкмены и Зевса; эта тема, а еще более первый стих:

Иль какова миловидная дочь повелителя рати
Электриона Алкмена, —

доказывает нам, что перед нами одна из «Ehoiai» «Каталога». Но затем поэт пропускает прочие подвиги героя, останавливается на одном — на его единоборстве с чудовищным Кикном, сыном Ареса; герой ждет его во всеоружии — и почему-то поэт считает нужным подробно описать один его доспех, а именно его щит, с очевидным намерением превзойти описание щита Ахилла в XVIII песни «Илиады». Капризность композиции, объясняемая скорее всего происхождением поэмы (т. е. тем, что она действительно была сколочена из одной «Ээи» и двух маленьких эпосов), позднее, во вселенскую эпоху, показалась особенной прелестью и вызвала подражание, так же, впрочем, как и композиция «Одиссеи», т. е. вложение рассказа Одиссея (песни IX–XII) в повествование о нем: как эта композиция возродилась в «Энеиде» Вергилия, так композиция «Щита Геракла» — в крупнейшем стихотворении Катулла.

Стиль Гесиода поражает некоторой сухостью, если его сравнить с Гомером; в генеалогических поэмах он увлекается перечнями имен собственных, правда, очень прозрачных и поэтических, что и заставило позднейших критиков именно в этих перечнях признать «гесиодовский характер». Но эта сухость вызвана в значительной степени его стремлением к краткости, а эта краткость в свою очередь создала то качество Гесиода, в котором мы признаем его главную силу, — меткость. Она особенно выступает в нравоучительных частях его поэм; и главным образом из-за этих незабвенных нравоучений он стал учителем позднейшей Греции и удостоился места рядом с Гомером. Нас сверх того пленяет в нем как в поэте крестьянской демократии тот запах земли, которым проникнуты его «Работы и дни». Правда, он не идеалист и не романтик; читая его совет молодому хозяину:

Прежде всего заведи ты избу, да жену, да корову, —

мы чувствуем, как глубоко вниз мы отброшены от гомеровских Андромых и Навсикай. Но это было неизбежно: аристократическая поэзия создает царицу и боярыню, демократическая сама по себе — только бабу, и лишь просвещенная демократия — гражданку.

ОБРАЗЦЫ

ГЕСИОД

1. Работы и дни

Песнь о пяти поколениях (ст. 109–201)

*Первым меж смертных людей сотворили Олимпа владыки¹
Век золотой, когда Крон был еще повелителем неба.
Жизнью богов наслаждались те люди с душой безработной,
И от трудов и от горя свободные. Жалкая старость
Их не давила: и рук сохраняя, и ног своих свежесть,
В вечных пирах они радость вкушали, не ведая бедствий;
А умирали, что сном покоренные. Всякого блага
Вдоволь имелось у них: от себя хлебородная почва
Им в изобилие дарила плоды; по желанию всякий
Мирным трудам отдавался среди неизменного счастья,
Многих владелец овец, небожителей милостью взыскан.
Время пришло: поглотила земля поколение это.
Люди ж его, по решенью могучего Зевса², поныне —
Демоны блага на лике земли и хранители смертных.
В ризу тумана одеты, везде среди нас они реют,
Видя и правду людей, и дела их неправые видя.
Все нам богатство от них: это — царская почесть блаженным.
Хуже гораздо того сотворили Олимпа владыки³
Меж земнородных *серебряный век*, не похожий нимало
На золотой ни обличьем своим, ни природою духа.
Мальчик у матери милой во мгле бессознательной жизни
Сотню годов среди детских забав проводил в ее доме.
Выйдя из детства затем, лет юных коснувшись предела,
Жил он недолго среди неустанного горя, гонимый*

¹ *Олимпа владыки* — не Зевс, ибо его тогда еще не было. Золотой век предшествовал его победе над Титанами, см. «Теогонию».

² *Зевса*: итак, конец золотого века совпал с титаномахией.

³ Все-таки *Олимпа владыки*, хотя Зевс уже правит. Непоследовательность? Но мы очень мало знаем об этой области гесиодовской религии, и именно в описании серебряного века много загадочного.

Собственной кривдой. Ведь спеси¹ злокозненной сердцем
чуждаться

Люди тогда не умели, служить не хотели бессмертным,
На алтарях их священных смирения дань возжигая,
Как то обычай велит. И за это их Зевс-промыслитель
Скрыл под покровом земли, негодуя, что чести блаженным
Не воздавали они, повелителям грозным Олимпа.
Так поколение и это кормилица-мать поглотила;
Но среди смертных слывут они *родом подземным*
блаженных,

Хоть и вторым: дань чести и им воздавать мы привыкли.

Зевс же отец *век третий* людей, обреченных страданиям,
Медный взрастил на земле, на серебряный мало похожий.
Вывел из ясеней он этот род, исполинский и сильный².
Службу Ареса он нес многостонную, спесь проявляя
Всюду; не хлебом питался, душой адаманту подобный³,
Необоримый. Страшна была сила людей этих, страшны
Руки, что с плеч их росли в закруглении мышц богатырских.
Медные были доспехи у них, были медные дома,
Медью пахали они, и неведом был черный булат им.
Время пришло — и гроза их взаимоубийственной брани
Всех ниспослала в туманный чертог ледяного Аида⁴
В доле безвестной. Хоть были они исполинами, все же
Черная смерть унесла их — покинули свет они солнца.

После того как и это покрыла земля поколение,
Создал *четвертое* Зевс на груди всекормилицы. Было
И справедливей оно того прежнего, и превосходней —
Дивных *героев* божественный род, величают их люди
Полубогами; в пределах земли это пращуры наши.
Часть их войны исступление и лютая брань погубила,
Этих — на пажитях Кадма, у Фив семивратных, в то время

¹ *Спесь* — этим словом я последовательно передаю непере译имое *hybris*.

² Предание о происхождении людей из деревьев (дубов или ясеней) упоминается нередко.

³ *Адамант* здесь не алмаз, а сказочный несокрушимый металл, отличный от железа, которого еще не было.

⁴ *Ледяного* следует, вероятно, понимать буквально, как у Данте: и Мелисса ведь забнет в аду.

Как воевали они из-за стад белоруных Эдипа¹;
 Тех на крутых кораблях чрез пучину бездонного моря
 Рок к Илиону увез ради пышноволосой Елены.
 Там завершение смерти свело их во мрак преисподней.
 А остальных поселил далеко за пределами света
 Зевс, отделивши их жизнь и жилище от племени смертных.
 Там и поныне они Острова населяют Блаженных.
 Над Океана пучиной, с душой безмятежной и ясной,
 Вечно счастливое племя героев. Рождает земля им,
 Трижды в году расцветая, медвяную хлебную пищу.
 Крона они почитают царем, далеко от бессмертных:
 Узы его развязал ведь богов и людей повелитель.

Лучше бы мне не пришлось проводить свою жизнь среди
пятих,

Лучше бы умер до них или позже на свет бы родился.
 Ныне железное племя царит. Не видать им просвета
 Днем от тяжелых трудов и от мук; не устанет и ночью
 Гибель их племя косить; окружают их несчастьями боги.
 Все же и к этому злу будет благо примешано: вымрет
 Волею Зевса и их поколение, от бедствий спасаясь,
 В дни, когда люди его седовласыми будут рождаться².
 А до тех пор — не приветлив ни к детям отец, ни взаимно
 Дети к отцу своему, ни хозяина гость не полюбит,
 Ни меж друзей, между братьев не будет сердечности прежней.
 В чести откажет родителям сын, лишь ослабит их старость,
 Будет словами обидными их поносить невозбранно,
 Дерзкий; богов над собой не признает он промысла, долгом
 Он не сочтет стариков награждать, что его воспитали.
 Правду заменит насилие, один на отчизну другого
 Двинет железную рать. Справедливость и верность присяге
 В пренебрежение у них, а в почете лишь спесь и злодейство.
 Праву рука их не будет служить, отвернется от чести
 Дух их; кривым оговором опутает лучшего худший,
 Клятвой скрепляя свою клевету. Гнуснолика Зависть,
 Козноречивая, вслед за несчастными двинется, злу их
 Радуюсь; и на Олимп от юдоли земной вознесутся,

¹ То есть в походе Семи против Фив.

² Поразительная идея: железный век вымрет вследствие вырождения. В дальнейшем описании имеются повторения, длинноты и скачки, заставившие издателей допустить подложность ряда стихов. Я предпочел перевести все.

Белою ризой покрыв свое тело прекрасное, к сонму
Вечноживущих богов направляясь, людей покидая,
Совесь и Честь; и одни лишь останутся бедствия злые
Смертным на все времена, и не будет от мук избавленья.

Нравоучения

*

Ныне гончар гончара ненавидит и плотника плотник;
С завистью смотрит певец на певца и на нищего нищий.

*

Землю с тобой поделили мы; ты ж грабежом и насильем
Много сверх доли унес, угождая царям-дароядцам,
Что по указке твоей наше дело неправдой решили¹.
Жалкие! Знать не дано им, насколько ценней половина
Целого, сколько добра в асфоделе таится и мальве².
Тотчас ведь Клятва бежит кривосудному вслед приговору³.
Шум я на площади слышу; то сирую Правду волочит
Сила мужей-дароядцев, творящая Кривду на сходах.
Следует с плачем по стогнам она и урочищам смертных,
В ризу тумана одета, и бедствия людям приносит.

*

Вам я вещаю, цари: легкомысленный суд не творите
В деле моем. Пребывают владыки поблизости с нами,
Запоминают они, если кто правезом кривосудным
Ближних бездолит, забыв о богов неустанной опеке.
Три мириады ведь бдят по земли-всекормилицы лику
Стражей бессмертных: их Зевс к племенам земнородным
приставил.

В ризу тумана одеты, везде среди нас они реют,
Видя и правду людей, и дела их неправые видя.

¹ Гесиод обращается к своему брату Персу.

² Корни *асфодела* и стебли *мальвы* были пищей бедноты.

³ *Клятва* олицетворенная, божество, которому отдался поклывшийся на случай клятвопреступления, т. е. божество смерти (*Horkos* = лат. *Orcus*).

Также и Дева живет, дочь Зевса, бессмертная Правда,
 Чтимая в сонме богов, что высоким Олимпом владеют.
 Кто обижает ее, оскорбляя кривым приговором,
 Тотчас она на того, припадая к родителя трону,
 Плачется в жалостной речи, неправду его обличая;
 И отвечает народ за насилие царей¹, что, преступно
 Суд правосудный творя, от стези уклоняются чести.
 Бойтесь ее вы, цари, и с прямого пути не сходите!

*

Зло на себя замышляет, кто зло замышляет на ближних;
 Всех пострадает больней от дурного совета — советчик.

*

Установил для людей непреложный закон Олимпиец:
 Рыбам морским, и бездомным зверям, и пернатым породам
 Есть он друг друга велел, ибо нет у них Правды небесной;
 Но человеку он дал всепрекраснейшей Правды познание.

*

Можно и целой толпой без труда приобщиться Пороку:
 Он ведь живет недалече и путь к нему прям и удобен.
 Но перед Доблестью² — пот поместили бессмертные боги.
 Путь к ней извилист и крут, и вначале он кажется трудным;
 Если ж до верха дойдешь, тебе станет он ровен и легок.

*

Всех превосходнее тот, кто своею силен головою,
 Умным зову я того, кто хорошему внимлет совету;
 Кто же ни сам на решения не спор, ни чужим наставленьям
 Внять не желает — того бесполезным считай и негодным.
 Тот и богам ненавистен, и нам, кто, от дела летая,
 Трутням подобный, живет куцехвостым³, что в праздности

¹ Как отвечает, об этом см. сравнение Гомера, приведенное в гл. II.

² *Доблесть* — условный перевод греческого *arête*, которое здесь еще не имеет позднейшего значения «добродетель». См. «Из жизни идей» I, стр. 167 3-го изд. (Алетейя, 1995).

³ *Куцехвостый* — «трутень с брюшком, своим тупым концом не выдающимся за концы крыльев» (из современного описания).

вечной

Трудолюбивых питаются пчел неустанной работой,
Труд тебя ставит владельцем овец и иного достатка,
Труд добывает тебе и богов неуклонную милость.

*

Друга на пир приглашай, супостату не шли приглашенья;
Чаще же всех приглашай, кто живет по соседству с тобою.
Ведь если грянет беда, деревенского пагуба быта, —
Пояса ищет твой друг, а сосед и без пояса близок.

*

Единороден да будет в родительском доме наследник:
Только такой его может кормить и достаток умножить.
В старости лет да умрет он, единого сына оставив¹.

*

Слово нетрудно сказать: «Одолжи мне волов и телегу».
Но и ответить нетрудно: «Волы мои заняты делом».

*

Приснотекущей реки светлоструйную воду ногами
Не преступай, пока, взор к ее дивному руслу направив,
Ей не помолишься ты и в волнах ее рук не омоешь.
Кто ни водой своих рук, ни души не омоеет молитвой
При переправе, тому гнев божий пошлет злоключенье.

Из «Песни о работах» (ст. 389–694)

Описание зимы

Будь осторожен в тяжелые дни Ленеона²: скотине
Гибель приносят морозы его, когда вьюги Борея
Отдыха ей не дают на поверхности почвы холодной.
Мчится из Фракии он, проносясь над взволнованным морем.
Стонет земля под напором его, оглашается ревом

¹ Знаменитое предвосхищение мальтузианства.

² *Ленеон* (у афинян *Гамелион*) — приблизительно наш январь.

Лес; исполинские дубы, огромные ели ветвями
Он пригибает к земле в недоступных ущелиях горных.
Гул тогда грозный стоит в беспредельных лесах; поджимают
Робко хвосты свои звери — душа их недоброе чует.
Мехом природа густым защитила их тело — напрасно:
Их пронизает насквозь леденящим Борей дуновеньем;
Так же и шкуру быка, и нигде не встречает задержки;
Так же и коз длинношерстных. Овец лишь продуть он не может —
Слишком пушиста их шерсть, чрез нее не проходит Борея
Грозная сила. Старик быстроногим становится, чую
Крылья его над собой. Не коснется лишь девы он нежной:
Диво ль? Сидит она дома, у матери милой в светелке,
Службы не зная еще Афродиты, украшенной златом.
Чисто умыв свою мягкую плоть, умастив ее маслом,
Греется мирно она под защитою верного крова
В зимние дни, когда спрут в несогретой норе в безотрадной
Доле беспомощно зябнет и ногу свою пожирает¹.
Солнце ведь ныне ему не укажет счастливой охоты.
Солнце в те дни далеко над людьми черномазыми реет,
К нам же, всеэллинам, лишь ненадолго златое заглянет.
Жители наших лесов — будь рогаты они иль безроги —
Бродят уныло по чаще густой; зуб на зуб у бедных
Не попадает, душой лишь одна овладела забота —
Как бы от стужи спастись, в недоступной ли заросли темной,
Или в пещере скалы. И блуждают, подобно треногим²,
Люди, которых спина переломлена, очи поникли —
Им уподобясь, блуждают они и чуждаются снега.
В эту годину тебе одеваться советую так я:
Мягкую хлену надень и хитон длиннополый под нею,
Редкий в основе с утком густым. Если им ты покроешь
Тело, спокойно лежать будут все волоски под одеждой,
Дыбом не встанут они, от неласковой стужи щетинясь.
Ноги ж обуь в сапоги, но из кожи быка, что зарезан
(Дряхлого бойся), да так, чтобы шерстью вовнутрь и чтоб впору
Были тебе. А затем, лишь нагрянут морозы, сошьешь ты

¹ Поверье про спрута, что он зимой гложет или сосет свою ногу, опроверг Аристотель.

² *Треногие* — т. е. старики, согласно знаменитой загадке Сфинкса.

Перворожденного шкуру козленка воловьёю жилой¹,
Чтоб от дождя тебе спину она защищала, а сверху
Голову шапкой искусной покрой, не промокли чтоб уши...

О морском деле

Этот отрывок включен между прочим ради биографических данных, которые в нем дает поэт.

Выжди, чтоб время настало удобное; только настанет —
В море спусти быстроходный корабль, нагрузи его кладью,
Сколько войдет, чтоб домой тебе с прибылью должной
вернуться;

Так наш с тобою отец, о мой Перс неразумный, скитался
На корабле по морям и гонялся за жизнью счастливой.
Он напоследок приехал сюда, чрез широкое море,
Черного гость корабля, эолийскую Киму покинув.
Не от недостатка бежал, не от роскоши он и богатства,
Нет — от жестокой нужды, что на смертного Зевс насылает.
Близ Геликона он в Аскре осел, деревушке несчастной,
Тягостной летом, несносной зимой, никогда не хорошей.

Ты же, мой Перс, знай твердо, что должно удобное время
Всюду в расчет принимать, а в делах мореходства — подавно.
Малое судно — оставим! Свой груз доверяй ты большому²:
Больше вмещает оно, а поэтому к прибыли прибыль
Легче добудет — была б лишь с ветрами дурными удача.

Значит, направил на торг неразумные помыслы Перс мой?
Хочет уйти от долгов, отогнать изнурительный голод?
Что ж, укажу ему путь неустанно шумящего моря,
Даром что плаванью чужд и в делах корабельных несведущ.
Не направлял никогда корабля я на скользкие волны;
Раз лишь в Евбею меня перевез судовщик из Авлиды³ —
Той, где ахейская рать в ожидании вёдра собиралась,
В Трою, отчизну красавиц, готовя поход из Эллады.
Тризна меня привлекла многомудрого Амфидаманта

¹ То есть кожух (*diphtheria*), характерная одежда крестьянской бедноты в отличие от городской.

² То есть от малого откажись.

³ Как если бы у нас кто сказал: из Петрограда в Кронштадт.

В город Халкиду; сыны благородные нам объявили
Много почетных даров. Там и я состязался; за гимн мой
Судьи награду мне дали — ушатый треножник; его я
Музам затем посвятил, что поляны блюдут Геликона¹
Там, где впервые они песнопенью меня научили².

Вот тебе опыт мой весь в кораблей многозубчатых³ деле;
Всё же поведать могу тебе мысли Эгидодержавца,
Ибо от Музы искусство мое в необманчивых песнях...

Из «Песни о днях» (ст. 765–828)

Разумеются дни месяца (лунного), у Гесиода в 30 дней распадающегося на 3 десятка — растущей, полной и ущербной луны.

Будь осторожен и в днях: их наука от Зевса. Домашним
Твердо внуши, что удобнее нет *тридесатницы* света
И для обзора работ, и для новой разверстки припасов⁴,
Если не лживо об этом гласит всенародное мнение.

Дни я тебе назову, промыслителем данные Зевсом:
Это — *канун*⁵, *четверица* и свет благодатный *седмицы*.
В этот Латона ведь день родила златолирного Феба⁶.
С ними — *восьмой и девятый*; то лучшие в первом десятке
Дни, чтобы всякому делу почин даровать среди смертных.
В среднем же — первые два; они счастливы оба для дела,
Должно ль овец расчесать, иль за милую жатву приняться.
Двунадесятница все же единодесятницы лучше.

В этот ведь день и паук, по висячей скользя паутине,
Нити выводит весной, когда рост муравейника шибче;
В этот и женщина день пусть для ткани станки приспособит.

Пярых же бойся: они тяжелы и несчастны. Тогда ведь

¹ Из этого свидетельства Гесиода возникла фикция о состязании Гесиода с Гомером.

² Намек на видение Гесиода, о котором см. ниже.

³ «Зубы» корабля — уключины.

⁴ Последнее число, конечно, самое удобное для баланса и дележа припасов на следующий месяц.

⁵ *Канун* (*ημερη*) для нас загадочен, так как он совпадает с тридесатницей — предполагают порчу текста.

⁶ Седьмое число считалось днем рождения Аполлона; отсюда святость *седмицы* в Аполлоновой религии.

Новорожденную Клятву Эринии пестуют — Клятву,
Что на погибель преступным на свет рождена от Эриды¹.

Разны сужденья у разных, но верное мало кто знает;
Та словно мать нам зарделась заря — словно мачеха эта.
Благословен среди всех и удачлив, кто, зная преданье,
Трудится бодро, пред ликом богов олимпийских безвинный,
Вестниц их птиц вопрошая и дел сторонясь нечестивых².

2. Теогония

Видение Гесиода

Благословением Муз геликонских мы песнь начинаем,
Муз, что блюдут исполинский божественный кряж Геликона,
Что хороводы ведут у фиалковых струй Гиппокрены,
Нежной стопой выступая вокруг алтаря Крониона³.
Снявшись оттуда, они, облаченные в ризу тумана,
Дивные песни струя, невидимкой в долину спустились;
Там Гесиода они своему научили искусству,
Пастыря белых овец под священным хребтом Геликона.
С речью такою ко мне обратились спервоначала
Музы Олимпа, Зевеса эгидодержавного дочери:

«Жалкие пастыри диких полян — животы, да и только!
Много умеем мы сказок вещать, лишь похожих на правду;
Но если двинет нас воля, и правду вещать мы умеем».
Так мне сказали богини, нелживые дочери Зевса.
Посох затем, отломивши обильноцветущего лавра
Ветвь, мне вручили они и вдохнули божественных песней
Дар, чтоб грядущие я воспевал и бывшие деянья.
Петь мне велели они *присносущее племя блаженных*,
Их же самих — и в начале всегда и в конце моей песни.

¹ *Клятва* (*Horkos*) олицетворена; см. выше. Аллегория: клятва (судебная) рождена спором и тяжбой (у греков допускалась клятва сторон, упраздненная Римом).

² Последний стих «Работ и дней» был переходом к дидактической поэме «О птицегадании», как последний стих «Теогонии» — к «Каталогам».

³ *Кронион* — Кронид Зевс.

Низвержение Титанов в Тартар (ст. 711–806)

Предшествует описание битвы между Зевсом и богами с одной стороны и Титанами, сынами Земли, с другой.

Битва была решена. Но пред тем в нападениях взаимных
Стойко сражались они, проявляя великую силу.
В первом ряду разжигали усердие схватки горячей
Котт, Бриарей и Гиег, в испуленном бою ненасытный¹.
Триста оторванных скал в супостатов одну за другою
Стали метать силачи, застилая их тенью Титанов.
Так под конец они в глубь их земли необъятной низвергли
И заковали их там в неустанно гнетущие узы,
Силою рук победивши надменную рать исполинов,
Столь глубоко под землей, сколь высок свод неба под нею.
Девять ведь дней и ночей наковальня летит медяная
С тверди небесной — в десятый она лишь ударится в землю;
Девять же дней и ночей наковальня летит медяная
С лика широкой земли и в десятый ударится в Тартар².

Медной оградой он окружен отовсюду; над выей³
Три наслоения ночи лежат, громоздяся, а сверху⁴
Корни растут плодородной земли и бесплодного моря.
Там, под туманным покровом исконного мрака, Титаны
Были сокрыты тогда тучевластного Зевса решением
В душном краю запустенья под гранью земли необъятной.
Выхода нет им оттуда: закрыл Посидон его дверь⁵
Медной; с обеих сторон обегает стена их обитель⁶.
*Здесь*⁷ Бриарей веледушный и Котт поселились с Гиегом,
Верные грозные стражи эгидодержавного Зевса;
Там в изначальном ряду ты нашел бы ключи и пределы⁸

¹ На стороне богов сражаются и сторукие исполины, поименованные в этом стихе; их помощью битва решается в пользу богов.

² Итак, между диском земли и Тартаром — пропасть; о ней см. ст. 727 (три наслоения ночи) и 736–43.

³ *Над выей*, т. е. сверху, между Тартаром и нижней поверхностью земного диска.

⁴ *Сверху* пропасти, там, где нижняя поверхность диска.

⁵ *Дверью* по направлению вверх, к пропасти, как видно из ст. 741.

⁶ *С обеих сторон* двери.

⁷ *Здесь*, т. е. вне стены у двери, где место привратникам.

⁸ *Там*, т. е. вне стены, где пропасть. *Ключи* (т. е. истоки); *пределы* — то же, что корни в ст. 728.

Мраком объятай земли и туманного Тартара, там же
Моря бесплодного, там и искрящейся тверди небесной —
Страшные, полные мглы, коих даже и боги трепещут.
Пропасть зияет вокруг; чрез нее не добраться до почвы
В весь завершающий год, если кто от ворот ее ищет.
Нет: и сюда и туда его выюга за выюгою гонит,
Необоримая; страх и богам присносушим внушает
Диво такое: чертог беспросветной здесь высится Ночи;
Черными тучами мглы отовсюду он густо окутан.

А перед ним подымает широкого неба обузу
Сын *Ианета*¹ главой и руками, усталости чуждый,
Без перерыва, — где, к Ночи приблизившись, *День* ее словом
Кратким привета встречает, великий порог преступая
Медный. Она удаляется внутрь — поспешает наружу
Он; никогда их обоих одна не вмещает палата.
Вечно один, покидая покои родимого дома,
Землю обходит — другой, находясь под хоромною сенью,
Ждет, пока время придет и ему собираться в дорогу.

Там же палаты стоят и рожденных туманною Ночью
Смерти и Сна, многомоощных богов. Никогда не ласкает
Этих палат своим ясным лучом светозарное Солнце²,
Ни восходя на небесную твердь, ни спускаясь в пучину.
Сон и по лику земли, и по глади широкого моря
Шествует мирно, приветливый дух для людей утомленных;
Смерти же сердце — булат, и в груди ее дух беспощадный,
Точно из меди каленой; кого она схватит, тому уж
Нет избавленья, самим она вечным богам ненавистна.

Там же и гулкий чертог властелинов подземного царства
Бога Аида стоит и супруги его Персефоны.
Пес беспощадный пред ним сторожит его вход неустанно³.
Нрав его лют: если видит, что гость приближается новый;
Ласково уши опустит, хвостом добродушно виляя;
Выйти же он никому не дает: притаившись в засаде,
Пастью он вцепится в тех, кто порог роковой переступит.

Там же богиня живет, ненавистная прочим бессмертным,
Страшная *Стикс*, среди дочерей текущего вспять Океана

¹ Сын (Титана) *Ианета* — Атлант, один из «корней» (ст. 737) неба; о других см. ст. 779. Конечно, у самого края диска, куда, поэтому, имеет доступ и *День*.

² Значит, под диском и ближе к его середине.

³ *Пес* — Кербер.

Старшая родом она. Ее дом далеко от Олимпа¹,
 Здесь, под навесами скал, а они, окружая палату,
 Рядом серебряных свай упираются в звездное небо.
 Редко Фавмантова дочь быстроногая дева Ирида
 С вестью является к ней, проносясь над широкою гладью.
 Если раздоры и тяжба возникнут в среде олимпийцев,
 Слово промолвит порой небожитель обманное — тотчас
 Зевс поручает Ириде богов величайшую клятву²
 В чаше примчать золотой, многозвенную страшную влагу,
 Воду студеную ту, что с горы недоступной росится.
 Долго пред тем протекала она под землею широкой
 В черной обители Ночи, рукав Океана святого,
 Кругоземельной реки. Ей десятая доля досталась³:
 Девять поверх и земли и широкопучинного моря,
 К устью стремясь своему, серебристым потоком струятся:
 Эта одна из скалы прорывается, горе бессмертным.
 Кто из блаженных богов, на вершине Олимпа живущих,
 Влаги стигийской струю возлиял при *обманной* присяге,
 Тот бездыханный лежит, пока год не исполнится целый⁴;
 Ни амврозийского брашна, ни нектара он не вкушает,
 Нет: с неподвижною грудью, безмолвный, покоится грешник,
 Мертвою скованный дремой, на крытой коврами постели.
 Коли ж исполнит болезнь он, в течение великого года
 Подвиги должен свершить он, один тяжелее другого.
 Девять чуждается лет он богов присносущих собранья,
 Не получая удела ни в общей трапезе, ни в вече, —
 Девять безрадостных лет; на десятый же год он обратно
 В сонмы вступает богов, на великом Олимпе живущих.
 Клятвой такою ее, роковую стигийскую воду,
 Боги поставили — ту, что с горы недоступной росится.

¹ *Стикс* по-гречески женского рода, Океанида. Ее дом у края диска.

² *Клятва* понимается конкретно: вода Стикса это и есть клятва.

³ *Десятая доля* — не вполне выяснено. По-видимому, здесь смешаны представления об океане как подземной реке, откуда исходит всякая пресная влага, и об Океане кругосветном.

⁴ Об этой каре богов-клятвопреступников см. мою статью «Бог и добро» (Вестник Европы, 1917, январь).

§ 13. Собственно дидактическое и генеалогическое направления. — Эпический язык в Дельфах. — Пророчески-богословский эпос. — Философский эпос. — Ксенофан. — Парменид и Эмпедокл

Гесиод важен не только своими непосредственными творениями, но и своей *школой аэдов и рапсодов*, ставшей конкуренткой гомеридов. В этой школе созданный им *дидактический* эпос развивался в двух направлениях, причем во главе первого стояли «Работы и дни», а второго — «Теогония» с «Каталогом». Первое направление — *собственно дидактическое*, т. е. либо нравоучительное, либо наставительное в различных областях знания; второе — *генеалогическое*. Число созданных в обоих направлениях эпосов было чрезвычайно велико; нам от всего этого обилия ничего не осталось, кроме немногих жалких отрывков.

Силою, заставлявшею поэтов перелагать в стихи всё новые и новые отрасли прозаического знания, было все то же желание сохранить в памяти людей не только содержание сообщаемого, но и формальную его обработку именно данным лицом — желание, естественно возникшее вслед за пробуждением личности, т. е. за появлением Гесиода. И ясно, что пока не будет дан удобный для прозаической записи писчий материал — стихотворная форма будет необходима также и для дидактики. Когда же это случилось — об этом у нас речь впереди — дидактический эпос потерял свое право на существование и от него произошли, соответственно его двум направлениям, две древнейшие отрасли прозаической литературы: из собственно дидактического эпоса — философская, из генеалогического — историческая.

Но прежде чем это случилось, первое из обоих направлений, собственно дидактическое, претерпело ряд важных для истории греческой словесности изменений. Беотия, родина Гесиода, была соседкой святой горы Аполлона, дельфийского Парнаса, и уже вследствие этого соседства стояла к ней в особенно близких отношениях. И вряд ли можно сомневаться,

что техника эпического стиха, перешедшая из Эолиды в Беотию, именно из Беотии перешла в Дельфы. Как бы то ни было, *Дельфы усвоили и стих, и язык эпического песнопения*; их оракулы — напомним общеизвестный: «Крез, чрез Галис перейдя, величайшее царство разрушит» — давались в гомеровских формах, и благодаря этому гомеровский язык стал как бы единым церковным языком в многоязычной Элладе, как латинский язык для народов средневекового Запада. Это увеличило его святость как «языка богов».

Идя по стопам дельфийских жрецов, и примыкавшие к Аполлону многочисленные *пророки* VIII–VI вв., известные отчасти под своими историческими, отчасти под апокрифическими именами: Мусей, Орфей, Эпименид Критский и др., — пользовались тем же языком и стихом для своих творений; возник очень разветвленный *пророческо-богословский* эпос. Его содержанием, соответственно его связи с дельфийским оракулом, было наставление к аполлоновской чистоте жизни и нравов, к освящению себя, к пророческим исцелениям болезней, к всевозможным обрядам, направленным к отращиванию скверны, соединение глубокомысленной религиозности с неизбежным ритуализмом. Понятно, что эта сугубо «языческая» литература подверглась в христианские времена особенно ревностному уничтожению; правда, нам сохранена под именем Орфея довольно объемистая книга, но она — произведение вселенской эпохи.

И, наконец, язык богословского эпоса перенял также и восторженный противник традиционной религиозности, яростный обвинитель Гомера и Гесиода в том, что они приписали своим богам позорные даже для смертных деяния, *Ксенофан Колофонский* (VI в.). Выходец из вольнодумной Ионии, он по призванию был рапсодом и как таковой исходил всю Элладу; поселился он под конец в греческой Италии, в городе Элее, где он, став из рапсода философом, основал свою «элеатскую» школу. В греческой литературе он занял место благодаря своему философскому эпосу о природе, в котором он, ополчаясь против ходячего представления о че-

ловекоподобных богах, обосновал свою теорию единого метафизического божества.

Следуя указанному им направлению, его ученик *Парменид* (начало V в.), тоже в эпосе, развивает элеатское учение о мире бытия и мире кажимости. Третьим в числе этих поэтов-философов был *Эмпедокл* из Акраганта в Сицилии (середина V в.) — третьим и самым гениальным. Соединяя в себе философа с пророком, он в своем эпосе «О природе» проводит поразительное по своей глубине учение о мировом становлении, обусловливаемом последовательным разъединением смешанных стихий под влиянием «вражды» и их воссоединением под влиянием «дружбы», причем доходит до таких естественно-исторических построений, что современная наука признала в нем предтечу Дарвина; и он же в другом своем эпосе «Об очищениях» выступает богословом дельфийской школы, провозглашает себя согрешившим и кающимся богом, которому по истечении настоящей искупительной жизни предстоит вернуться в свою небесную обитель.

С *Эмпедоклом философский эпос* прекращается; проза, уже много раньше принявшая в себя философию на востоке, овладевает ею также и на западе греческого мира.

Если же мы, перенеся себя мысленно в эпоху около 500 г., окинем взором тогдашнюю греческую литературу — мы убедимся, во-первых, что она была почти исключительно поэтической, а затем, что в этой поэзии преобладал эпос. Зато этот эпос был чрезвычайно плодovit: представив себе все созданное в области героического, собственно дидактического, генеалогического, богословского, философского эпоса — мы вряд ли ошибемся, выражая его сумму уже не в сотнях, а в тысячах книг. И ото всего этого богатства нам ничего не осталось, кроме обеих гомеровских эпопей, да трех поэм Гесиода, да небольшого числа гимнов; все остальное пало жертвой нерадивости и отщепенства выродившихся потомков творцов греческой литературы.

ОБРАЗЦЫ

А. ДЕЛЬФИЙСКИЕ ОРАКУЛЫ

1

Оракул, данный, по преданию, спартанскому законодателю Ликургу в IX в.

Вижу, Ликург, ты приходишь в мою золотую обитель,
Зевсу любезен и прочим богам, на Олимпе живущим.
Ум мой двоится: мне богом тебя объявить или смертным?
Все же склоняюсь к тому, мой Ликург, чтоб назвать тебя богом.
Благозаконья пришел ты искать: и его ты получишь
В мере такой от меня, как нигде его люди не знают.

2

Оракул, данный спартанцам перед их походом в Аркадию в VII в. Они поняли его в смысле обещания победы над аркадскими тегеатами, но тегеаты их разбили, заковали пленных в принесенные ими же цепи и заставили их в цепях «измерить» их землю до самой Тегей.

Ищешь Аркадии ты. Нет, многого ищешь: не дам я.
Многи в аркадских горах желудями живущие мужи:
Ими твой путь прегражден. Но *Тегею* — ее ты получишь.
Слышу, как цепи стальные звенят на ногах побежденных;
Вижу, как Спарты сыны измеряют тегейскую землю.

3

Оракул, данный спартанцу Главку, желавшему посредством ложной клятвы присвоить себе вклад одного милетца, за которым пришли его сыновья.

Главк Эпикидов, ты прав: для начала оно и недурно —
Клятву облыжную дать и сиротские деньги присвоить.
Что ж поклянись: ведь от смерти и праведный муж не свободен.
Помни, однако; у Клятвы есть сын, безымянный, незримый:

Он и безногий бежит, и безрукий злодея хватает,
Вместе со всем его домом и родом его истребляя.

4

Оракулы, относящиеся к Кипселу — тирану коринфскому, отцу тирана Периандра (VII в.). Правивший до него род Вакхиадов выдал одну из своих дочерей, некрасивую Лабду, за простого коринфянина Аэтиона; сыном обоих и стал Кипсел.

Из трех оракулов первый был дан Аэтиону (игра слов): Аэ-тион можно понимать как «всегда чтущий», на самом же деле это слово происходит от *aetos* — орел. Отсюда игра слов во втором оракуле; второй — Вакхиадам (скала по-гречески *Petra*; так звали деревню Аэтиона. *Пирена* — источник в Коринфе; *бровь Коринфа* — его гора Акрокоринф. Ср. Байрона: «*Stranger, wilt thou follow now and sit on Acrocorinth's brown*» («*Siege of Corinth*»).

4а

Аэтион, хоть не чтим ты никем, многочтим ты для многих,
Лабда родит тебе сына: то будет валун беспощадный;
Грянет в среду он царей и властителем станет Коринфа.

4б

Вижу, орлица сидит на скале: она высидит вскоре
Льва кровожадного, многим суставы колен он расслабит.
Будьте же бдительны вы, что живете у дивной Пиррены,
Вы, что зовете отчизной великий Коринф бровеносный.

4в

Оракул, данный самому Кипселу, род которого оборвался на его сыне Периандре.

Будет удачлив тот муж, кого ныне мой храм осеняет.
Славный Кипсел Аэтид, богоданный Коринфа властитель,
Сам он и дети его, но не дети детей самодержца.

5

Знаменитый оракул о «деревянной стене», данный афинянам перед 480 г. и истолкованный Фемистоклом (корабли).

Речью и мыслью за вас заступается часто Паллада —
Тщетно: не в силах она умолить вседержавного Зевса.
Вам же я слово скажу, закалив его крепостью стали:
Все, что от смежных равнин ограждает предел Киферона,
Станет добычей врага, и оплот лишь *стены деревянной*
Дщери дарует своей дальновидящий Зевс; необорным
Будет лишь он, во спасенье и вам, и наследникам вашим.

Б. ФИЛОСОФСКИЙ ЭПОС

1. Ксенофан

№№ 11—16. Из полемической поэмы «*Selloi*». Притом *№ 11* специально против Гомера, *№ 15—16* против антропоморфизма вообще.

№ 11

Что среди смертных позорным слывет и клеймится хулою —
То на богов возвести ваш Гомер с Гесиодом дерзнули.
Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать хитро.

№ 15

Если б руками владели быки, или львы, или кони,
Если б писать, точно люди, умели они что угодно —
Кони коням бы богов уподобили, образ бычачий
Дали б бессмертным быки; их наружностью каждый сравнил бы,
С тою породой, к какой он и сам на земле сопричислен.

№ 16

Черными пишут богов и курносыми все эфиопы,
Голубоокими их же и русыми пишут фракийцы.

№ 22

Содержит хронологический намек вторжения мидян, т. е. персов Кира после поражения Креза в 546 г. В сельской «лесхе» приветствуют забредшего рассказчика.

Речь за огнем мы такую послушаем в зимнюю пору,
Лежа на мягкой постели, насытившись всякого брашна,
Сладким вином запивая бобов угощенье каленых:
Кто ты? Откуда пришел ты, любезнейший? Много ли прожил?
Сколько был лет, когда мидяне к нам ворвались? Ответствуй!

№№ 23–34. Из поэмы «О природе».

№ 23

Бог же един, между смертных и между богов величайший,
Смертному он не подобен ни видом своим, ни душою.

№ 24

Видит он весь, и внимает он весь, как весь он и мыслит.

№ 34

Нет того мужа на свете всеумного, нет и не будет,
Кто б о богах и о прочем мог истину *знать* непреложно;
Если же в речи своей он и выскажет сущее верно —
Сам он не знает того, ибо Каз¹ надо всем тяготеет.

2. Парменид***Вступление к поэме «О природе»***

Аллегория вступления под влиянием Гесиода (его миф о Фазтонтe).

Кони, что всюду уносят меня, куда дух пожелает,
Путь многославный нашли восседающей в горних богини²,
Путь, коим сведущий муж до предела доводится знания.

¹ Каз, т. е. кажущееся, кажимость (*Schein*), перевод такого же ксенофановского неологизма *dokos*.

² Богини возмездия Правды, см. далее ст. 14.

Он меня принял; его всеразумные кони избрали
Для колесницы моей; направляла же дева¹ бегущих.

Ось раскаляя, скрипело в чеках, испуская сиринги
Свист: ведь с обеих сторон окрыляли колес ее круги
В быстром вращенье своем. Гелиады кружили их, девы:
Ночи покинув чертог, они к свету свой путь торопили,
Сбросив покровы с бессмертных голов в нетерпении страстном.

Вот и врата: разделяют пути они Ночи туманной
И лучезарного Дня косяком и порогом из камня.
Между обоими створы эфирный простор заполняют;
Их же ключами владеет богиня возмездия Правда.

С ласковой речию к ней обратились ведущие девы
И убедили ее, чтоб колодчатый сдвинула скоро
С двери богиня засов. И один за другим повернули
Створы на острых шипах свои медью обитые оси,
Прочно сидящие в гнездах; и двери широко раскрылись,
Светлый являя простор. Чрез него напрямик устремили
Девы коней с колесницей по торной дороге к богине.

Милость во взоре сияла божественном; руку рукою
Правой она приняла и промолвила слово такое:
Юноша, спутниц-богинь удостоенный, ты, что отважно
Дома достиг моего, чрез простор уносимый конями,
Радуйся! Ведь не дурной по пути тебя рок направляет
Этому — столь непривычен он прочему племени смертных —
Нет, но стремление к правде. И должен узнать ты двойное:
Истины должен узнать округленной недвижимое сердце²,
Но и лишённые правды незыблемой *мнения* смертных.
Да, и о них ты услышишь: повсюду орудовать мыслью
Должно тебе, чтобы мог обличить ты и кажимость сути.
Все же удерживай мысли на этой стезе ты исканья;
Да не подвинут тебя многолетней привычки соблазны
Глаз применять тут слепые лучи, или гулкого *слуха*
Звон, или вольный *язык*. Нет, одним ты лишь *разумом* должен
Взвесить, внимая усердно, мое многоспорное слово.

¹ Девы Гелиады, т. е. дочери Солнца, см. далее ст. 8.

² Согласно этой программе в дальнейшем говорится: 1) об истине, т. е. о голом бытии замкнутого в себе и поэтому шаровидного и недвижимого космоса и 2) о мнениях или кажимости (*doxa*), т. е. о происхождении познаваемого чувственным опытом мира.

3. Эмпедокл

Из поэмы «О природе»

№ 6

О четырех стихиях: Зевс — небо, эфир или огонь, Аид (собственно «незримый») — воздух, Гера — земля (как супруга Зевса-неба, согласно древнейшей религии), Нестида — специально эмпедокловское олицетворение воды, заимствованное им из его родной сицилийской мифологии.

Прежде всего про четыре узнай мироздания корня:
Зевс то блестящий, Аид, жизнотворная Гера, Нестида,
Чьими слезами родник бытия создается для смертных.

№ 8

Слово другое скажу: не бывает у смертных рожденья,
Нет и кончины для них под ударом губительной смерти.
Только смешение есть и веществ составляющих¹ мена:
Это — рожденьем зовут в неразумных речах своих люди.

№ 9

О безрассудные! Им не дано размышлением долгим
Правду познать. Они мнят, что рождаться не бывшее раньше
Может, а сущее — смерть испытать и конечную гибель.

№ 23

Как из (четырех основных) красок живописец выводит все оттенки цветов, так из четырех стихий возникло все разнообразие предметов. Условие: разнообразие смеси, не только качественное, но и количественное (предварение принципа новейшей химии).

Как живописцы порой посвящений малюют таблицы,
Люди, искусству своим обученные разумом тонко, —
Краски берет их рука многоцветные, этой побольше,
Этой поменьше, и, в мере смешав их, какая довлеет,
Образы ими выводят живущим подобные в мире,

¹ *Веществ составляющих* — четырех стихий.

Будь то деревьев краса, иль мужчин или женщин обличья,
Или зверей, или птиц, или рыб водовскормленных роды,
Или богов долговечных почтенные смертному лики, —
Так не дозволь ты обману смутить легковёрный твой разум,
Будто иной был родник этих бранных существ, что в несметном
Множестве явлены нам! Убедись: глас бога¹ ты слышишь.

№ 27

Там не предстали бы взору ни Гелия быстрые члены,
Ни беспокойное море, ни Геи косматая сила:
Так в неразрывных объятьях Гармонии весь утвердился
Сфер² шаровидный, гордясь пустоты окружающей тишью.

№ 30

Время настало: его в череде нерушимой обоим³
Крепкая клятва судила. И в членах его⁴ зародилось
Семя великой Вражды, и к державной воспрянуло чести.

№№ 57–61. Возникновение организмов, сначала из случайного столкновения отдельных членов, причем получались и уродливые сочетания (Кентавры и Минотавры мифологии), но выживали и размножались только жизнеспособные (предарвинизм Эмпедокла).

№ 57

Много голов из нее тогда выросло, шеи лишенных;
Голые руки блуждали, к плечам прирасти не умея;
Очи брели одиноко, сиротствуя в доле беззлойной.

№ 58

Вскоре, однако, тесней божество с божеством сочеталось:
Случай их вместе сводил — они стали срастаться, и много
Образований иных чередой бесконечной возникло.

¹ Бога — самого Эмпедокла.

² Сфер (*Sphairos*) — состояние вселенной под господством одной только Дружбы (Гармонии).

³ Обоим — Дружбе и Вражде.

⁴ Его — Сфера.

№ 61

Много тогда, говорят, народилось двуликих, двугрудых,
Быкоголовых людей и быков с головой человека;
Много возникло таких, в коих оба смешались пола
Так, что о мужскими сошлись детородные женские члены.

№ 100

Проблема дыхания (все-таки скорее легкими: мнение, что артерии наполнены воздухом, долго держалось в греческой медицине). Интересен метод: аналогия, как и в № 23.

Вот выдыхания суть и вдыхания. Бедные кровью
Всем нам мясные сосуды даны у поверхности тела.
Их перепонки у кожи самой, где их устье, повсюду
Мелких исколоты сетью отверстий таких, чтобы крови
Выход они преграждали и выпуск оставляли свободный
Воздуху. Если из них удалится в телесные недра
Нежная кровь — устремляется вслед ей шумящим прибором
Воздух, и снова обратно спешит, если кровь приливает.
Так с водяными часами¹ порой забавляется дева.
Если рукой миловидной отверстие заткнет она трубки,
В мягкую влагу воды серебристой часы погружая, —
Все ж не волюется в их полость струя: преграждает ей доступ
Воздух давлением своим изнутри на проколы покрова.
Стоит, однако, ей выпустить ток уплотненный — и тотчас
Воздух ушедший вода замещает в количестве равном.
Так и обратно: пока только нижнюю полость сосуда
Заняла влага, рука ж замыкает отверстие трубки —
Воздух, стремясь вовнутрь, заполняет лишь верхнюю полость,
Воду спирая у врат протяженно-журчащего истма;
Стоит ей руку отнять — и немедленно током обратным
Воздух врывается внутрь, соразмерная влага уходит.

¹ *Водяные часы (клепсидра)*. Их устройство было такое же, как и песочных: две полости наподобие двух обращенных друг к другу верхушками конусов, соединенных между собою «истмом» (ст. 19). Вода вливается в верхнюю полость через трубку; дно нижней образовала, судя по ст. 13, металлическая пластинка с проколами.

Так и тогда, когда нежная кровь, что по плечам разлита,
В недра телесные вспять убегает чрез узкие жилы,
Тотчас же воздуха ток с клокотаньем врывается бурным,
Если же кровь приливает — он снова стремится наружу.

№ 105

Сердце питается моря кровавого мощным прибоем —
Тем, что у смертных людей называется *мышленьем*; ибо
Кругосердечная кровь — только ею и мыслим мы, люди¹.

№ 110

Если, в основу им² дав нерушимые духа устои,
В чистом усердии ты их блюсти благосклонно сумеешь,
Будут до жизни пределов они тебе кладом надежным
И обретешь ты, от них исходя, и другие богатства:
Сами собой ведь они тебе в душу врастут и в природу.
Если ж соблазнам другим ты поддашься — а их ведь немало
Нас окружает, мыслительных сил остроту притупляя, —
Быстро они в коловрате времен твою душу покинут,
Жаждой горя по природы своей дорожному истоку:
Ибо *присуца всему и сознанья и мышленья доля*.

№ 111

Всякое зелье, что зло отвращает и дряхлую старость,
Ведомо станет тебе: ты один моих тайн приобщишься.
Дам тебе силу — ветров укрощать непокорных порывы,
Что дуновеньем своим плодоносные губят посевы,
А благодатных в страну призывать жизнетворную свежесть.
Вёдром по воле твоей прояснится туман непогоды
В пору; и сменишь дождем ты, деревья питающим, тягость
Летнего зноя, на землю спуская эфирную влагу;
Сможешь и мужа почившего тень вызывать из Аида.

¹ Итак, *мышление* — функция «кругосердечной крови» (материализм Эмпедокла). Сердце — орган мышления уже по Гомеру; открытие значения головного мозга принадлежит Алкмеону Кротонскому (ок. 500 г. до Р. Хр.), но не было принято всеми.

² *Им* — моим наставлениям.

Из поэмы «Об очищениях»***№ 112***

Други, что город блюдете у струй золотых Акраганта¹,
Высь окружая кремля, начинаний ревнители добрых,
Чуждые помыслов злых, чужестранцам надежная пристань,
Радуйтесь! Бог я бессмертный для вас, не подверженный тлену,
Шествую всеми везде почитаемый, как подобает,
Зеленую свежих венков, белизною повязок сияя.
Свитой и жен и мужей окруженный, цветущие грады
Я обхожу — поклоняются все, высыпая наружу:
Жажда томит их узнать про пути вожделенные счастья.
Тем прорицанья нужны, а другим, отягченным болезней
Многообразной обузой, сказать исцеления слово
Должен пророк; истомил их тяжелого гнет испытанья.

№ 113

Впрочем, к чему эти речи и что тут великого, если
Выше вознесся я всех обреченных погибели смертных?

№ 114

Други! Хотя ведомо мне, что сопутствует истина слову
Этому, все же тяжел, через зависти жалкой препоны,
Путь для души человека в спасительной *веры* обитель.

№ 115

Судьба согрешившего (между прочим и клятвопреступлением) демона изображается под явным влиянием откровения Гесиода о каре богов, нарушивших данную стигийской водою клятву, см. выше.

Есть Неизбежности веха; ее изначальное слово
Вечных воздвигло богов и нелживую клятвой скрепило.
Если из демонов кто, в долголетия доле живущих,
В путях греха осквернит свои милые члены убийством
Иль, угождая Вражде, поклянется облыжною клятвой —
Три мириады годов отлучен от путей он бессмертных.
Вечно меняя стезю многотрудную жизни, вселяться
В новые должен тела неустанно он смертных созданий.
Сила эфира его низвергает в морскую пучину;

¹ Город *Акрант* (в Сицилии, лат. *Агригент*) у одноименной реки.

Море бросает на облик земли; лучезарному солнцу
Передаёт его та, а оно возвращает эфиру.
Так за стихией стихия его принимает, и всем он
Равно постыл. Сопричислен и я к окаянному сонму,
Изгнанный волей богов бесприютный скиталец вселенной,
Внявший однажды безумной Вражды роковому соблазну.

№ 117

Юношей был я уже на земле и стыдливою девой,
Был и кустом уж, и птицей, и в воду ныряющей рыбой.

№ 118

Как я заплакал тогда, непривычную видя обитель.

№ 119

Вспомнить, какую я честь и какое блаженство оставил,
Чтобы, на землю упав, среди смертного рода возвращаться.

№№ 136–137. Проповедь вегетарианизма на основе учения о переселении душ.

№ 136

Бросьте же кровь проливать злоименную! Разве не видит
Ум отуманенный ваш, что друг друга вы кормитесь плотью?

№ 137

Милого сына отец, изменившего облик, с молитвой —
О неразумный! — подняв, закаляет; теснятся другие
Жертвы, моля палачей, а они, не внимая моленной,
Режут — и в доме затем угощение греховное ставят.
Так же хватает родителя сын и родимую дети,
Чтобы, лишив их души, пожирать дорогое им тело.

№ 146

Последовательное восхождение добрых по тому же учению.

А напоследок в пророков они, иль целителей доле,
Или певцов, иль вождей среди смертного племени ходят
И уж оттуда к богов многочистимых возносятся жизни.



Глава IV.

ЛИРИКА

§ 14. Греция в VII и VI веках до персидских войн

В VIII в. Греция для нас начинает мало-помалу выплывать из тумана доисторичности; при всей неясности ее начальных очертаний мы все-таки различаем прежде всего собственно Грецию на юге Балканского полуострова с островами Архипелага, а затем и длинную, хотя и часто прерываемую колониальную канву по всему северу Средиземноморья и даже на его юге, между Египтом и Карфагеном, причем наше особое внимание привлекают север и восток Архипелага (т. е. греческая Фракия и «Иония» в широком смысле слова) и Сицилия с южноиталийским побережьем. В собственно Греции мы, кроме буйной крупнопомещичьей Фессалии, различаем Среднюю Грецию и Пелопоннес. Там вначале первенствуют две колониальные державы, соседние еврейские города *Халкида* и *Эретрия*; столкнувшись между собою из-за пограничной Лелантской равнины, они мало-помалу втянули в свою распря почти всю восточную Грецию, последствием чего была долгая *Лелантская война* в VIII и VII вв., кончившаяся всеобщим утомлением воюющих и окончательным ослаблением обоих руководящих городов. Взамен их выдвигаются в Средней Греции *Фивы* и *Афины*, собирающие вокруг себя прочие общины своих областей, Беотии и Аттики, первая — в виде вольного союза городов, вторая —

в виде сплоченного централизованного государства. Но о руководящей роли в Греции, хотя бы и Средней, они пока не помышляют.

Одновременно и в Пелопоннесе происходит такой же политический сдвиг. *Аргос*, унаследовавший было гегемоническую власть Атридов, теряет ее по мере того, как его непосредственная область, *Арголида*, распадается на ряд отдельных независимых кантонов, из коих один, *Коринф*, сильный свитой своих колоний, после падения Халкиды и Эретрии становится первым торговым государством в Греции. Политическая же гегемония в Пелопоннесе переходит от Аргоса к *Спарте*, окрепшей благодаря законодательству Ликурга и победоносным войнам с соседней Мессенией, сделавшим ее владычицей самой крупной в Греции объединенной территории и самого могучего войска тяжеловооруженной пехоты. Вот почему, когда аполлоновские *Дельфы* на Парнасе задумали взять в свои руки духовную гегемонию над Элладой, их взор обратился, минуя среднегреческие Фивы и Афины, именно к Спарте — был заключен негласный союз, в силу которого Спарта стала светским мечом Дельфов, и развитие Греции в VII и VI вв. произошло под знаком *спартано-дельфийской гегемонии*. Все эти сотрясения сопровождались, понятно, многочисленными кантональными войнами, большинство которых потонуло во мраке забвения.

Но кроме этих большею частью безрезультатных войн и *внутренние волнения* разрывали на части греческие государства. Замена монархии аристократией, создавшая многовластие на месте единовластия, ухудшила положение крестьянства; об этом свидетельствует уже выпад Гесиода против «царей-дароядцев», т. е. знати. Зародились демократические тенденции. Сначала требования касались установления общих для всех законов; эта законодательная волна, прошедшая с запада (с греческой Италии и Сицилии) на восток, заняла почти весь VII в. и выдвинула среди прочих Дракона и Солона Афинских и Питтака Лесбосского. Затем был поставлен и земельный вопрос, особенно обострившийся в VI в. Нередко демократия, ища себе главы против немногочисленной, но сплоченной аристократии, находила такового среди отщепен-

цев из самой знати; а он, получив власть, уже не выпускал ее из рук и иногда даже обращал в наследственную. Так возникли *тираны* VI в., среди которых особенно прославились Периандр в Коринфе, Писистрат в Афинах, Поликрат на Самосе, Фаларид в сицилийском Акраганте и (уже в V в.) Ферон там же и Иерон в Сиракузах.

Эта двойная борьба в собственно Греции делала ее не способной принести помощь своим колониям в их войнах с туземными племенами; а между тем серьезность и опасность этих войн увеличивалась по мере того, как эти племена, получив от эллинских соседей некоторые задатки культуры, приходили к известному самосознанию; к тому же и пришлые конкуренты, в виде ли кратковременных набегов (подобно киммерийским в Малой Азии VII в.), или постоянного соперничества (подобно карфагенянам в Сицилии), угрожали греческим колониям. Это повело к тому, что колониальный поток, умело руководимый Дельфами в VIII и VII вв., в VI в. уже остановился; уже существующие колонии должны были, с одной стороны, объединиться по своему племенному составу, по возможности вокруг какой-нибудь колонии-руководительницы, а с другой — найти какую-нибудь форму добрососедского общения с теми пограничными туземными государствами. Сравнительно успешно исполнила обе задачи Иония, возглавляемая своим могучим Милетом; ее туземная соседка *Лидия* после нескольких серьезных войн ограничилась ласковой формой верховенства, превращаясь все более и более в полуэллинское государство, особенно в правление своего знаменитого царя, богача-филэллина Креза, усердного почитателя дельфийского Аполлона. Но дело изменилось к худшему, когда «Крез, чрез Галис перейдя, величайшее царство разрушил» (546 г.) и открыл победоносному Киру Персидскому не только свою Лидию, но и прибрежную Ионию. Тогда пало величие Милета и вся греческая кайма под гнетом поставленных Персией тиранов познала горечь подчиненности. Вскоре за тем та же Персия, подчинив себе и Финикию, вступила в естественное общение с ее колонией, карфагенским государством; решено было одновременным напором с востока и запада раздавить сначала колониальную, а затем и собственно

Элладу. Так возникла необходимость *персидских войн*, стоящих на грани между нашей эпохой и следующей.

§ 15. Виды лирики. — Элегия: Каллин, Архилох, Тиртей, Мимнерм, Солон, Ксенофан, Феогнид, Антиммах. — Эпиграмма: Фокилид.

Наша эпоха — это та, которая в истории культуры носит название *эллинской*, потому что в ее жизни участвуют почти равномерно все главные эллинские племена; первенствует в ней не светская держава, а духовная, вышеназванные Дельфы, старающиеся всячески окультурить свою союзницу Спарту, но все же охотно пользующиеся услугами культурных деятелей, особенно поэтов, также и прочей Эллады, поскольку они признавали покровительствуемый ими аристократический режим. Поэзия, как мы видели, была сосредоточена в школах аэдов и рапсодов; но эти школы, возникшие еще в более древнюю эпоху и ставшие средоточиями самостоятельной и преимущественно светской культуры, были скорее противницами, чем последовательницами Дельфов и их культурных стремлений. Поэтому Дельфы, не отказываясь и от приверженцев среди аэдов гомеровской и гесиодовской школ, всё же старались в противовес им поддерживать новые течения в области поэзии, возникшие в VIII в. и развившиеся в VII и VI вв. в счет убывающего творчества эпических певцов.

Эти течения мы объединяем под именем *лирики*, отчасти по почину самой древности; но чаще мы у древних писателей встречаем деление этой лирики на три самостоятельные области — *элегию*, *ямбографию* и *мелику*; а так как это деление более соответствует историческому развитию той отрасли поэзии, о которой здесь идет речь, то и нам следует его держаться. Одну особенность античной терминологии современный читатель должен во избежание недоразумений усвоить сразу: принадлежность данного стихотворения к данной поэтической области определяется не *его содержанием*, а *исключительно его внешней формой*. Конечно, известная связь между формой и

содержанием существует: так, например, полемический задор, составляющий главную особенность ямбографии, мало проявляется в мелике и еще менее в элегии. Но это — обстоятельство второстепенное; критерием принадлежности остается не содержание, а стихотворная форма; и это, как читатель увидит, не произвольная условность, а органическая особенность, связанная с самим происхождением отдельных видов поэзии.

На границе между эпосом и собственно лирической поэзией стоит *элегия*. Ныне этим словом обозначается стихотворение мечтательно-грустного характера; знаток римской поэзии и ее подражателей — например, Гете в его «Римских элегиях» — представляет себе под ним нечто страстно эротическое. В древнегреческой элегии мы имеем и это и еще многое другое: объединяющей особенностью будет лишь элегический размер, точнее — *элегическое двустушиие*, состоящее из знакомого нам уже гексаметра и еще так называемого пентаметра:

Странник, во Спарту пришедши, о нас возвести ты народу,
Что, исполняя закон, здесь мы костями полегли.

Пентаметр лишь слегка уклоняется от гексаметра: первая половина та же, до цезуры (обязательно мужской), но затем, вместо второй половины гексаметра с ее восходящим ритмом и женским окончанием, мы имеем повторение первой, нисходящий ритм и мужское окончание. Этим в элегию вносятся две характеризующие ее особенности: во-первых, *аномалия* (как ее называют древние), т. е. неравномерность, обуславливающая ее более страстный характер; как хорошо идут обе паузы пентаметра к содержанию приведенного двустушия, надгробия в честь героев Фермопил! — ведь и в современной музыке смерть ритмически выражается паузами в напеве. А вторая особенность — обуславливаемая правильностью чередования обоих стихов *строфичность* в противоположность к непрерывному течению гексаметров в эпосе. Следует, впрочем, заметить, что в элегии нашей эпохи лирический характер этой строфичности ослабляется свободой перехода мысли из одного дистиха в другой; строгую строфичность с препинанием после пентаметра мы имеем лишь в элегии вселенской эпохи и особенно в римской.

Родство элегии с эпосом сказывается и в том, что, подобно ему, и она из трех элементов хорей удержала только два, слово и музыку, и, как эпос в переходе от аэдов к рапсодам, иногда даже жертвует напевом, превращаясь в простую декламацию. Вероятно потому, что и ее носители были первоначально те же аэды, отделившиеся от гомеровидов.

Во всяком случае родина элегии — та же Иония; здесь, а именно в Эфесе, жил и творил первый элегический поэт, о котором сохранилась память, — *Каллин* (начало VII в.). Единственный сохранный нам от него крупный отрывок заставляет нас видеть в нем представителя *воинственного типа* элегии: в нем он вдохновляет своих сограждан к храброму сопротивлению диким киммерийцам, опустошавшим вслед за Лидией уже и Ионию. Очень вероятно, однако, что только отсутствие других отрывков не позволяет нам приписать ему также и другие типы элегической поэзии.

С его младшим современником *Архилохом* Паросским мы уже переходим в островную Грецию; его главная сила в ямбографии, здесь же он нас интересует только как элегический поэт. Как таковой он представляется нам творцом траурной элегии в своей поэме в честь жертв одного кораблекрушения; но помимо того он, примыкая к Каллину, увековечил в своих элегиях и много моментов своей военной жизни — именно *своей*: в этом разница между этим первым индивидуалистом в греческой поэзии и чисто объективным Каллином.

Вполне воспроизвел природу Каллиновой поэзии первый элегический поэт материковой Греции афинянин *Тиртей* (середина VII в.), рачением дельфийского оракула перешедший из Афин в Спарту и перенесший в это дорическое государство цвет ионического песнопения. Вызван он был туда злоключениями Второй Мессенской войны, едва не приведшей к потере Спартой Мессении. Он прежде всего, как настоящий певец в стане воинов, во вдохновенных стихах воодушевляет своих новых сограждан к стойкости в тяжелой войне, описывая им завидную долю и славу доблестного бойца и, в противоположность ей, жалкую участь труса, потерявшего своей трусостью право на свое отечество; но так как бедствия войны повели

также и к ослаблению Ликурговой дисциплины, то он в другой части своих элегий возвеличивает также и ее и дает первую — и притом стихотворную — запись не записанного до тех пор спартанского законодательства.

Если имя Тиртея стало для нас как бы нарицательным в смысле певца-воина, то с именем следующего по времени элегического поэта, *Мимнерма* Колофонского (середина VII в.), мы связываем противоположное представление. Это, быть может, не совсем справедливо: сохранившиеся скудные отрывки показывают, что он умел настраивать свою лиру и на воинственный лад. Но в памяти потомков он, нежный любовник лидийской флейтистки Нанно, остался как творец *эротической* элегии. Все же воспеваемая им любовь очень грустного характера; по-видимому, он уже поздно почувствовал ее силу — и вместе с ней преимущество перед ним своих молодых соперников. Отсюда его тоска по улетающем цвете молодости, его проклятия старости, его желание умереть на шестидесятом году жизни, вызвавшее почтительное наставление ему его младшего современника, самого крупного по таланту из всех элегических поэтов.

Им был опять афинянин — этот раз *Солон* (около 600 г.). Жизнь этого великого человека принадлежит политике; политика же вдохновляла и его поэзию. Сначала политика внешняя: необходимость возвращения Афинам острова Саламина, замыкавшего им выход к морю и принадлежащего тогда соседней Мегаре, заставила его спеть своим согражданам элегию о «желанном Саламине» и этим воодушевить их вступить из-за него в решающий, счастливый бой. А когда, выдвинутый этим успехом, он стал (в 594 г.) законодателем родного города, призванным окончить миром борьбу за землю, желание обосновать перед согражданами принципы своей умеренной человеколюбивой политики опять сделало его поэтом — этот раз поэтом *политической элегии*, столь же благородной по содержанию, сколь и чарующей по форме. Связь между политикой и этикой была ему ясна: жадность и хищность обеих партий немало содействовала обострению страстей. В противодействие им Солон славит скромную, воздержную, хотя и не безрадостную жизнь — как поэт *нравоучительной* элегии.

Как проводник умеренной политики, он подвергался нападениям со стороны крайних в обоих крылах; пришлось ему защищаться. Но для полемики сравнительно спокойная элегия не была подходящим оружием: пришлось Солону прибегнуть и к *ямбу*, порой гневному и резкому, но всегда полному достоинства и благородства.

Как видно отсюда, элегия с ямбографией были тогдашней формой также и публицистики — разительное доказательство беспомощности прозы, лишенной необходимого для ее процветания писчего материала.

В элегии подвизался также и знакомый нам уже *Ксенофан*: в ней он выражал свое мнение о разных вопросах жизни, которым не было места в его философских поэмах. Но последним классическим представителем эллинской элегии считают *Феогида* Мегарского (VI в.). Аристократ до мозга костей, он много натерпелся от политических сотрясений, которые на его родине были сильнее чем где-либо, и должен был жить изгнанником от чужого стола и в Греции и в Сицилии; свой сборник *нравоучительных* элегий он написал в поучение своему молодому другу Кирну. Нам от него сохранилась целая книга с небольшим, и она для нас очень драгоценна как самый ранний кодекс аристократической морали с ее высоким понятием о чести (*aidos*) и о благодати хорошего рождения, но также и с ее презрением к «худым», т. е. простолюдинам.

В V и IV вв. элегия не прекращала своего существования, но отошла на задний план: уступив свою публицистическую роль народившейся тем временем прозе красноречия, она стала второстепенным родом поэзии, пока около 400 г. *Антимах* Колофонский, отчасти воскрешая традиции своего земляка Мимнерма, не дал ей того содержания, с которым она перешла во вселенскую эпоху, — содержания эротического, но не столько на личной, сколько на мифологической почве. Потеряв свою жену (или возлюбленную) Лиду, он в сборнике, названном по ее имени, утешает себя сопоставлением мифологических рассказов о несчастной любви.

С элегией единством размера связана и *эпиграмма*; но это слово, когда речь идет о нашей эпохе, употребляется в ином

смысле, чем ныне. «Эпиграмма» значит «надпись»; изо всех родов поэзии только она назначена не для слушателя, а для читателя либо как надгробие на могильной плите, либо как свидетельство о посвящении на храмовой доске. Но писчим материалом был камень, металл, дерево, глина; отсюда главное требование к эпиграмме — краткость: один дистих или два, редко больше трех. А из краткости развивается меткость, из меткости — язвительность, становящаяся признаком эпиграммы уже как самостоятельной литературной отрасли, независимо от писчего материала, во вселенскую эпоху. Все же это развитие подготавливается уже в нашу эпоху; поэтом эпиграммы в нашем смысле был современник Феогнида милесиец *Фокилид*, любивший запечатлевать свои эпиграммы своим именем, как в знаменитом образчике:

Так говорил Фокилид: «Негодяи леросцы. Не часть их —
Все. Исключение — Прокл. Да; но леросец и он.

Одна из лучших — следующая, в честь диких обитателей восточной Анатолии, родоначальников нынешних курдов:

Каппадокийца однажды ужалила злая гадюка
И от отравы в крови тут же издохла сама.

ОБРАЗЦЫ

А. ЭЛЕГИЯ

1. Каллин

Обратить внимание на технику стиха, частый переход мысли из пентаметра в гекзаметр следующего двистишия.

Долго ли будете медлить? Когда ж вы воспрянете духом,
Юное племя? Пускай хоть пред соседями стыд
Вялым о долге напомним! Не мир вы вкушаете сладкий:
Пламенем яркой войны земли пылают кругом.

.....

(Здесь пропуск в несколько стихов; следующий ст. 5 дополнен по догадке.)

Если же, воин бесстрашный, падет он, с врагами сражаясь,
Пусть он, прощаясь с душой, дрот напоследок метнет!
Верьте, завидная доля и славная — мужу сражаться
Ради земли и детей, ради любимой жены
В битве с врагами. А смерть — она все же наступит, лишь Мира
Нить допрядет. Не о ней думайте: смело вперед
Шествуйте, копыа подняв, под щитами отважное сердце
Сжавши, как только вождя первый раздастся призыв,
Не суждено ведь избежать губительной смерти удела
Мужу, хотя бы в нем кровь прашура-бога текла.
Пусть он от брани уйдет, от дровов леденящего лязга —
Что ж? И под кровом его смерти настигнет удар.
Только не будет такой ни желанен, ни дорог народу;
А по герою течет слабых и сильных слеза,
Все вспоминают с тоской о бойца веледушного смерти —
С полубогами его в жизни сравнится удел.
Точно на каменный вал, на героя соратники смотрят:
Он ведь единый творит воинов многих дела.

2. Архилох

№ 1

Я же служитель царя Эниалия, мощного бога¹;
Также и сладостный дар Муз хорошо мне знаком.

№ 2

Ср. «Слово о полку Игореве»: «Под трубами повиты, под шеломом
взлелеяны, концом копыа вскормлены».

В остром копые у меня замешен мой хлеб; и в копые же
Из-под Исмара² вино; пью, опершись на копые.

¹ *Эниалий (Enyalios)* — бог войны, родственник Аресу.

² *Исмар* — город во Фракии, недалеко от Фасоса.

№ 4

Живо же чашу бери и шагай по скамьям корабельным!
С кадей долбленых скорей крепкие крышки снимай!
Красное черпай вино до подонков! И нам¹ ведь неместно
Трезвыми стражи такой долго обузу нести.

№ 6

В колониальной войне, в которой главным было сохранение «живой силы», не проявляли такой строгости, как в войне за отечество.

Носит теперь горделиво саиец² мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Душу зато я сберег. И какое мне дело? Да бог с ним!
Лучше гораздо могу новый я щит приобрести.

№ 8

Если, мой друг Эсимид, нареканий нам черни бояться —
Радостей жизни едва ль много изведем мы.

Из элегии к Периклу

Этот Перикл нам ближе неизвестен. Элегия написана по поводу кораблекрушения, в котором погиб среди прочих и муж сестры поэта.

Скорбью стнящей крушась, ни единый из граждан, ни город
Не пожелает, Перикл, в пире улады искать.
Лучших людей поглотила волна многошумного моря,
И от рыданий, от слез наша раздулася грудь.
Но и от зол неизбывных богами нам послано средство:
Стойкость могучая, друг, — вот этот божеский дар.
То одного то другого судьба поражает: сегодня
С нами несчастье, и *мы* стонем в кровавой беде —
Завтра в другого ударит. Отбросьте же женственной скорби

¹ *И нам* — так же как и врагу, на веселый бивак которого они с завистью смотрят.

² *Саийцы* — фракийское племя.

Гнет и как можно скорей перетерпите напасть!
.....
Скроем же в недрах груди роковые дары Посейдона...
.....
Жарко моляся средь волн густокудрого моря седого
О возвращенье домой.....
.....

Если бы друга главу, милые члены его
В риз непорочных убранстве Гефест поглотил необорный...
.....
Плачем ведь я ничего не поправлю — и хуже не будет,
Если вернуся душой к сладким утехам пиров.

№ 14

Главк, лишь дотоле в почете, доколе он бьется, наемник.

№ 15

Все созидает для смертных забота и труд неустанный.

№ 16

Все человеку, Перикл, посылает судьба и случайность.

3. Тиртей

Славная доля — в передних рядах с супостатом сражаясь,
В подвигах бранных грозе смерть за отчизну принять!
Доля ж постыднее всех — в нищете побираться по свету,
Город покинув родной, тучные бросив поля,
Да, побираться с отцом престарелым и матерью милой,
Взяв малолетних детей, взяв и супругу с собой.
Взором неласковым встретит скитальца такого хозяин,
Если, покорный нужде, вступит под кров он его.
Род опозорил он свой, опозорил цветущую юность:
Вслед неотступно за ним срам и бесчестье идут.
Если ж воистину нет снисхожденья бежавшему мужу,
Нет сострадания, нет чести ему и любви —

Биться мы стойко должны за детей и за землю родную,
Грудью удары встречать, в сече души не щадя.
Смело, друзья! Все вместе в отважном бою оставайтесь!
Бегства презрите почин, страх да пребудет вдали!
Духом великим и сильным могучую грудь укрепите:
Жизнелюбивой душе в жарком не место бою.

Тех же, чей стан уж согбен, чьи стали тяжелыми члены —
О молодежь, стариков не покидайте в бою!
Нет безобразнее вида, как если на гибели ниве
Перед телами молодых старец сраженный лежит,
Старец о белых кудрях — борода сединой серебрится —
Неукротимый свой дух он выдыхает в пыли —
Милую руку свою прижимает он к ране кровавой —
Да, безобразен очам, сердцу противен тот вид,
Вид обнаженного старца. Младого же все украшает —
В годы, когда не завял юности цвет золотой;
Был он при жизни пригож для мужей и зазнобою девам —
Как он прекрасен теперь, павши в передних рядах!

4. Мимнерм

№ 1

Радости нет, нет жизни вдали от златой Афродиты:
О умереть бы, пока жар еще пышет в груди —
Тайной улада любви и даров беззаветных — и неча
Ложа, и юности всех столь мимолетных цветов!
Да, она быстро проходит — и вслед надвигается старость,
Что безобразья клеймом самых прекрасных клеймит.
Вечно заботы томят отягченного старостью мужа;
Даже сияние дня видит без радости он.
Юношам он ненавистен, в девичьих презрен хороводах —
Стольких источником зол старость поставил нам бог!

№ 2

Мы ж, точно листьев краса, что рождает весны многоцветной
Время, когда над землей солнца теплее лучи —

Да, точно листьев краса, наслаждаемся юности цветом
 Недолговечным: от нас скрыли и зла и добра
 Знание боги. Но вот приближаются черные Керы¹:
 Старости держит одна жребий угрюмый в руке,
 Смерти — другая. И вмиг навсегда улетает счастливой
 Юности дар: его век лишь от зари до зари.
 Если ж ушли от тебя благодатные годы расцвета —
 Лучше мгновенная смерть дней остальных череды.
 Зло нас терзает за злом. Заедает забота о доме
Этого: перед душой призрак стоит нищеты;
Этот детей не дождется — и, видно с тоскою щемящей
 Неутоленной мечты в мрак преисподней сойдет;
Этому жало болезни изранило душу; не знаю
 Мужа такого, кому б горестей Зевс не судил.

№ 6

Ср. ниже ответ Солона («К Мимнерму»).

О если б мог, не изведав тоски и тяжелой заботы,
 Лет я шестидесяти смерти предела достичь!

5. Солон

Из элегии «Саламин»

Всего в элегии было 100 стихов; нам сохранены начало, кусок из середины и конец.

Вестником сам прихожу я с желанных берегов Саламина,
 Граждане; вместо речей — песни усладу несу.

 Нет, променяю я лучше отчизну; пусть домом мне будет
 Остров пустой Фолегандр или ничтожный Сикин².
 Ныне, куда б ни пошел я, насмешки людей меня встретят:
 Он из афинян — из тех, что с Саламина ушли.

¹ Керы — злые духи.

² Фолегандр и Сикин — два маленьких островка из группы Спорадов.

Други! Идем в Саламин и сразимся за остров желанный!
Время пришло: долой гнет нестерпимый стыда!

Из элегии «К афинянам»

Вижу я, други, — и жгучая боль пронизает мне душу —
Вижу, как гибнет наш град, пращур Ионии всей...¹

.....
Наш же не сгинет народ никогда по немилости Зевса
Или от гнева других в сонме бессмертных богов:
Великодушная наша заступница, дева Афина,
Зевса державного дочь, руки простерла над ним.
Нет: ему гибель грозит от безумия собственных граждан:
Знать ненасытная! Ты счастье страны предаешь.
Правды не знает душа внеародных вождей²: суждено им
Спеси великой грехи тяжкой бедой искупить.
Ведь не умеют они унимать пресыщенье³ и мирно
Радости жизни вкушать в праздников вечных красе.

.....
И богатеют они, кривду за кривдой творя.

.....
Ни достоянью богов, ни всенародной казне
Нету пощады от них, расхищает, кто может, что может,
В пренебрежение у всех Правды священный престол⁴.
Но хоть безмолвна она, ей и прошлый, и нынешний ведом
Грех, и виновников ждет грозный возмездия час.
Час этот будет *народу* всему неизбежною раной,
Я уже вижу за ним жалкого рабства ярмо;
Рабство ж зовет к мятежу и войну пробуждает от дремы:
Грянет война — и погиб юности цвет золотой.
Ведь изнуряет опека врага дорогую отчизну;
Сходы кипят — а они выгоду худшим дают.
Жребий народа таков; *бедноте* же сугубое горе:
Многих насильника власть с краем родным разлучит
И на чужбину продаст, заковав в недостойные цепи,

¹ Афины считали себя метрополией Ионии.

² *Вождей*: это и есть знать.

³ *Пресыщенье* (*Koros*) технически, как и «спесь».

⁴ Родственные мысли у Гесиода, см. выше.

Чтобы познали они горькой неволи судьбу.
 Так-то *народное* зло навещает и *частные* дома:
 Тщетно врата затворять — их не уважит оно,
 Стену высокую вмиг перескочит и жертву настигнет,
 Хоть бы скрывалась она в терема мирной тиши.
 Вот что душа мне велит государству афинян поведать:
 Пусть они знают, каких зол в беззаконье родник.
 Благозаконье ж везде красоту создает и порядок:
 Несправедливых — уздой волю смиряет оно,
 Резкость стирает, казнит *пресыщенье*, *спесь* укрощает
 И иссушает греха пышно взошедший посев;
 Суд исправляет кривой, не дает разрастись начинаньям
 Высокомерия, смут предотвращает чуму,
 Злобы губительный яд вышибает из рук человека,
 Правды и разума путь всем указывает оно.

О выделенных курсивом терминах см. ниже № 8, об этой аполлоновской генеалогии греха. От богатства (*olbos*) и порочности (*kakia*) происходит сын — пресыщенье (*koros*, игра слов: *koros* означает тоже сын), от пресыщенья — спесь (*hybris*), от спеси — грех (*ate*). Собственно, эти термины только приблизительно переводимы.

№ 5

Столько народу вручил я влияния, сколько довлекло:
 Не умалил его прав — спеси его не взрастил.
 Тех же, что знатности блеском и силой богатства кичились,
 Меру заставил я знать и отучил от обид.
 Стал между ними, щитом охраняя обоих могучим,
 Стал — и ни этим ни тем кривдой не дал побеждать.

№ 7

В деле великом не мни всех похвалу заслужить.

№ 8

От *пресыщенья* рождается *спесь*, коль с *порочностью* мужа
 Вступит *богатство* в союз; спеси ж исчадие — *грех*.

№ 18

Старюсь я, старюсь — и все ж новому вечно учусь.

К Мимнерму

Нет, хоть теперь убедись, исключи это слово из песни
 И не гневись, что тебя лучше я выразил мысль,
 Лигиастад! Пожелай, изменив свою злую молитву,
 Лет ты *восьмидесяти* смерти предела достичь.

.....
 Также без слез да не будет кончина моя: умирая,
 Стоны друзьям и тоску я бы оставить желал.

№ 23

Счастлив, даны кому: дети прекрасные — кони лихие —
 Своры охотничьих псов — гость из далекой страны.

6. Ксенофан**№ 1**

№ 1 перевел Пушкин (1833, «Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают...»), но, к сожалению, сплошными гекзаметрами и лишь с приблизительною точностью, особенно в конце.

Обратить внимание на беспорядок в описании различных частей симпозиа.

Ныне ведь пол уж очищен, омыты и руки и чаши;
 Отрок приносит венков нежносплетенных убор;
 Отрок другой подает благовонную смирну в фиале;
 Тут же кратира¹ стоит, радостной ласки полна;
 Есть и иное вино — его хватит надолго, надеюсь:
 Запахом дивным цветов манит из кубков оно;
 Чистый привет фимиама воссылает с середины покоя;
 Есть и студеной воды сладкая влага для нас;
 Есть и янтарные хлебы, и пышная гнется трапеза —

¹ *Кратира (Krater)* — большой сосуд для смешивания вина с водой.

Сочного столько на ней меда и сыра лежит;
А посредине алтарь отовсюду цветами украшен;
Песнь раздаётся, весь дом шумом веселья объят.
Спервоначала должны славословить разумные мужи
Бога — в напевах святых, в благоречивых словах.
А возлиявши вина, сотворивши молитву, чтоб силу
Дал нам он правду творить — это ведь лучший удел, —
Пить человеку не грех, лишь бы мог он домой возвратиться
Сам, не слугою ведом, если не очень он стар¹.
А из пирующих тот превосходней, кого на благие
Мысли наводит вино, память и голос крепя
В честь добродетели. Прочь и Титанов от нас, и Гигантов,
Да и Кентавров разгром, бредни давнишних певцов.
Прочь воспевания войн — не приносят душе они пользы:
Славу богов воспевай — мудрости в этом залог.

№ 7

Ныне другую я речь укажу и другую дорогу:
.....
Кто-то щенка обижал. Проходил Пифагор; состраданья,
Молвят, исполнившись, он слово такое сказал:
«Друг мой, не бей его больше. Живет в нем душа дорогого
Мужа; узнал я его, голос услышав щенка».

7. Феогнид

В начале сборника — прославление богов: Аполлона, покровителя
родины поэта, и Муз.

*

Феб, о владыка! Когда многотимая мать Латона
Над коловратным прудом Зевсу тебя родила,
Гибкую пальму обнявши руками — тебя, что бессмертных
Дивной превысил красой, — Делос широкий тогда
Благоуханьем объялся; земля улыбнулась сырая,
Возликовала морей седоголовая хлябь.

¹ Очень замечательное место: *gratia cooperans* блаженного Августина.

*

Зевсовы дщери, Хариты и Музы, что некогда в терем
Кадмов венчальный войдя, дивную подняли песнь¹:
«Вечно прекрасное мило, а что не прекрасно, не мило» —
Песню такую в ту ночь пели бессмертных уста.

*

Ки́рн, кого боги почтили, того и хулящие славят;
Тщетна и зависть тогда, тщетна и милость людей.

*

Все благородных коней мы заводим, ослов и баранов,
Ки́рн, и для случки мы к ним добрых допустим одних²;
Дочь же худую худого — женой не гнушается добрый
Сделать своей, лишь бы горсть злата ему принесла.
Так не дивись же, о друг мой, что граждан мельчает порода!
Плутос³ царит: это он добрых с худыми смешал.

*

Ки́рн мой! У доброго мужа всегда неизменное сердце:
В доле, в бездоле ли он — равно отважен и тверд.
Если же подлему боги богатство даруют и силу,
Подлую низость свою явит в безумии он.

*

С тонким умом и медлитель настиг быstroногого мужа.
Ки́рн мой, в союзницы взяв Правду прямую богов.

*

Не вожделей через меру — середина во всем совершенство;
Ки́рн мой; добудешь ты так доблести⁴ трудной венец.

¹ Свадьбу Кадма и Гармонии в Фивах боги почтили своим посещением.

² Термины «добрый» и «худой» (или «подлый») понимать в сословном смысле.

³ *Плутос* — см. выше.

⁴ *Доблесть* — условный перевод аристократического идеала *arête*; см. «Из жизни идей» I 67 3-го изд. (Алетейя, 1995).

*

В бедах мужайся, мой Кирн, насладившись и лучшими днями,
Если и бедствий в удел Мира послала тебе.
Но как ты долю сменил на бездолие, снова пытайся
Выплыть из зыби невзгод, вышним богам помолясь.
Не выдавай лишь лицом, что несчастье тебя удручает¹:
Мало заступников, верь, ты в малодушие найдешь.

*

Кирн, умирая, сынам не оставишь тыклада иного
*Чести*² ценнее: она — доброго мужа удел.

*

Вовсе на свет не родиться — для смертного лучшая доля
Жгучего солнца лучей слаще не видеть совсем³.
Если ж родился, спеши к вожделенным воротам Аида;
Сладко в могиле лежать, черной укрывшись землей.

*

Путь совершив, Клеарист, по пучине соленого моря,
Ты, злополучный, ко мне, к нищему нищий пришел.
Пуст твой корабль обветшалый: тебя оделю я, о друг мой,
Всем, чем и сам я богат, всем, что послала судьба.
Не пожалею добра своего; занимать же чужого
Ради гостинца тебе — не обессудь, не хочу.
Из своего же добра одарю тебя лучшим; при встрече
Другу скажи о любви и о приеме моем.
Если он спросит тебя, как живу я, — ему ты ответишь:
Как по добру — так в беде; как по беде — хорошо;
Что одного я могу угостить кунака по отцовству⁴,
Но что для многих в моем доме не хватит даров.

¹ Пришлось целым стихом перевести греческое *те еpihaine* — это чудное требование аристократической выдержки.

² *Честь* — греч. *aidos*.

³ Это — «мудрость Силена» (см. Ницше, Рождение трагедии, гл. III).

⁴ *Кунаки* (условный перевод греч. *xenos*) *по отцовству* — сыновья людей, заключивших союз гостеприимства (так сказать, «личных кунаков»).

*

Нет, не поднять головы горделиво — рожденному в рабстве;
Клонится шея раба, согнут затылок его.
Видно, на диких волчцах не расти гиацинту и розе;
Видно, свободным не быть, Кирн, порожденью рабы!

*

В *мнение*¹ для смертных великое зло; совершенство же — *опыт*.
Часто лишь в *мнение* у нас муж неиспытанный добр².

*

Если б богатым я был, как бывало, — в собрании добрых,
О Симонид, не стерпел я б поношений таких.
Ныне ж о *мнение* моем небрегут. И немым и безгласным
Сделала бедность меня, хоть и яснее других
Вижу, куда мы стремимся, спустив белоснежные снасти,
Морем Мелийским³ глухим сквозь непроглядную ночь.
Черпать они не желают, и хлещет сердитое море
Уж через оба борта; как тут от смерти уйти?
Что вы творите, безумцы? Смещен вами доблестный кормчий —
Кормчий, что зорок и мудр, крепкую стражу держал;
Силой добро расхищаете вы; уничтожен порядок;
Дать не хотите в трудах равного всем дележа.
Грузчики ныне царят, и над добрыми подлый владеет —
Как бы, страшусь, кораблю зыби седой не испытать!
В притчу облекши слова, предлагаю я добрым загадку;
Может и подлый ее, если умен он, понять.

*

Мне побывать довелось и в богатой земле сицилийской;
В долах Евбеи я был, славных хмельною лозой;
В Спарте счастливой бывал, тростниковым омытой Евротом;
С лаской и честью везде гостем встречали меня.
Все же ничем усладить я не мог беспокойного сердца.
Все ж не нашел ничего родины милой милей.

¹ *Мнение* — греч. *doxa*, как и у Парменида (см. выше, но в другой антитезе).

² Этот стих допускает и другое толкование.

³ *Море Мелийское* — у Фермопил и Евбеи.

*

Добрых похвалит один, а другой попрекнет и осудит;
Подлого даже молвы не удостоит никто.

*

Подлинно суетны те и безумны, что плачут о мертвых,
А не о том, что поблек младости цвет золотой.

Б. ЭПИГРАММА

1. Архилох

Многих приманку ворон, на скале я смоковницу знаю:
Многих хозяйка гостей свет-Пасифила¹ у нас.

2. Посвятительная после Платейской победы (479 г.)

У Фукидида. Она стояла первоначально на базисе посвященного в Дельфы треножника (ныне в Константинополе), но была уничтожена спартанцами как слишком горделивая.

Полчища мидян разбив, полководец Эллады Павсаний
В Феба прославленный храм этот трофей посвятил.

3. Надгробие гадателя Мегистия, павшего в Фермопилах

По свидетельству Геродота, была сочинена Симонидом Младшим (о нем см. ниже § 18).

Славную видишь могилу Мегистия ты; под ударом
Рати мидийской у вод светлых Сперхея он пал.
Ведомо было пророку, что Кера его поджидает,
Но не решился вождя в смерти покинуть боец.

¹ *Пасифила* — гетера, оставившая хорошую память по себе своей добротой.

4. Надгробие Архедика

У Фукидида. *Гиппий* — тиран афинский, а затем (после 510 г.) сийгейский (в Малой Азии), выдал ее за *Аянтида*, наследственного тирана лампсакского.

Гиппия дочь Архедика под перстью покоится этой —
Мужа, которого блеск сверстников всех затмевал.
В доле тиранов отца, и супруга имея, и братьев,
И сыновей — соблюла в скромности дух свой она.

5. Надгробие афинян, павших при осаде Потидеи (427 г.)

Потидея, коринфская колония во Фракии, была осаждена афинянами в первые годы Пелопоннесской войны. *Души принял эфир*, т. е. небо — новое в нашу эпоху представление, перешедшее позднее в платонизм и христианство.

Души их принял эфир, а тела мы покрыли землею;
Близ Потидеи ворот смерть укротила их пыл.
Но и врагов осенила могильная персть — кроме трусов,
Что на твердыни оплот поле сменили боев.

6. Платон

Первые две — образцы эпиграмм-мадригалов, последние две — скорее всего надписи под портретными изваяниями.

*В честь Агафона*¹

На Агафона устах удержал поцелуем я душу:
Бедная, с них улететь уж собиралась она.

*В честь ученика Астера*²

Взором ты звезды следишь, о Звезда моя! Быть бы мне небом,
Чтоб мириадами звезд мог я смотреть на тебя.

¹ *Агафон* — трагический поэт, хозяин Платонова «Пира».

² *Aster* значит звезда.

В честь Диона Сиракузского

Слезы Гекубе судили и женам другим Илиона
Миры, лишь только дневной свет увидали они.
Счастье сияло тебе, и победой сменялась победа,
Друг мой, — но зданье надежд демон разрушил дотла.
В граде великом лежишь ты, родном, окруженный почетом,
О окрыливший мою душу любовью Дион!

В честь Сафо

Девять нас Муз признавать научило преданье — напрасно.
Образ десятой стоит здесь предо мною — Сафо.

В честь Аристофана

Храм пожелали найти, не подверженный тлену, Хариты —
И обрели его здесь, в Аристофана груди.

7. Надгробие Софокла

Эпиграмма сохранена под именем Симмия Фиванского, ученика Сократа. Плющ, винная лоза и роза подобают Софоклу как слуге Диониса. Настроение и стиль предваряют вселенскую эпоху (антологический жанр).

Тихо Софокла могилу, о тихо, плющовая ветка,
Мягкой волною залей темно-зеленой листвы.
Алые роз огоньки, неусыпно горите, янтарных
Гроздей подруга лоза, нежные кудри рассыпь!
Вашей достойна любви его кроткая мудрость, ее же
Музу ему голос открыл и благовещих Харит.

§ 16. Ямбография: Архилох, Симонид Старший, Солон, Анакреонт, Гиппонакт. — Басня: Эзоп.

Переходя к *ямбографии*, мы в то же время переходим к новому центру поэзии — к таинственному культу Деметры. Он скрывал в себе один из источников также и трагедии, но об этом речь впереди; здесь же мы имеем в виду те шутки и кол-

кости, которыми в минуты отдыха обменивались участники торжественного шествия. В Аттике это происходило на мосту (*gephyra*) через Кефис, почему эти шутки и назывались «*гефиризмами*»; импровизаторы «метали» (греч. *iaptó*) друг в друга свои остроты, не щадя имен отсюда их общее имя *iambos*, означающее первоначально именно шутку как таковую и затем лишь перешедшее и на излюбленный размер, которым — как показывают подражания гефиризмам у Аристофана — был именно ямб в нашем смысле слова. Это было естественно: ямб ближе к разговорной речи, чем дактиль; сверх того его быстрота и резкость, обусловленные темповым преобладанием ударного слога над неударным, делают его более пригодным для шутливых и задорных стишков. Ямб чаще всего встречается в виде *ямбического триметра* (по-нашему — шестистопного стиха) с обязательно женской цезурой посередине:

Я расскажу вам басню, милый Керикид —

вследствие чего и он, подобно гекзаметру, распадается на две неравные части при правильном чередовании восходящего и нисходящего ритма; другие особенности, придающие разнообразие этому стиху, будучи обусловлены количественным характером греческой метрики, не могут быть выражены в переводе.

Вторым размером ямбографии был *хорей*, употребляемый в виде хореического тетраметра (по-нашему: усеченного восьмистопного стиха) тоже с женской цезурой посередине:

Не мечтай, глупец, о мягком: будет жёсток твой удел.

Его характер совершенно иной: повсеместный нисходящий ритм и правильное распределение на две равные половины по две четверти делают этот стих особенно пригодным для пляски, которая и дала имя его размеру.

О третьем, более сложном роде ямбографии будет речь тотчас, по поводу его первого и крупнейшего поэта.

Таковым был по всеобщему признанию вышеназванный *Архилох Паросский*, сын знатного гражданина, но от матери-

рабыни. Этот изъязн происхождения обусловил его беспокойную жизнь. Как это часто делали незаконные сыновья, он отправился в колонию, а именно на северный остров Архипелага Фасос, куда его дед с женой перенес некогда мистический культ Деметры. Фасос манил людей близостью фракийского побережья с его золотыми россыпями; кроме Пароса и его сосед Наксос имел там свою колонию «старателей», жизнь которых была и в древности столь же необузданной, как и ныне. Она и дала содержание поэзии Архилоха — и сверх того еще одно личное злоключение, а именно неудачное сватовство к дочери знатного паросца Ликамба. Озлобленность определила преобладающий характер его творчества; близость к культу Деметры, вызванная его происхождением от ее жрецов, дала ему в руки подходящее орудие — ямб. Но он не удовлетворялся его обеими простейшими формами: подражая элегии, в которой он и сам, как мы видели, с успехом подвизался, он и в ямбографию ввел строфичность, сплетая по два стиха ямбического или дактилического размера в дистих:

Я расскажу вам басню, милый Керикид;
Грустная будет то песнь.

Так был создан так называемый *эпод* (*epódos*, дополняя *stichos*, припеваемый стих), известный нам главным образом по подражаниям Горация.

Величие Архилоха состояло в глубоко личном характере его поэзии, в его умении запечатлеть в ней всякие внешние явления его буйной жизни, всякое внутреннее содрогание его страстного сердца; даже в жалких отрывках, которые нам от него сохранились, мы чувствуем безудержное клокотание этой страсти.

Характер личной сатиры остался и за ямбографией его последователей; все же у ближайшего из них, *Симонида Старшего* (или Аморгинского, т. е. с острова Аморгоса) — она отступает на задний план перед сатирой общей. Ее образчиком нам сохранилось довольно забавное стихотворение о женщинах, в котором он объясняет различные их характеры их происхождением от различных стихий или животных, кончая свой

язвительный перечень прославлением лучшей женщины, домовитой хозяйки, происшедшей от пчелы.

Третьего представителя ямбографии, *Солона*, мы уже знаем, с четвертым — *Анакреонтом* — познакомимся среди великов.

Здесь как чистый ямбограф должен быть упомянут еще только пятый, *Гиппонакт Эфесский* (VI в.), в котором воскресла личная сатира Архилоха, но воскресла в гораздо более грубом и низменном виде. Архилох при всей своей злобе был трагической натурой; он старается сочетать желчность своей ямбографии с перенятым из элегии благородством «языка богов». Гиппонакт, напротив, и сам босяк и поэт босяков; он с наслаждением купается в окружающей его грязи и не задумывается приснашивать свой язык варварскими словами лидийского простонародья, среди которого он жил. Эта особенность сделала его интересным для филологов вселенской эпохи, которые нам поэтому сохранили довольно большое число его, правда, разрозненных стихов. Другим предметом их интереса было одно его метрическое нововведение: он пользовался ямбическим триметром Архилоха, но, удлинив предпоследний слог, превратил его этим в *холиямб* (т. е. хромой ямб). По-русски передать это удлинение нельзя, но о комическом характере такого перебора может дать представление сатира А. Толстого: «У приказных ворот собирался народ — густо» и т. д.

С ямбографией удобнее всего соединить обзор одной отрасли прозаической литературы, которая ей непосредственно близка по своей сатирической тенденции, — *басни*: мы видели, что уже Архилох в своих эподах перелагал таковые в стихи, а когда появился на греческом Парнасе поэт басни — Бабрий — он избрал размером холиямб Гиппонакта. Но это случилось лишь во вселенскую эпоху; в нашу — басня оставалась в ведении краснобаев, тешивших свою публику зимой за огнем в циркулянях и банях. Среди них выдвинулся именно теперь классик прозаической басни *Эзоп*, личность историческая, но скрытая от нас густой зарослью легенд. Его называют фригийцем — но это не должно быть истолковано в смысле восточного происхождения греческой басни: словесное достояние

народа, естественно, кристаллизуется на его окраинах, и если «Эзоповы» басни возникли на востоке, то мы встречаем «сибаритские» — на западе, «ливийские» — на юге греческого мира. Их характер был различен: в Эзоповых — выступали животные, в сибаритских — люди, в ливийских — фантастические существа: так, среди басен Крылова «Квартет» относится к первому, «Демьянова уха» — ко второму, «Дровосек и Смерть» — к третьему типу.

Всё же самыми знаменитыми были Эзоповы басни, вследствие своего нравоучительного характера, они стали в Афинах школьной книгой, наравне с нравоучительными стихами Гесиода, Солона и Феогнида. Это место они, изменяясь в своих записях, сохранили до позднейших времен. Сохраненные нам сборники «Эзоповых басен» возникли в византийские времена; сухие и бесцветные, они ничем не пленяют кроме своего содержания. Но и этого было достаточно, чтобы оплодотворить новоевропейскую поэзию, побуждая и к претворению и к подражанию; и наша басня — Лафонтена, Крылова — стала одним из самых удачных опытов возрождения античной словесности в новой.

ОБРАЗЦЫ

В. ЯМБОГРАФИЯ

1. Архилох

№ 25

Говорит какой-то «плотник Харон». *Гигес*, свергший Кандавла, — царь мидийский (698–63 или 689–53), — важная вежа для определения времени жизни Архилоха.

О многозлатном Гигесе не думаю
И зависти не знаю. На деяния
Богов не негодую. Царств не нужно мне:
Все это очень далеко от глаз моих.

№№ 29–30

Про Необулу — невесту поэта.

Своей прекрасной розе с веткой миртовой
Она так радовалась. Тенью волосы
На плечи ниспадали ей и на спину.
.....Старик влюбился бы
В ту грудь, в те миром пахнущие волосы.

№ 50

К вам, измученным нуждою, речь, о граждане, моя.

№ 52

Словно скорби всей Эллады в нашем Фазосе сошлись.

№ 66

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой:
Ободришь и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады — твердо стой, не трепещи!
Победишь — своей победы напоказ не выставляй;
Победят — не огорчайся, запершись в дому, не плачь!
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй;
Смену волн познай, что в жизни человеческой царит.

№ 74

Про солнечное затмение (скорее всего 648 г.). Помимо своего значения как второй вехи для определения жизни поэта, отрывок интересен и как свидетельство о действии солнечных затмений на неподготовленные души.

Можно ждать, чего угодно, можно веровать всему,
Ничему нельзя дивиться, раз уж Зевс, отец богов,
В полдень ночь послал на землю, заградивши свет лучей
У сияющего солнца. Жалкий страх на всех напал.
Всё должны отныне люди вероятным признавать,
Всё возможным. Удивляться нам не нужно и тогда,
Если даже зверь с дельфином поменяются жильем
И милее суши станет моря звучная волна
Зверю, жившему доселе на верхах скалистых гор.

№ 64

Непристойно насмехаться над умершими людьми.

№ 65

В этом мастер я большой,
Злом отплачивать ужасным тем, кто зло мне причинит.

Новый отрывок

Начиная с этого отрывка дальше идут эподы; наш — соединение шестистопного ямба (триметра) с трехстопным дактилем. Содержит проклинаящее напутствие изменнику-другу. Интересен как оригинал к X эподу Горация.

.....
Бурной носимый волной
Пускай близ Салмидесса¹ ночью темною
Взяли б фракийцы его
Чубатые — у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя.
Пусть взяли бы его, заочневшего,
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, лязгал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал —
Он, мой товарищ былой!

№ 84

Соединение гексаметра с четырехстопным ямбом.

.....
От страсти обезжизневший,
Жалкий, лежал я, и волей богов несказанные муки
Насквозь пронзают кости мне.

¹ Салмидесс — гавань во Фракии, «мачеха кораблям».

№ 88

Триметр и четырехстопный ямб.

О Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь,
Свидетель ты всех дел людских,
И злых и правых. Для тебя не все равно,
По правде ль зверь живет, иль нет.

№ 94

Что в голову забрал ты, батюшка Ликамб?¹
Кто разума лишил тебя?
Умен ты был когда-то. Нынче ж в городе
Ты служишь всем посмешищем.

2. Симонид Старший

Интересно отметить и тут невыдержанность систематизации и случайный характер приводимых примет. Произошли: от свиньи — неряха, от лисы — проныра, от собаки — пустомеля, от земли — рохля, от моря — капризница, от осла — упрямая и обжора (неорганическое соединение), от ласки — противная и воровка (то же), от лошади — кокетка, от обезьяны — дурнушка и злюка (то же), от пчелы — хорошая.

Из поэмы «О женщинах»

Раздельно создал нравы женские Зевес
Сначала. *Эту* от щетинистой свиньи
Он произвел. В покоях вещи у нее
Все в беспорядке и грязи валяются:
Сама в одежде гадкой, неумытая
Сидит и в смраде жиром обрастает вся.

.....

Ту из земли слепили небожители
И истуканом мужу отдали. Ни зла
Не ведает такая, ни добра: в одной
Она работе всех усерднее — в еде.

¹ *Ликамб* — отец Небулы (см. выше №№ 29–30).

Но пусть мороз трескучий ниспошлет Зевес —
Ей лень придвинуть кресло ближе к очагу.

.....

От лошади родилась длинногривой та.
Не по сердцу работа дома и страда
Красотке нашей: мельницы не трогает,
Не любит сита, сора не выносит вон;
К плите не сядет — сажает, мол, противна ей.
Об этом муж любимый пусть заботится;
Она же по два, по три раза в день лицо
Водой умоет, миром тело намастит;
Всегда прическа безупречная у ней,
В тени цветов красиво локоны лежат.
Жена такая — зрелище приятное
Другим, но мужу — наказание сущее,
Коль он не царь могучий, не богач прямой,
Чтоб дорогой игрушкой баловать себя.

.....

Одна осталась: от пчелы произошла
Она, и счастлив, кто ее возьмет женой.
Хулы окраска к ней одной не пристаёт;
Растет и расцветает дома жизнь при ней;
Супругой милой милого супруга лет
Она преклонных достигает, цвет детей
Родив пригожих и прославленных везде.
О ней молва среди женщин лучшая идет,
И окружает прелесть дивная ее.
Но неохотно в сверстниц вступит круг она,
Когда нескромных тешит их бесед соблазн.

Жену такую — добрую, разумную —
Особой мужу милостью дарует Зевс;
А остальные все колена — гнев его
На горе смертным и обиду ниспослал².

¹ Стих в подлиннике испорчен, перевод дан по догадке.

² Стих в подлиннике испорчен, перевод дан по догадке.

3. Солон

№ 36

Народ созвал я, слова дав ему залог;
Скажите ж, в чем нарушил это слово я?
Свидетельницей будет пред судом времен
Из всех богинь Олимпа величайшая,
Святая наша мать, черная Земля:
Расставленных повсюду крепостных камней
С нее я снял обузу, возвратил рабе
Свободу. Многих я сынов ее вернул
В Афины, в их отчизну богозданную,
Что на чужбину были проданы — одни
Законно, а другие — силою господ.
Вернул и тех, что в страхе бросились бежать
И уж забыли речи звук аттической
В скитаньях долгих; тех же, что внутри страны
Влачили иго рабства недостойного,
Господ надменных прихоти покорствуя,
Свободой снова одарил я. Вот чего
Достиг я, силу с правдой сочетаю, и все,
Что обещал, свершил я. Я сравнил затем
Перед лицом закона добрых и худых,
Тех и других заветам Правды подчинив.
А если бы другой кто захватил рожон,
Муж хитрый, алчный, в средствах неразборчивый,
Он черни не сдержал бы, замутил бы град —
И незаметно с гущи снял бы жира слой.

№ 33

Солон дает слово одному из своих недальновидных друзей, обвинявших его в том, что он не воспользовался случаем стать тираном.

«Нет в Солоне мысли мудрой, нет отваги стойкой в нем:
В дверь к нему стучалось счастье — и не принял он его.
В неводе улов имея, не решился он на брег
Вытянуть его; умом, знать, он и сердцем ослабел.

Боги! Мне б добиться власти, мне бы полнотой богатств
Насладиться и в Афинах день процарствовать один —
На другой дерите шкуру, с родом истребите всем!»

4. Гиппонакт

Холиямбы по-русски не выходят; приведенные пробы должны только дать представление о размере подлинника.

№ 20

Моей же Плутос — видно, точно крот, слеп он —
Не навестил лачуги, не сказал: «Друг мой
Любезный, вот те мин серебряных тридцать
И прочих благ; уж больно ты душой робок».

№ 29

Два дня приятней прочих в женщины жизни:
День свадьбы, а затем — день выноса тела.

№ 43

Душе многострадальной будет жить туго,
Коль не пришлешь обратно ячменя меру,
Чтоб мог похлебку я состряпать мучную
И есть ее как средство от невзгод жизни.

№ 49

Мимнот, о бестолковый, как ты мог змея¹
Изобразить ползущим по борту судна,
Хвостом к форштевню, к рулевому же — пастью?
Такой приметы и не выдумать хуже,
Как если змей укусит бедного в ногу.

¹ *Змей* — символ гибели.

Басни Эзопа

Басни подобраны по тому же принципу, как и пословицы (см. гл. I).

33. Лисица и виноград

Голодная Лиса увидела грозди, свешивающиеся с лозы, захотела добраться до них и не могла. Тогда она сказала, отвернувшись: «Зелен виноград».

128. Олень и Лев

Олень, томясь от жажды, подошел к ручью. Увидев тень свою в воде, рогам-то он порадовался, любуясь их величиной и красотой, а на ноги сильно вознегодовал, тонкие и слабые. Пока он размышлял об этом, появился Лев и бросился на него; но олень, пустившись бежать, сильно его опередил. И вот, пока равнина была гладкой, он был в безопасности; когда же забежал он в рощу, рога его зацепились за ветви и его, беспомощного, схватил Лев. Тогда Олень сказал: «Глупец я! От чего ждал гибели, то спасло меня, а на что сильно надеялся, от того погибаю».

154. Зевс и Черепаха

Зевс, справляя свадьбу, позвал всех животных в гости. Одна Черепаха запоздала. Чтобы узнать причину, Зевс спросил ее на другой день: «Отчего ты одна не пришла на пир?» Когда же она сказала: «Свой дом — лучший дом», он, разгневавшись, приказал ей, подняв дом свой, носить его на себе.

240. Лиса и Львица

Львица, укоряемая Лисой, что во всю жизнь родит она только одного, сказала: «Одного, но Льва».

249. Лев и Земледелец

Лев, полюбив девушку, сговаривался с отцом ее о свадьбе. Отец сказал, что выдать-то за него дочь он согласен, но боится когтей его и зубов, чтобы, женившись и вспылив из-за

чего-либо, не обошелся он с девушкой по-зверски. Когда же вырвал Лев и зубы и когти, отец, увидев, что он лишился всего, чем был страшен, легко его убил.

253. Лев и Вепрь

В летнюю пору, когда зной терзает жаждой, к маленькому ручью подошли Лев и Вепрь. И заспорили, кому пить первым. И пожелали убить друг друга. Вдруг, обернувшись, чтобы передохнуть, они увидели коршунов, готовых пожрать того, кто из них падет. Тогда, прекратив распрю, они сказали: «Лучше нам быть друзьями, чем стать добычей коршунов и воронов».

245. Жук и Муравей

В летнюю пору Муравей, ползая по полям, собирал зерна и колосья, накапливая себе корм на зиму. А Жук, увидев его, подивился его трудолюбию и тому, что он работает в ту пору, когда остальные твари, избавившись от трудов, живут беззаботно. Тот промолчал тогда. Когда же пришла зима и дожди размыли навоз, голодный жук пришел к нему и попросил еды. А он ему сказал: «О Жук! Если б ты тогда потрудился, когда я работал, а ты смеялся надо мной, не пришлось бы тебе теперь нуждаться в корме».

416. Ласточка и Ворона

По мифу Прокна и Филомела были дочерьми афинского царя Пандиона, который выдал первую из них за фракийского царя Терей. Терей, влюбившись во вторую, совершил над ней насилие, после чего, чтобы она не могла его выдать, отрезал у нее язык. После ряда других ужасов боги превратили всех троих в птиц. Причем Филомелу — в ласточку (см. моего Софокла т. III). Ласточка у греков слыла как бы олицетворением болтливости.

Ласточка говорила Вороне: «Я девушка, и афинянка, и царевна, и царя афинского дочь. И прибавила рассказ и о насилии Терей, и об отрезанном языке. А Ворона сказала: «Что же бы ты делала, имея язык, когда и с отрезанным ты так болтаешь!»

§ 17. Монодическая мелика: Алкей, Сафо, Анакреонт, застольные песни.

В собственно лирике, или *мелике* мы различаем два направления, в зависимости от того, предназначено ли данное мелическое стихотворение к исполнению единоличным певцом или хором; в первом случае мы говорим *о монодической*, во второй — *о хорической мелике*. Обе предполагают известное разнообразие размеров, обусловленное в свою очередь развитием музыки. Старинная четырехструнная форминга гомеридов заменяется аполлоновской семиструнной кифарой; рядом с ней входит в употребление и дионисический авлос (флейта, точнее кларнет). Эта реформа происходит в Ионии под влиянием соприкосновения греческой культуры с азиатской; но, благодаря деятельности дельфийского оракула, музыкальным центром собственно Греции становится Спарта.

Все же *монодическая мелика*, вероятно, зарождается и во всяком случае расцветает на восточной окраине греческого мира, и прежде всего на эолийском острове Лесбосе; в начале VI в. он стал ареной сильных политических волнений, из которых развилась умеренная диктатура благородного Питтака. Поэтическим выразителем этих политических настроений стал величайший представитель монодической мелики *Алкей* в своих «песнях борьбы». Его аристократическая непримиримость сделала его врагом всех тиранов — руководителей народного движения, даже миротворца Питтака, немало пришлось ему изведать бедствий в морских скитаниях и в чужих землях, но под конец Питтак вернул его из изгнания — «прощение сильнее мести». Политическая вражда была главным источником поэтического вдохновения Алкея; но и дух моря веял в его песнях, и кроткие чувства дружбы и любви находили в них свое выражение, и минутное забвение горя за чашей вина. Жалкие отрывки, сохранившиеся от них, только усиливают нашу тоску по этой погибшей красоте. Отчасти дают представление о ней оды его римского поклонника Горация; но не следует забывать, что Гораций был слишком

самостоятельным поэтическим талантом, чтобы стать простым подражателем, что его спокойный уравновешенный характер был прямой противоположностью страстности лесбоского поэта и что в особенности философский уток его лирики был совершенно чужд его образцу. Имя Алкея обессмертила также «алкеева строфа», которой он пользовался охотно, но все же лишь наряду с другими:

Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся — этот отсюда, тот
Оттуда; в их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смолёным.

Младшей современницей и землячкой Алкея была великая стихотворица *Сафо*, великая уже тем одним, что она не стала подражательницей своего старшего товарища по искусству, а ограничила поле своей поэтической деятельности женским чувством и женской долей. Это поле было все же и обширно и благодарно: на Лесбосе развилась и расцвела поощряемая Дельфами кружковая организация, и Сафо, как руководительница одного такого кружка девушек, находила в его жизни обильное содержание для своих песен. Помимо гимнов в честь богов-покровителей, таковым было то страстное «обожание» подруг, которое так естественно развивается в замкнутом кругу, с его восторгами согласного общения и муками ревности. Мужское начало вторгается в эту женскую среду лишь в виде жениха, вырывающего из кружка подругу для новой, семейной жизни; в таких случаях Сафо сочиняет для уходящей полурадостную-полугрустную свадебную песнь (гименей), затем прежняя дружба еще тянется некоторое время, приправленная горьким чувством разлуки, но отклики ушедшей в новую жизнь становятся всё реже и реже и под конец умолкают совсем.

Испытала ли и сама Сафо этот призыв мужчины к любви и браку? Традиция это утверждает, прибавляя далее, что этот призыв стал причиной ее смерти. И очень заманчиво было бы связать с этой трагической любовью ее трогательным гимн

Афродите — единственное цельное стихотворение, которое нам от нее сохранилось; его начало:

О царица нег на узорном троне,
Снизойди ко мне своей крепкой думой:
Страхом и страдой перестань томить мне
Сердце, богиня!

Эту строфу, к слову сказать, древние в честь певичцы называли *сафической*; в своем мягком нисходящем ритме она красиво символизирует ее женственность в противоположность к гневно-восходящему величавой алкеевой строфы.

Одного, впрочем, ни один перевод передать не может — своеобразной прелести местного эолийского диалекта, которым пользовались и Алкей, и Сафо. В отличие от них был ионийцем третий в ряду крупных мелических поэтов, живший во вторую половину VI в. *Анакреонт* Теосский (т. е. из Теоса в Ионии). Спасаясь от персидского гнета, он вначале вместе со своими земляками отправляется в теосскую колонию Абдеру на фракийском побережье; но затем он меняет скромный стол гражданина на пышный и веселый царедворца; мы видим его при блестящем дворе Поликрата Самосского, затем Писистратидов в Афинах, наконец, в Фессалии, где его следы теряются. Его поэтическая деятельность соответствует его биографии, сходство его фракийской жизни с жизнью фассосского колониста Архилоха вначале и его делает певцом гнева, ямбографом; но затем он настраивает свою лиру на более кроткий лад и становится тем певцом вина и любви, которым его и знает потомство вплоть до западноевропейских и наших поэтов XVIII–XIX вв. Эти последние, впрочем, основывали свое мнение о нем не на его оригинальных стихотворениях — от них дошло лишь очень немного в цитатах позднейших авторов, — а на цельном сохранившемся сборнике небольших «анакреонтических» стихотворений, студенческом песеннике из вселенской эпохи. Анакреонтический дух тут, несомненно, есть, но очень одно-сторонний, а разнообразие размеров теосского певца сведено к двум простым и похожим друг на друга формам, ямбическому

полутримеру с женским окончанием и тоже трехударному анапесто-ямбическому стиху:

Тяжело не быть влюбленным,
Тяжело и быть влюбленным,
Тяжелей всего на свете
Испытать в любви обиду.

Четвертой была беотийская певица *Коринна*, о которой лишь новонайденные отрывки дали нам некоторое представление — представление большой, но милой и обезоруживающей критику наивности.

Но, спрашивается, как распространялись среди публики стихотворения названных певцов? Этот вопрос может быть поставлен заодно для всех лириков, с которыми мы имели дело до сих пор, — и для элегиков, и для ямбографов, и для меликов-монодистов. Мы представляем их себе в момент возникновения их песни: Архилоха — среди товарищей ночной стражи, Солона — на афинской площади, Анакреонта — за трапезой Поликрата; но как дальше? Как ушло произведение минуты от забвения? Преимуществом эпопеи была наличность разветвленных школ аздов и рапсодов, которые могли если не удерживать в памяти сотни тысяч гекзаметров, то хоть хранить их у себя по одному экземпляру каждая — по тяжеловесной «книге» из дощечек или звериных шкур. Ничего подобного, никакой преемственности и певческих школ не могло быть для наших лириков. Некоторых, как мы видели, вынесла гражданская школа; другие обязаны своим спасением греческому обычаю пиров с сопровождающими их песнями. Каждый образованный человек должен был уметь спеть таковую, сопровождая ее на лире: элегия, ямб, мелос — все были допущены и желанны. Но понятно, что число спасенных таким образом от забвения не могло быть велико; вот почему уже в эпоху греческой учености, т. е. к началу вселенской — наследие всех сохранных поэтов названных трех категорий составляло всего немного десятков книг: живой контраст к безбрежному морю эпической поэзии. Поэтов было много больше; но лишь от меньшинства сохранились хотя бы имена и от немногих — их творения.

ОБРАЗЦЫ

МОНОДИЧЕСКАЯ МЕЛИКА

1. Алкей

Заговорщикам

Из «Песен борьбы»

Размер: два гликоней и в заключение двойной ямб.

Медью воинской весь блещит,
Весь оружием убран дом —
Аресу в честь.

Тут шеломы, как жар, горят
И колышутся белые
На них хвосты.

Там медяные поножи
На гвоздях поразвешаны;
Кольчуги там.

Вот и панцири из холста;
Вот и полные, круглые,
Лежат щиты.

Есть булаты халкидские¹,
Есть и пояс, и перевязь:
Готово все.

Ничего не забыто здесь —
Не забудем и мы, друзья,
За что взялись.

¹ *Халкида* — город в Евбее.

Буря

Понималась древними как аллегория о «государственном корабле», которому угрожала тирания Мирсила. Связь обоих отрывков не удостоверена.

Пойми, кто может, буйную дурь ветров.
Валы катятся — этот отсюда, тот
 Оттуда; в их мятежной свалке
 Носимся мы с кораблем смолёным,

Едва противясь натиску злобных волн.
Уж захлестнула палубу сплошь вода,
 Уже просвечивает парус,
 Весь продырявлен; ослабили скрепы...

.....
.....

Но злейший недруг, голову выше всех
Гребней подъемля, новый чернеет вал,
 Беду суля и труд великий,
 Прежде чем в гавань спасут нас боги.

К брату Антимениду

Образец малой асклепиадовой строфы.

От пределов земли меч ты принес домой:
Рукоять на мече кости слоновой,
Вся в оправе золотой. Знать, вавилонянам
Воин пришлый служил доблестью эллинской.

Ставкой — жизнь. Чья возьмет? И великана ты
Из царевых убил, единоборствуя,
Что без малого был ростом пяти локтей...

Зима

Из застольной песни

Дождит отец Зевс с неба ненастного,
И ветер дует стужею Севера,

И стынут струйки дождевые,
И замерзают ручьи под вьюгой.

Как быть зимой нам? Слушай: огонь зажги,
Да — не жалея — в кубки глубокие
Лей хмель отрадный, да теплее
По уши в мягкую шерсть укройся...

.....
К чему раздумьем сердце мрачить, друзья?
Предотвратим ли думой грядущее?
Вино — из всех лекарств лекарство
Против унынья; напьемся ж пьяны!

Лето

Из застольной песни

Размер — большая асклепиадова строфа; между обеими половинами
малого асклепиадея вставлен хорямб.

Сохнет, други, гортань:
Дайте вина!
Звездный ярится Пес;

Пекла летнего жар
Тяжек и лют;
Жаждет, горит земля.

Не цикада — певец!
Ей нипочем
Этот палящий зной:

Все звенит и звенит
В чаще ветвей
Стрекотом жестких крыл,

Все гремит, а в лугах
Злою звездой
Никнет сожженный цвет.

Вот пора: помирай;
Бесятся псы,
Женщины бесятся,

Муж — без сил: иссушил
Чресла и мозг
Пламенный Сириус.

На Питтака

Из «Песен борьбы»

Восстановление гадательное. Собственно, сам Питтак производил себя от Пенфила, сына Ореста. Размер — малая асклепиадова строфа.

Пусть же смерд, породнясь
Браком с Атридами,
Жрет отчизну, как встарь
С Мирсилом жрал ее.
Пусть царюет, доколь
Нам не судит Арес
Одоление. В тот день
Распря забудется.
От страды воздохнем,
От сокрушительной
Междоусобной вражды,
Злобно посеянной
Тайным богом; она ж
Весь разорила град.
Лишь Питтаку дала
Славу да почести.

К Сафо

Святая Сафо,
С нежной улыбкой Сафо!
С кудрями цвета
Темной фиалки Сафо!
Слететь готово
С уст осмелевших слово —

Но стыд промолвить
Мне запрещает слово!

2. Сафо

Ответ Алкею

Когда б твой тайный помысл невинен был,
Язык не прятал слова постыдного —
Тогда бы прямо с уст свободных
Речь полилась о святом и правом.

Гимн Афродите

Радужнопрестольная Афродита,
Зевса дочь бессмертная, кознодейка!
Сердца не круши мне тоской-кручиной:
Сжался, богиня!

Ринься с высей горних, как прежде было:
Голос мой ты слышала издамече;
Я звала — ко мне ты сошла, покинув
Отчее небо;

Стала на червонную колесницу;
Словно вихрь несла ее быстрым летом
Крепкокрылая, над землею темной,
Стая голубок.

Так примчалась ты, предстояла взорам,
Улыбалась мне несказанным ликом...
«Сафо! — слышу, — вот я. О чем ты молишь?
Чем ты болеешь?

Что тебя печалит и что безумит?
Все скажи. Любовью ль томится сердце?
Кто ж он, твой обидчик? Кого склоню я
Милой под иго?

Неотлучен станет беглец недавний;
Кто не принял дара, придет с дарами;
Кто не любит ныне — полюбит вскоре —
И безответно...»

О, явись опять — по молитве тайной,
Вызволить из новой напасти сердце.
Встань, вооружась, в ратоборстве нежном
Мне на подмогу.

Любовь

Эту песню ревности по-латыни перевел Катулл (№ 51), но уже от себя; ради нее он свою милую (Клодию) назвал Лезбией, т. е. своей Сафо.

Мнится мне: как боги, блажен и волен,
Кто с тобой сидит, говорит с тобою,
Милой в очи смотрит и слышит близко
Лепет умильный

Нежных уст... Улыбчивых уст дыханье
Ловит он... А я, чуть вдали завижу
Образ твой — я сердца не чую в персях.
Уст не раскрыть мне!

Бедный нем язык, а по жилам тонкий
Знойным холодком пробегает пламень;
Гул в ушах: темнеют, потухли очи;
Ноги не держат...

Вся дрожу, мертвею; увлажнен потом
Бледный лед чела; словно смерть подходит...
Шаг один — и я бездыханным телом
Сникну на землю...

.....
.....

Разлука

Письмо подруге, вышедшей замуж и мало-помалу забывающей прежнюю дружбу. Размер — гликоническая терцина (два гликоня и в заключение стих из хорей и трех полных дактилей).

Мнится, легче разлуки смерть —
Только вспомню те слезы в прощальный час,

Милый лепет и жалобы:
«Сафо, Сафо, несчастны мы!
Сафо, как от тебя оторваться мне?»

Ей в ответ говорила я:
«Радость в сердце домой неси!
С нею — память!» Лелеяла я тебя.

Будешь помнить?.. Припомни все
Невозвратных утех часы —
Как с тобой красотой услаждались мы.

Сядем вместе, бывало, вьем
Из фиалок и роз венки¹,
Вязи вяжем из пестрых первин лугов,

Нежной шеи живой убор,
Ожерелья душистые —
Всю тебя, как Весну, уберу в цветы.

Миром царским волну кудрей,
Грудь облив благовоньями,
С нами ляжешь и ты — вечерять и петь.

И прекрасной своей рукой
Пирный кубок протянешь мне:
Хмель медвяный подруге я в кубок лью...

.....

¹ Незаметно слова тогдашнего прощания переходят в слова нынешнего воспоминания.

Attitude

Письмо Сафо ее ученице Аттиде о любимой подруге той Аригноте, выданной замуж в лидийские, но полуэллинские Сарды и тоскующей по радостям девичьей жизни. Размер — вариант гликонической терцины; в первом стихе гликонею предшествует кретик, третий — известный из Катулла *hendecasyllabus*, т. е. сафический с дактилем во второй стопе вместо третьей.

.....

Издамече, из Сард златых,
 К нам стремится она мысль в тоске желаний.

Что таить?
 В дни, как вместе мы жили, ты
 Ей богиней была одна,
 Песнь твою возлюбила Аригнота.

Ныне там,
 В нежном сонме лидийских жен,
 Как Селена, она взошла,
 Звезд вечерних царицей розоперстой.

В час, когда
 День угас, не одна ль струит
 На соленое море блеск,
 На цветистую степь луна сиянье?

Весь в росе
 Благовонный дымится луг;
 Розы пышно раскрылись; льют
 Сладкий запах анис и медуница.

Ей же нет,
 Бедной, мира. Всю ночь она
 В доме бродит... Аттиды нет;
 И томит ее плен разлуки сирой.

Громко нас
 Кличет... чуткая ловит Ночь
 И доносит из-за моря
 С плеском волн непонятных жалоб отзвук.

Укоризна

По-видимому, гордой красавице, чуждавшейся поэтических наклонностей кружка Сафо. Размер: большая асклеиадова строфа. Ср. еще красивый перевод Майкова в простых рифмованных строфах: «Перед жрицей Аполлона...» (в поэме «Два мира»).

Срок настанет: в земле
Будешь лежать,
Ласковой памяти

Не оставя в сердцах.
Тщетно живешь!
Розы Пиерии

Лень тебе собирать
С хором подруг;
Так и сойдешь в Аид,

Тень без лика, к толпе
Смутных теней,
Стертых забвением.

№ 79

Я негу люблю,
Юность люблю,
Радость люблю
И солнце.

Жребий мой — быть
В солнечный свет
И в красоту
Влюбленной.

Дочке

Размер почти тот же, что в «Укоризне». Об этой дочке говорят и другие, но ее происхождение нам неизвестно.

У меня ли девочка
Есть родная, золотая,

Что весенний златоцвет —
Милая Клеида!

Не отдам ее за все
Золото на свете...

3. Анакреонт

Включены только отрывки подлинного Анакреонта; пробы из «анакреонтических стихотворений» будут даны в «образцах» вселенской эпохи.

№№ 43 и 62 — шестиударные стихи (стопы 1 и 4 — анапесты); напротив, № 63 — восьмиударный хорей.

№ 14

Мяч бросая пурпуровый мне,
Манит к играм меня Эрот
С этой резвой малюткою
В разноцветных сандалях.
Но с Лесбоса¹ она, увы,
И не любит седых волос;
Вспоминает с тоской в душе
О кудрях золотистых.

№ 43

Сединой виски покрылись,
Голова белеет снегом,
И в зубах я чую старость —
Молодые годы, где вы?

Ненадолго пить осталось
Из отрадной чаши жизни;
Из очей росятся слезы:
Не дает покоя Тартар.

¹ При чем тут Лесбос, не знаем.

Ах, ужасен мрак Аида,
Многотруден спуск подземный;
А кто раз туда спустился —
На возврат оставь надежды!

№ 62

Принеси воды и хмеля,
Принеси венков цветистых;
Попытаюсь винной силой
Побороть Эрота чары.

№ 63

Что, фракийская кобылка,
От меня бежишь ты, взором
Недоверчиво сверкая,
Точно неуч я прямой?

Погоди, узду стальную
От руки ты властной примешь
И пойдешь, склонивши выю,
По указанной стезе.
Ныне бег и луг цветистый
На душе у баловницы:
Знать, наездника лихого
Не изведала досель!

4. Из «Афинского песенника»

Обычный размер: *hendecasyllabus*. Порядок песен традиционный.
Первые четыре — в честь богов, по чину.

№ 1

Дай, владычица грозных сеч Афина,
Жизнь счастливую граду и народу.
Отгоняй от нас смуты и бич
Смерти безвременной — ты и отец твой Зевс.

№ 2

Луг цветет — и воспеть велит мне сердце
Мать венчанную Плутоса Деметру;
Персефону с ней, Зевса дитя.
Славьтесь и ласково град берегите наш.

№ 3

Двух на Делосе чад краса Латона,
Зевсу в дар принесла, владыку Феба
И царицу роц, стрел госпожу.
Свет-Артемиду, жен наших заступницу.

№ 4

Пан, Аркадии светоч многославный,
Спутник нимф в хороводах Диониса, —
Улыбнись, о Пан, песни моей.
Ревностных слуг твоих радости радуйся!

№ 5

После богов слово дается победителю на Панафинеях. Два последних стиха дополнены мной по смыслу.

Дар победы нам бог судил желанной,
От Пандросы¹ награду в дом несем мы —
Благовонного масла сосуд,
Девы-владычицы милостью взысканы.

№ 6

№№ 6—9. Четыре нравоучительных; первые три — в обычном размере, последняя — простая гликоническая строфа. Она, по-видимому, конец басни.

Если б можно нам было в сердце мужа,
Грудь его разобрав, на миг единый
Заглянуть, затем снова закрыть —
И уж уверенно другом его считать.

¹ Пандроса — хранительница священной маслины на Акрополе.

№ 7

Лучший дар человеку — дар здоровья;
Дар второй — красота; достаток честный
Третий ему дар; а за вином
Радость в кругу друзей — это четвертый дар.

№ 8

С земли обдумай плаванье загодя,
Коль знаешь дело и дозволяет час;
Когда же струг колышут волны,
С ветром плыви, что послали боги.

№ 9

Так змее отвечает рак,
Стиснув шею ее клешней:
«Друту быть надлежит прямым
И не ведать кривых путей».

№ 10

№№ 10—13. Четыре в честь любимых героев демократии, тираноубийц *Гармодия* и *Аристогитона*. Они в 514 г. убили тирана Гиппарха, сына Писистрата, во время торжественного шествия, спрятав свои мечи под ветвями мирт; и хотя брат убитого Гиппий и продолжал быть тираном до 510 г., все же легенда связала их имена с памятью об освобождении Афин.

Меч я буду носить под веткой мирта,
Как Гармодий и как Аристогитон.
Когда пал тиран, ими сражен,
И воссиял в стране равнозаконья свет.

№ 11

Не изведал ты смерти, друг Гармодий:
Острова тебя приняли Блаженных:
Быстроногий там витязь Ахилл
И Диомед с тобой счастьем обласканы.

№ 14

Адмет — герой «Алкесты» Еврипида; дружил с «добрыми» Аполлоном и Гераклом; первый спас от смерти его, второй — его жену Алкесту. Размер — большая асклепиадова строфа.

Речь Адмета, мой друг,
Помни: всегда
Добрых одних люби,
А худых сторонись,
Ибо от них
Нет благодарности.

№ 15

№№ 15–18. Первая гликоническая строфа (первый гликоней — с дактилем — в первой стопе).

Сын Теламон, друг Аянт¹, после Ахилла ты
Лучшим среди данайцев всех в Трою отправился бойцом.

№ 17

Ах, из слоновой кости мне лирой бы чудной быть,
Чтоб в хороводах Вакховых юный певец меня носил.

№ 18

Ах, ожерелием златым быть бы прекрасным мне,
Чтоб украшать мне девы грудь с помыслом, чистым как и я.

№ 19

Пей со мной, веселись, вместе люби, вместе чело венчай,
Будь безумен со мной, если ж я трезв, трезвым будь, друг, и ты.

№ 20

Верь, под каждым тебя камнем, мой друг, скорпий в засаде ждет.
Бойся жала его. Скрытность всегда хитрости яд таит.

¹ *Аянт* — герой саламинский и, благодаря Солону, — аттический.

№ 21

Желудь держит свинья в рыле один, а на другой глядит:
Так красотку и я эту держу, сердце же к той лежит.

№ 23

В память Кедона¹ налей, виночерпий, нам полную чашу,
Если достойно вином добрых мужей помянуть,

№ 24

О Липсидрий, друзей своих предатель²,
О каких погубил мужей ты силу.
Благородны все, доблестны все;
Славу отцов в те дни смерть оправдала их.

**§ 18. Хорическая мелика; разновидности и композиция;
Алкман, Стесихор, Арион, Ивик, Симонид Младший,
Пиндар, Вакхилид**

Только один род лирической поэзии мог по своей распространенности соперничать с эпосом; это была *хорическая мелика*. И когда мы называем VII–VI вв. эпохой лирики — мы имеем в виду преимущественно ее.

Только здесь мы имеем возрождение первоначальной триединой хореи, но только в одной ее отрасли — обрядовой песне; рабочая осталась в скромной среде своих исполнителей. Постепенности развития обрядовой хореи мы, понятно, проследить не можем; знаем только, что оно произошло под влиянием реформы музыки, о которой речь была выше, и что эта реформа сначала отразилась на монодической песне и затем уже захватила и хорею. И то и другое произошло в Спарте, ставшей, как мы видели, благодаря Дельфам, центром новой музыки.

¹ *Кедон* — вождь неудачного восстания против тирана Писистрата.

² Под *Липсидрием*, аттической деревней, пала горсть Алкмеонидов, восставших против того же Писистрата.

Богослужебная хорей, быть может, уже раньше распадалась на ряд разновидностей в зависимости от характера чествуемого бога и от момента и способа его чествования; со временем этих разновидностей стало очень много. Общим термином был *гимн*; в частности различали песни профессиональные (просодии), девичьи (парфении) и отрочьи, специальные в честь Аполлона (пеаны), в честь Диониса (дифирамбы) и т. д. Часто данная разновидность требовала определенной тональности в напеве и аккомпанементе, иногда и в ритме, а с ним и в размере. С развитием музыки усложнились и эти размеры; мало-помалу между вышеозначенной монодической меликой и нашей хорической образовалось основное различие. Там поэт пользовался установленной несложной строфой, вроде приведенных алкеевой и сафической, повторяя ее в стихотворении неопределенное число раз, как мы это делаем и ныне; здесь строфа была сложная и изобреталась для каждого гимна особо; размеры «строфы» повторялись в «антистрофе», но за ними следовал отличный, хотя и родственный по размеру «эпод» (*epódos* дополняя *strophe*, в отличие от *epódos stichos* Архилоха); лишь эта троица строфы, антистрофы и эпода, повторяясь неопределенное число раз, составляла гимн. Его содержание тоже было определено: он состоял из части *личной*, посвященной чествуящим и обстановке чествования, *повествовательной*, в которой обыкновенно пересказывался какой-нибудь миф, и *нравоучительной*.

Понятно, что техника как созидания, так и исполнения таких гимнов была чрезвычайно сложна и трудна; необходимо было для того и для другого учение, а значит, и школа с преемственностью ее традиций. Обыкновенно желающие чествовать бога — какая-нибудь община, отправлявшая «феорию» в Дельфы или Делос, — заказывала гимн какому-нибудь поэту; он его сочинял и затем лично или через заместителя обучал предоставленный в его распоряжение хор. А так как, не говоря о других видах богопочитания, таких феорий отправлялось множество многими общинами во многие места, то можно себе представить, сколь пышным цветом расцвела хорическая мелика в VII в.

и следующих, со временем и эта поэзия гимнов представляла собой такое же безбрежное море, как и рапсодическая эпика. Развившись под влиянием Аполлоновой музыки, она, естественно, предоставила себя в распоряжение Дельфов, которые нашли в ней гораздо более податливое орудие, чем в зачастую строптивых гомеридах. В повествовательной части гимнов греческие мифы получили новую — после героического и генеалогического эпоса третью — поэтическую обработку, этот раз всецело в духе аполлоновской реформы греческой религии; в нравоучительной нашла себе место новая аполлоновская мораль с ее проповедью умеренности, правдивости и чистоты.

Нечего и говорить, что мы первого крупного представителя хорической мелики встречаем в Спарте, но не в числе урожденных спартанцев: им был выходец из греческой Лидии *Алкман* (VII в.), воспитатель женской молодежи в своем новом отечестве и поэтому преимущественно поэт парфений, из коих одна нам почти целиком возвращена египетскими песками. Уже у него мы находим деление гимна по содержанию на три части; напротив, его последователь *Стесихор* Сицилийский, первый крупный поэт греческого Запада, выдвинул повествовательную часть в ущерб другим, его гимны были эпическими поэмами в лирической форме, т. е. тем, что мы ныне называем балладами. Как поэт таковых он был перворазрядным мифотворцем, влияние которого чувствуется и в современном ему изобразительном искусстве, и в последующей поэзии; но скудные отрывки не дают нам представления о его поэтической индивидуальности.

Легенда осватила имена *Ариона* Лесбосского и *Ивика* Регийского (в греческой Италии, оба в VI в.), но только от второго к эпохе вселенской учености имелись поэтические произведения, прекрасные отрочьи гимны; первый только в литературной традиции оставил след как мастер дионисического дифирамба, из которого он сделал предшественника трагедии, нарядив его хор сатирами и усилив его диалогический характер. Но к концу VI в. состоялась новая реформа в области хорической мелики, на почве которой просиял ее

заключительный триумвират, состоящий из *Симонида Младшего* (или Кеосского), *Пиндара* и *Вакхилида*.

Состояла эта реформа в том, что в круг предметов хорической мелики были приняты, наряду с богами, также и люди; рядом с гимном возникла энкомия (*enkomion*). Она могла быть посвящена либо живым, либо мертвым; в последнем случае мы называем ее *френом* (или заплачкой). Энкомия в честь живого могла исполняться во многих случаях; но по условиям греческой жизни самым торжественным из них была победа на национальных всеэллинских играх, Олимпийских и других, и самой ответственной и блестящей из энкомий была *эпиникия*. Своего богослужебного характера хорическая мелика вследствие происшедшей реформы не потеряла, так как энкомия в честь живых исполнялась в связи с благодарственным жертвоприношением, а поминовение умерших само по себе было религиозным актом; включение же живых в число чествуемых придало ей больше разнообразия и психологического интереса.

В названном триумвирате *Симонид* с ионийского острова Кеоса прославился особенно своими френами, из коих был особенно хорош составленный им в честь фермопильских героев; очень красива его баллада «Плач Данаи», заключенной в ларце и брошенной в море вместе со своим младенцем; а если в единственном крупном отрывке из эпиникий, который нам сохранен, нравоучительная часть занимает слишком широкое место, то это следует приписать тому, что сохранил его Платон; вообще же он, по дошедшим до нас свидетельствам, соблюдал установленную для хорической мелики композицию. К сожалению, скудость дошедших до нас отрывков не дает нам составить о нем такое непосредственное представление, которое бы соответствовало высокому мнению о нем древности.

Напротив, от *Пиндара* Фиванского (518 до приблизительно 440) нам осталось сравнительно богатое наследие — сравнительно, так как оно обнимает все-таки не более четверти созданного им. В преемственности рукописной традиции до нас дошли его *эпиникии* в четырех книгах, последователь-

но обнимающих победителей четырех национальных игр: Олимпийских, Пифийских, Немейских и Истмийских; к тому же египетские пески вернули нам, наряду с другими отрывками, значительную часть его книги *пеанов*. Величавостью глубокой старины веет от этих поэм; Гомер кажется современным в сравнении с ними. Те, что говорят о «пиндарическом парении», никогда не читали этого самого трудного и самого непереводаемого из греческих поэтов; в нем нет никакой фальши, ничего надуманного: яркие мифологические образы, поражающие своей глубокомысленной меткостью афоризмы; чего стоит один следующий, которым восторгался Ницше: «*Genoi' hoios essi mathon*» — всего четыре слова, но приводящие в отчаяние переводчика, вынужденного передать их смысл в неуклюжей фразе: «Стань таким, каким ты есть, узнав это». Вместе с трагическим поэтом Эсхилом Пиндар представляет собою вершину архаического величия греческой поэзии; но еще более Эсхила он — поэт для немногих, немногих даже среди тех, которые имеют счастье читать его в подлиннике: «великий для великих, малый для малых», как он сам о себе пророчил.

Рядом с ним *Вакхилид* Кеосский (племянник Симонида), последний хорического мелики, представляется скорее малым; и все же требовалось много таланта для того, чтобы так расплавить трудные формы *хорической* мелики, так легко и удобопонятно рассуждать и рассказывать в строгом строе строф, антистроф и эподов. Древние отвели ему также и по достоинству последнее место среди меликов; и, конечно, не его бы мы воскресили, если бы дело зависело от нас. Но так как оно от нас не зависело, то мы были благодарны судьбе, возвратившей нам в 1897 г. добрую часть его *эпиникий* и, что было особенно приятно, ряд его *баллад*, собранных в древности под подходящим лишь для нескольких заглавием «дифирамбов». Поэт ласковый и скромный, он обезоруживает критику тем, что не вызывает ее.

ОБРАЗЦЫ

ХОРИЧЕСКАЯ МЕЛИКА

1. Пиндар

Первая тифийская ода

Первая тифийская ода — в честь победы царя Иерона Сиракузского, одержанной в беге колесниц в Дельфах в 470 г. Как победитель, Иерон велел провозгласить себя не «сиракузским», а «этнейским», по имени основанного им на месте старинной Катаны (недолговечного) города Этны, царем которого он поставил своего сына Диомена. Размер оды — так называемый *дактилоэпитрический*: стих распадется на «колена», каждое из которых (по правилу) либо хорейческого, либо дактилического размера. Колена отделены друг от друга либо промежутками, либо (в середине слова) — дефис.

Строфа I

О кифара золотая, ты, Аполлона и Муз
 Темнокудых равный удел!
 Мере струнной пляска, начало веселий, внемлет;
 Вторят лики сладкогласные,
 Когда, сотрясенная звучно, ты взгремишь,
 Хороводных гимнов подъемля запевы.
 Копья вечного перуна гасишь ты,
 И огнемощный орел
 Никнет сонный, никнет на Зевсовом скиптре,
 Быстрых роняя чету крыльев долу —

Антистрофа I

Князь пернатых; облак темный, под изогнутой главой
 Вещим пеньем ты пролила,
 Облак темный, сладкий затвор зеницам зорким;
 Ударами струн побежденный... Сам Арес,
 Буйный в бранях, прочь отметнув копие,
 Легковейным услаждает сердце сном.
 Сильны бессмертных пленять

Стрелы, их же — глубоколонные Музы
С чадом искусным Лето мещут звонко.

Эпод I

Те же, кого не взлюбил Зевс, внемля гласу Пиерид,
И на земле обуяны страхом, и средь неукротимых пучин;
И мятется, чья темница-Тартар тьмы, недруг богов,
Стоглавый Тифон, возлелеян некогда
Славным вертепом той ли страны киликийской, ныне же
Тяготеют Кумы приморской нагорья
И Сикелия на косматых
Оных персях, и небесный столп его грудь бременит —
Среброверхой Этны устоя, вечной зимы кормилец снежный.

Строфа II

Чистыми кипя ключами, там неприступный огонь
Бьет из недр¹. Днем черный клубят
Огневые реки пожар, а во мраке хляби
Пышут бурей яропламенной
И скалы, вращая, уносят с грохотом
Испровергнуть в моря глубокий простор².
А подземный Змий Гефестовы ручьи³
Грозные, жерлом струит
Вверх. И чудо въяве предивное видеть.
Диво и повести внять тех, кто зрели:

Антистрофа II

Как под Этны чернолистной теменем и низиной,
На колючем ложе простерт,
Опирает узник об остны хребет язвимый...

¹ По теогоническим мифам огнедышащий стоголавый змей Тифон был последним исчадием Земли, с коим Зевсу пришлось выдержать борьбу. Сразив его Перуном, он придавил его — по одним — окрестностями италийских Кум близ Неаполя, где «флегерейские», т. е. «горелые» поля, по другим — островом Сицилией. Так объясняли происхождение вулканов Везувия и Этны. Пиндар соединяет оба варианта.

² Знаменитое описание извержения Этны в 475 г.

³ *Гефестовы* — вулканические.

Дай, Зевс, дай нам быть угодными
Тебе, что блюдешь под горой сей, над челом
Плодовитых долов; ее ж освятил
Именем однореченный смежный град
Хвальный строитель. И днесь
Этну славит игрищ пифийских глашатай¹,
Краснопобедный глася лавр Иерона —

Эпод II

На колесничном ристанье! В путь готовым кораблям
Радость желанная — ветер попутный: он воз-врат мореходцам
сулит

И прибыток. Их по слову про свое станем гадать:

Благое начало — благое знаменье:

Конскою славой городу слыть и венцами краситься,
И греметь мол-вой на пирах звонкогласных!

Ты же, ликиец, царь делосский,

Ты, парнасской Касталии ключ возлюбивший! Блюди
Сие в сердце памятном, Феб! Добрых людей блюди отчизну².

Строфа III

От богов вся доблесть в людях,

Все в нас дары от богов;

Разум мудрых, крепость борца,

Речь витии. Я ж, победителя славя, целю

Копья песен медножалые:

Всех дальше я мечу их ринуть и за грань

Мощным махом звонкие не прометнуть!..

Пусть ему в течение долгом смертных дней

Те ж изобилья дары

С тем же счастьем в лоно плывут неоскудно

И претерпенных несут зол забвенью!

¹ Намек на имя города Этны.

² Город Патара в Ликии (на южном берегу Малой Азии) славился культом Аполлона.

Антистрофа III

Он вспомянет войн великих битвы¹: как в них устоял,
Крепкий духом; как добывал
Мышцей божьей почестъ, ее ж ни единый эллин
Не снискал, стяжанья многого
Верховный венец велелепный. Ныне вновь,
Филоктета² труд роковой разделив,
Ополчился вождь за друга: друга звал
Гордый на помощь, смирясь.
Так на Лемнос (в былях поется) герои
К мучиму язвой стрелку плыли древле.

Эпод III

Сына Пеанта приводят полубоги в бранный стан:
Он ниспровергнул Приамов город, он данаев страды
повершил,
Тело в немощи влачащий: суд то был вечных судеб.
Да встанет же бог-исправитель в дни его
Пред Иероном в час вожделенный, в годину чаяний.
Муза! Лепо нам пред лицом Диномена
Четвероконных мзду восславить:
Отчий дар ему ль не радость? Муза! Покорствуй мне: гимн
Обретеи мы Этны царю, Этны царю хвалу по сердцу.

Строфа IV

Сыну град, свободы граду дал богозданный устав
С правдой Гилла царь Иерон!
Род Памфила и Гераклидов под Таигетом
По дорийскому обычаю
В Эгимия древнем законе век прожить

¹ Иерон с братом Гелоном и с Ферном Акрагантским в 480 г. (одновременно с битвой при Саламине) разбил полчища карфагенян на реке Гимере (в Сицилии) и в 474—73 гг., один, флот этрусков при Кумах (близ Неаполя). Это была освободительная война греческого Запада.

² О *Филоктете* см. § 3. Намек для нас неясен; очевидно, разумеется помощь, которую Иерон, будучи больным, оказал союзникам — вероятно, акрагантинам против их тирана Фрасидая в 471 г.

Правдой дедов гордые внуки хотят¹.
 С Пинда стремного сошли сыны побед
 И одержали Амиклы.
 У предела Тиндара чад белоконных²,
 Чьих искони процвела копий слава.

Антистрофа IV

Зевс-свершитель! Прав да будет голос молвы, что судил
 Чести отчей равный удел.
 У Амена струй подэтнейских³ царям и воям!
 Будь помощник, да водитель-муж,
 Наставник властителя-сына, свой народ
 Возвеличив, дружный в нем строй водворит!
 О Кронион! Я молюсь, да низойдет
 В грады пунийские мир;
 Да утишит тусков⁴ воинские клики
 Кумской обиды морской память злая!

Эпод IV

Как там крушилась их сила властелином Сиракуз!
 Он же и цвет их страны в пу-чину с быстро-летных поверг
кораблей,
 И с Эллады угнетенной прочь сорвал рабский ярем!
 Афинам пою Саламин — и взыскан я
 Граждан приязню; в Спарте мне петь Киферон⁵, по-боища,
 Где легли костями крутолукие персы.
 У берегов Гимеры светлой
 Диномена⁶ чад могучих доблести гимн я воздам:
 Они гимн стяжали в бою, вражеских воев мощь осилив!

¹ Гилл — сын Геракла; от него, а также от Димана и Памфила, сыновей Эгимия, вели свое происхождение дорийцы в составе их трех фил (гиллейцев, диманцев и памфилийцев). Правда Гилла — дорийский устав.

² На отрогах Пинда в Фессалии лежала Дорида, старинная родина дорийцев. Амиклы близ Спарты — столица доисторической Лаконики. Тиндар, отчим Елены, их мифический царь.

³ Амен — речка, протекающая через город Этну.

⁴ Туски — этруски.

⁵ Киферон возвышается над Платеями; в сражении при этом городе предводителем был спартанский царь Павсаний.

⁶ Диномен — здесь разумеется старший, отец Гелона и Иерона и дед царя Этны.

Строфа V

Кто хранит в витийстве меру, кто разумеет вместить
В краткое слово многую речь —
Нареканий меньше тому от людей. Избыток
Пресыщает. Торопливые
Надежды не ждут. Если хвалят нам чужих —
Тайно сердца глубь похвала бременит.
Лучше зависть все ж, чем жалость! Славен будь!
Подвиги множь, а народ
Правь как должно! Пред наковальнею чести
Быкуй нелживый язык, ковщик правды!

Антистрофа V

Легкой искрой слово реет, но из властительных уст
Тяжко ляжет! Многих ты благ
Управитель: много свидетелей зрят управу.
Щедрый нрав блюди; и, добрую
Молву возлюбив, неустанно расточай!
Корабленачальник искусный, ветрам
Смей верить развитый парус. Не ищи
Выгод обманчивых, друг!
Наше имя переживет нас, и слава
Об отошедших прейдет в роды смертных.

Эпод V

Жизнь их молва перескажет деписцам и певцам.
Крез человеколюбивый вечно будет памятен сердцу людей;
В — медяном — быке — сжигатель, недруг всем — царь
Фаларид¹,
И нежные струны под кровлей праздничной
Имя его сдру-жить не хотят с песнопением отроков.
Друг! Удача — первое благо; за нею ж

¹ Намек на знаменитого «медного быка» акрагантского тирана *Фаларида* (VII в.). Его достоинство заключалось в том, что крик сжигаемого в его полости человека звучал как бычачий рев; Фаларид, говорят, испробовал эту акустическую особенность прежде всего на самом художнике.

Клада нет краше доброй славы;
Но кто оба дара вкупе взял от богов — улучил
Вожделенный жребий земли: жизни приял венец
превысший!

2. Вакхилид

Отрывок из пеана

Отрывок прославляет Ирину, богиню мира. Ср. «Из жизни идей» I стр. 54 3-го изд. (Алетейя, 1995).

.....
Ирина благодатная! Достаток даришь

Ты смертным и медвяных песнопений цвет;
На алтарях ты узорных
Телячьи бедра возжигаешь и овец
Белорунных в честь бессмертных.
В школу спешит молодежь,
Ей любви песнь и празднеств шум.
А в рукоятях щитов
Железных житель тьмы паук уставил кросна.

Булат блестящих копий покрывает ржа;
Гаснет мечей двулезвийных
Блеск, не слышно зова медных труб к заре:
Сон-волшебник не слетает,
Звоном их испуганный, с вежд:
До солнца тешит сердце он.
Шумом отрадных пиров
Наполнен град, и отрочьи гремят в нем гимны...

Тесей

Дифирамб

Дифирамб «Тесей» интересен своим драматическим характером; благодаря ему происхождение трагедии из дифирамба нам стало ясно. Афинский царь *Эгей*, проведя ночь с царевной *Эфрой* в *Трезене*, наказал

ей, если она родит сына, дать ему вырасти, пока он, сдвинув камень, не добудет оставленного под ним Эгеем меча, и затем отправить его к нему. Этот момент теперь наступил.

Хор

Провещай слово, святых Афин царь,
Роскошных ионян властодержец!
Продребзжала почто трубы медь,
Песнь бранную зычно протрубила?
Али нашей земли концы
Обступил и ведет грозу сечь
Враждебных ратей вождь?
Иль, умыслив недоброе,
Грабят хищники пастухов стад,
Овец угоняют в плен?
Что же сердце твое мятет, царь?
Вещай! Али вдосталь вкруг твоих рамен
Нет надежи-дружинников,
Юных сильных витязей,
О Панадиона чадо и Креусы?

ЭГЕЙ

Приспешил скорой стопой гонец, пеш:
О долгий, измерил путь истмийский,
Провозвестить несказанных дел весть,
Что некий соделал муж великий¹.
Исполин от его руки,
Колебателя суши сын, пал –
Насильник Синис пал!
От губительной веприцы
Вызволил кромионский лес он,
Скирон-беззаконник мертв.

¹ Далее перечисляются подвиги Тесея на пути из Трезена через Истм в Афины: его борьба с разбойником *Синисом*, с кромионской *веприцей*, со *Скироном* Мегарским, сбрасывавшим путников в море, с борцом *Керкионом* и с известным владельцем «ложа» *Прокрустом* (или, как он назван здесь, *Прокоптом*). Впрочем, в упоминании его молота заключается затруднение, не вполне выясненное.

Уж не мерит с гостьми тугих мышц
В борьбе Керкион. И молот выронил
Полименона сын Прокопт.
Мощь мощнейший превозмог.
Что-то будет? Чему дано свершиться?

Хор

И отколе сей богатырь, и кто он,
Поведал ли вестник? Ратной справой
Вооружен ли, одержит полк мног
С нарядом воинским? Иль, скиталец
Бездоспешный, блуждает он,
Мнимый пришлым купцом, один, в край
Из края, чуждый гость?
А и сердцем бестрепетен,
И могутен плечьми о тех мощь
Изведавший крепость мышц!
С ним подвигший его стоит бог
Промыслить отмщенье дел неправедных!
Но вседневных меж подвигов
Остеречься ль злой беды?
Время долго: всему свой час свершиться!

Эгей

Со двумя держит гриднями путь муж,
Поведал гонец. Висит булатный
Заповедный кладенец¹ с белых плеч;
В руке два копыя о древках гладких;
Да чеканки лаконские
Сверх кудрей огневых шелом светл;
Хитон на персях рдян;
Плащ поверх, фессалийских рун
Очи полымя ярых жерл льют –
Лемноских горнил ключи².

¹ Это — тот отцовский меч, который он сам добыл из-под скалы.

² *Лемнонский огонь* (ныне потухшего вулкана Мосихла) славился в древности.

Первым юности цветом юн он;
По сердцу ему потех да игрищ вихрь,
 Те ли игры Аресовы,
 Меднозвучных битв пиры —
И взыскал он *Афин* пышнолюбивых.

**§ 19. Характер греческой лирики. —
Усовершенствования: сюжеты, оттенки. — Утраты:
последовательность повествования и рассуждения,
искусство характеристики. — Лирику продолжает
трагедия**

Окидывая взором сказанное в этой главе, мы убеждаемся, что лирическая эпоха греческой поэзии создала для греческого народа его вторую поэтическую сокровищницу, по размерам вряд ли уступавшую той первой, эпической, а нарядностью и блеском ее значительно превосходившую. В ней лишь сравнительно небольшие по пространству отделения были заняты тремя разновидностями субъективной лирики — элегией, ямбографией и монодической меликой; правда, для нас это была бы самая понятная и привлекательная часть общей сокровищницы, и в особенности монодическая мелика ближе всего к тому, что мы ныне разумеем под лирикой. Но по греческим представлениям она была лишь второстепенной уже потому, что отвлеклась от третьей части триединой хореи, от пляски. Лишь хорическая лирика, равномерно призывавшая к новой жизни все три ее части, осуществила собою полноту греческой поэзии. Мы ныне только умом можем это постигнуть, и притом не только потому, что даже в сохранившихся памятниках этой лирики нам сохранились лишь тексты, т. е. лишь одна из трех частей хореи: даже если бы какое-нибудь чудо сделало нас непосредственными свидетелями, т. е. и слушателями и зрителями исполняемой при дворе царя Иерона первой олимпийской «оды» Пиндара — мы не оказались бы на высоте ее понимания. Но это была бы не ее, а наша вина: последствие первородного греха христианской культуры,

исключившего пляску из религии и этим на все времена подрезавшего крылья богослужебной поэзии.

Сосредоточивая, однако, наше внимание на собственно поэтической части этой лирики, сравнивая ее достижения с Гомером, мы наряду со значительным усовершенствованием наблюдаем и известные утраты. *Усовершенствование* прежде всего в области сюжетов, в завоевании для поэзии огромных пространств внешней и внутренней жизни, в достигнутой способности озарять столько разнородных ее моментов радужной песни, и притом в самом непосредственном ее переживании, а не отражая ее в зеркале далекого прошлого. Усовершенствование, затем, в тонкости, оттененности, даже капризности чувствования и мышления, в характеризующей многообразности размеров, в обогащении языка новыми, отчасти яркими, отчасти глубокомысленно темными оборотами — все это дала Греции поэзия ее лирической эпохи.

И всё же мы должны наряду с этими достоинствами указать и на недостатки в сравнении с Гомером, объясняемые тем, что певцы новых направлений, находясь вне старых школ аэдов и рапсодов с их испытанной, хотя и впавшей в рутину поэтической техникой, должны были многому учиться заново и, ощупью ища новых путей, пройти через долгие десятилетия нового ученичества. Потеряна была прежде всего *последовательность* эпического повествования, умение развивать одну сцену из другой. Возьмем ради примера XVI песнь «Илиады», «Патроклию», эту совершенную в своем роде трагедию воли; мы переживаем вместе с героем зарождение этой благородной воли под влиянием наставлений Нестора (еще в XI песни), ее ограничение дружескими советами Ахилла, ее вначале благо-разумное осуществление, затем постепенное увлечение героя по мере одерживаемых успехов, окончательное опьянение после победы над Сарпедоном, безумный приступ против Трои — и катастрофу, вмешательство Аполлона и Гектора и смерть витязя. Ничего подобного у лириков, даже когда они эпически повествуют. Пиндар дает нам в своих повествовательных частях ряд ярко освещенных образов, своего рода живых картин, но без развития одного из другого, без психологии. Мы люблю-

емся описанием появления Ясона перед Пелием или Аполлоном с Хироном перед борющейся со львом Киреной; но ведь это лишь моменты, само же повествование дается кратко, сухо, почти нехотя. Мы читаем баллады Вакхилида — и удивляемся отсутствию либо завязки, либо развязки, прекращению баллады о посольстве за Елену после вступительного слова Менелая, баллады о смерти Геракла после передачи плаща Несса.

Та же утрата умения развития наблюдается и в *рассуждениях*; и в этом отношении поучительно сравнение речи Одиссея к Ахиллу в IX песни «Илиады» хотя бы с самым крупным из нравоучительных отрывков Солона. Там строгое расчленение речи, приводившее в восторг даже очень требовательных по этой части риториков вселенской эпохи: вступление, удачно исходящее из данного момента, затем описание настоящего положения дел, затем слово убеждения, многосоставное, с умелым подчеркиванием того, что сильнее всего должно было действовать на пылкое сердце героя, с оставлением в тени менее действительных, но необходимых мотивов и, наконец, веское заключение. У Солона, напротив, красивые частности, но без внутренней связи, нанизывание друг на друга отдельных поучительных соображений — положительно, так можно было бы продолжать до бесконечности.

Наконец, — утрата умения *характеризовать* героев. Видно, богатая палитра Гомера перестала быть применимой; герои лириков действуют, как им приказывает действовать миф, но мы не видим внутренней пружины этих действий. Едва намечена коренная разница характеров, рыцарский Ясон перед коварным властолюбцем Пелием у Пиндара, рыцарский Тесей перед коварным сластолюбцем Миносом у Вакхилида; но и тут мы более влагаем и предполагаем, чем вычитываем.

Влагаем и предполагаем — этим многое сказано. Всё же эти поэты заставляют нас влагать и предполагать; их поэзия в значительной степени — поэзия чаяний. Такова и так называемая зрелая архаика в современном им изобразительном искусстве. И как там в начале V в. чувствуется, что мы накануне Фидия и Мирона, так и здесь мы чаем приближение тех творцов, которые доведут до совершенства начинания Аполлоновой

лирики. Ибо здесь коренная разница в развитии эпоса и лирики. Тот в своих собственных школах и формах переживает и свое начало в неведомых нам праилиадах и праодиссеях, и свой расцвет в Гомере, и свое вырождение в рутинерстве позднейших кикликов. Лирика, напротив, в ранней стадии своего совершенствования круто обрывается под влиянием политических условий жизни, и ее скипетр берет другая отрасль поэзии, органически — да, органически, как вся греческая литература, — из нее развившаяся, но не на почве аполлонизма, а на почве дионисиазма, и не повсеместно в многоплеменной Элладе, а в Аттике. Этой другой отраслью, завершившей начатое лирикой и осуществившей ее чаяния, была *трагедия*.



Глава V.

ТРАГЕДИЯ

§ 20. Греция в V веке

Из грозы *греко-персидских* войн, занявших, хотя и с перерывами, первое двадцатилетие с лишком V в., возникла как ее длительный плод *политическая гегемония Афин* в приморской Элладе, под знаком которой греческий народ прожил весь означенный век. Правда, славные имена Марафона (490), Фермопил (480), Саламина (480), Платей (479) не принадлежат еще исключительно им; Марафон записан на афинском, но Фермопилы на спартанском знамени, а обе последние, решающие битвы, обеспечившие дальнейшее европейское развитие Европы вплоть до наших дней, объединили всю Элладу в крайнем напряжении всех сил против превосходящего могущества врага. Но уже начатое в том же 479 г. освобождение Ионии от персидского ига было делом афинского флота, делом Аристида и Кимона; и именно оно повело к объединению освобожденной каймы Архипелага с его островами и Аттикой в могущественное морское *аттическое государство*. Так в V в. Эллада возглавляется двумя передовыми державами: Спарта остается главой Пелопоннеса, но Архипелаг признает власть Афин.

Происходящий в междуэллинских отношениях сдвиг сопровождается внутренними преобразованиями в затронутых им государствах; Спарта сохраняет свою аристократическую

конституцию, предоставляющую всю власть землевладельцам-спартам в ущерб недорийским «перизкам» лаконических городов и тем более закрепощенным «илотам»-землепашцам Лаконики и Мессении; но в Афинах выдающееся участие в освободительных морских боях служащего во флоте неимущего гражданства побуждает Аристиду уделить также и ему почти полноту гражданских прав. Двинутое им дело завершил Перикл (450–430): Афины становятся передовой демократией в Греции. Это внутреннее политическое различие между Афинами и Спартой обостряет их междуэллинское неизбежное соперничество как глав двух союзов греческих государств: везде, где только возможно, Спарта устраивает и поддерживает аристократию, Афины — демократию. Все же при сухопутных по преимуществу интересах Спарты и морских — Афин мирное сосуществование обоих союзов было бы возможным; роковым было включение в Пелопоннесский союз также и дорического Коринфа, который, как мы видели, был в VI в. первым торговым государством Греции. Затемненный и оттесненный теперь морским могуществом Афин, он видит единственное свое спасение в победоносной войне Пелопоннесского союза против аттического государства. Его вызов принимает Перикл, полагаясь на крепость руководимых им Афин; так возникает кровопролитная *Пелопоннеская война* (431–404), омрачившая последнее тридцатилетие V в.; к несчастью Афин и всей Эллады, разразившаяся чума в самом начале войны похитила Перикла; достойных продолжателей его дела в Афинах не оказалось, необузданная демократия в лице Клеона и его последователей подняла голову, увеличивая затруднения и во внутренней и в междуэллинской политике Афин — и концом исполинской войны было для них *поражение при Эгоспотамосе*, потеря морской гегемонии и распадение аттического государства. Начался следующий IV в. под знаком второй гегемонии Спарты.

Мы делим славный V век на четыре поколения. Первое (до 479 г.) — *эпоха освободительных войн* — принадлежит в культурном отношении еще предыдущему эллинскому периоду, это — эпоха Симонида и Пиндара. Второе и третье составляют вместе так называемое «*пятидесятилетие*» между освобо-

дительными войнами и Пелопоннесской (479–431); но специально третье, самое блестящее в культурной истории Афин, мы называем *эпохой Перикла*. Наконец, последнее — *эпоха Пелопоннесской войны*.

Дело в том, что вместе с политической и культурная гегемония после освободительных войн переходит к Афинам, и притом гораздо более прочным образом: не только три следующих поколения V века — все вообще полуторастолетие между Платеями и Александром Великим (приблизительно 480–330) составляет *аттический* период культурной истории Греции. Особенно это касается литературы. Спарта, как мы видели, была в этом отношении непроизводительна; ее кратковременный расцвет в области лирики: Алкман, Тиртей — был делом культурного влияния союзных с ними Дельфов. Но к началу освободительных войн союз этот распался. Дельфы из-за честолюбивых расчетов поддерживали персидские замыслы против греческой свободы; Спарта мужественно и великодушно стала во главе борцов за нее. Литературным последствием этого раскола была судьба первенствующей поэтической отрасли предыдущего периода — греческой лирики: как мы уже видели, она завяла, еще не изжив своих сил. Но, как тоже уже было сказано, принцип органического развития этим нарушен не был; могучие волны поэтического творчества, найдя старое русло суженным, ринулись в новое — именно в то, которое им открыли Афины и их возвышение. Из общеэллинской лирики органически развилась *аттическая трагедия*, поэтический показатель эллинской культуры V в.

§ 21. Дифирамб и Арион. — Сатирическая драма и Пратин. — Пратин и Фриних

Промежуточным звеном, как мы тоже уже видели, был *дифирамб*¹, дионисический гимн, соответствовавший апол-

¹ Слово *dithyrambos* этимологически необъяснимо на почве греческого языка, почему и считают его пришлым, как и весь культ Диониса. Его значение указано в тексте; известная экстаичность была ему

лоновскому пеану как отражение бурной страстности оргиазма в противоположность к полному меры созерцанию дельфийской религии. Еще Архилох говорил про себя:

И владыке Дионису чудный дифирамб запеть
Властен я, когда мой разум сокрушит вина перун.

Этим засвидетельствована изначальная самостоятельность этого «запевалы» (*exarchon*) дифирамбического хора и, стало быть, изначальная драматичность самого дифирамба. Она была усилена Арионом, придворным поэтом Периандра Коринфского; как, об этом мы за полной уже к вселенской эпохе пропажей его поэм судить не можем, знаем только, что он ввел в свои дифирамбы сатиров, мифологических спутников Диониса, а с ними и ряженных, и своего рода действие из мифов о Дионисе. Но серьезное действие в присутствии этих пересмешников было невозможно: продолжением сатирических дифирамбов Ариона была пелопоннесская *сатирическая драма*¹ с ее козловидными хоревтами, «песня козлов», как ее тоже (вероятно, в насмешку) называли — *трагедия* (от греч. *tragos* — козел).

Она перекинулась на аттическую сцену в лице *Пратина* из Флиунта, соседнего с Коринфом города (конец VI в.), но нашла ее занятой потомком серьезного дифирамба, серьезной «драмой» (т. е. «действом», не «действием»), еще раньше — а именно при Писистрате, в 534 г., — ставшей элементом весеннего праздника Великих Дионисий благодаря почину *Феспид*, которого поэтому и считают родоначальником трагедии. Феспид сделал решающий шаг через грань, отделяющую лиризм дифирамба от драматизма трагедии: он ввел *актера* — правда, единоличного, но могшего выступать в разных ролях. Для это-

свойственна во все времена, но вовсе не хвалебный оттенок, который многие придают ему ныне («петь дифирамб кому-нибудь») — вероятно, смешивая его с «панегириком».

¹ Сатирическая драма (*satyrikon*) *греков* не имеет ничего общего с *римской* сатирой (*satira*); во избежание недоразумения многие предпочитают говорить о «сатировой», даже «сатирской» драме, или «драме сатиров». Но терминологическая последовательность (*tragikos*, *komikos*, *satyrikos* — «трагический» и т. д.) не допускает иной транскрипции.

го нужно было дать ему время переодеться; это время удобно заполнялось песнями хора, служившими, таким образом, лирическими вехами между эпико-драматическими «приходами» (*epeisodion*, «эпизодами») действующего лица. Так произошло деление драмы на акты. Конечно, драматизация мифа при одном только актере была невозможна, и мы правильно представим себе эпизоды драмы Феспида состоящими из длинных эпических повествований действующего лица и оживленного диалога его с запевалой хора, при котором стих одного чередовался со стихом другого, — по-гречески, из *rhe̐sis* и *stichomythia*. Получилась кантата или оратория, не драма в нашем смысле; действующее лицо рассказывало и рассуждало или спорило, действие предполагалось происходящим «за кулисами». Этими кулисами служила стена палатки, в которой переодевался актер; она замыкала собою «место пляски» хора. «Место пляски» по-гречески называлось *orchestra*, «палатка» — *skene* (ср. «скиния»); и ту и другую охватывало полукругом «место для зрителей» (*theatron*). Этим было намечено позднейшее деление античного «театра»¹.

Органичность происхождения драмы от лирики при этом очевидна; ведь и в лирике, как мы видели, была своя повествовательная часть. Но, переходя от хора к актеру, она изменила свой размер: актер говорит не в лирических стихах, а сначала в хореических тетраметрах, затем в ямбических триметрах. Мы знаем уже оба эти стиха: они принадлежат ямбографии, отрасли лирики, выросшей в таинствах Деметры. Отсюда, значит, и заимствовала их драма; и действительно, мы знаем, что в элевсинских таинствах центром обрядности была представляемая посвященным драма похищения и возвращения Деметриной дочери Коры. Таков был, после Дионисова дифирамба, второй источник трагедии; вот почему их слияние должно было состояться в Аттике и ее столице Афинах.

От Феспида ничего не осталось к эпохе вселенской учености; первым аттическим трагиком, творения которого пережили

¹ Отсюда видно, как умно поступают те, которые в последнее время стали якобы ради точности, а собственно из жеманства говорить «на театре» вместо правильного «в театре» или «на сцене».

своего творца, был *Фриних*, поэт конца VI в. и эпохи освободительных войн. Он и эту живую трагедию втянул в свою поэзию, посвятив по драме ее самому грустному и самому славному событию, «Взятию Милета» (персами) и — в «Финикиянках» — Саламинской битве. Именно в годы расцвета этого даровитого драматурга, мелодические песни которого еще в Пелопоннесскую войну распевались афинянами старого закала, пелопоннесская сатирическая драма, как было сказано выше, перекинулась в Афины. Началось долгое *соперничество между Фринихом и Пратином*; хор давался архонтом на праздниках Диониса то одному то другому, самый народ разделился на партии. Было желательно примирение обоих потомков Дионисовой песни; оно состоялось в начале V в., и его последствием было то, что сатирическая драма хотя и осталась необходимой частью состязаний в честь Диониса, но заняла в них и последнее, и количественно скромное место, и, кроме того, уступила свое имя *трагедии* своей серьезной сопернице.

Примирителем, конечно, мог выступить только человек, сильный в обоих направлениях и способный их поэтому объединить; этим человеком был *Эсхил* из Элевсина.

§ 22. Эсхил. — Трилогический принцип. — «Данаида» и «Орестея». — Наверстывание поэтической техники. — Величавость

Родившись накануне персидской грозы, современник Мильтиада, Фемистокла, Аристида, Кимона, участник всех великих битв освободительной войны *Эсхил* (525–456) был настоящим поэтом эпохи подъема афинского государства до его роскошного расцвета при Перикле; уроженец Элевсина, славного своими таинствами, выросший под сенью Деметры, «вскормившей его душу» (как он сам заявляет у Аристофана), он был прекрасно подготовлен к глубокому восприятию мировых событий, свидетелем и участником которых он был. Эллада была ему известна вся, от ее восточной каймы, за которую он боролся с врагом, до сицилийского запада, который он не

раз навещал при жизни, напоследок в том путешествии, из которого ему уже не суждено было вернуться. И все же он стал не только всеэллинским поэтом: нынешнего читателя его «Персов», если он хоть немного вдумчив, должна поразить благородная общечеловеческая точка зрения, с которой он смотрит на разбитого и униженного насильника-врага. Но эту славу с ним разделил его народ — разделил тем, что присудил ему за эту трагедию, представленную перед разрушенными врагом святынями Акрополя, первую награду. Этот подвиг не повторялся более в истории человечества, но он один поясняет нам, почему Эллада стала школой гуманности для новых времен.

Эсхил, сказали мы выше, стал законодателем афинской трагической сцены. Спор между серьезной драмой и сатирической он разрешил в том смысле, что каждый из трех поэтов, которым архонт «давал хор» для состязания на празднике Диониса, должен был им воспользоваться в *тетралогии*, состоявшей из трех трагедий и в заключение одной сатирической драмы. Хор состоял из двенадцати членов, один из которых был корифеем; и только корифей принимал участие в нелитературном диалоге. К тому единоличному актеру, которым довольствовались в течение полустолетия, Эсхил прибавил еще второго, вследствие чего значение корифея для диалога малопомалу отходит на задний план. Но это происходило очень постепенно, и в большинстве сцен его ранних трагедий мы имеем одного актера в беседе с корифеем. В этой беседе преобладает речь (*rhexis*) и стихомифия, реже встречаются более вольные реплики, но всегда соблюдается правило цельности стиха — он никогда не делится между двумя говорящими. Лирический элемент представлен очень полно, хорические песни — обыкновенно четыре сплошных и еще один или два лирических диалога, так называемого *коммоса*, часто траурного характера — занимают иногда до половины всей трагедии, но и по своему достоинству они — жемчужины греческой поэзии. Подобно творениям хорической мелики, и они построены на антистрофическом принципе; но разница та, что каждая пара строф имеет свое собственное метрическое построение и эпод, вообще необязательный, не встречается более одного раза на песню.

Но главное — это развитие *трилогического принципа* у Эсхила в связи с превращением трагедии из кантаты в драму.

В течение его семидесятилетней жизни Эсхилом написано было 80 пьес, или 20 тетралогий; нам сохранена только одна трилогия, последняя им написанная: «*Орестея*» (в составе трагедий: «Агамемнон», «Хозфоры» и «Евмениды»), и по одной трагедии из четырех других, а именно «*Персы*» из сборной трилогии, «*Просительницы*» из «Данаиды», «*Семь вождей*» («*Hepta epi Thebas*») из «Фиваиды» и «*Прикованный Прометей*» из «Прометеи». Все они написаны на протяжении четырнадцати лет (472–458), последних в творческой жизни поэта; другими словами, из его ранней эпохи мы трагедий не имеем. Так вот, за исключением одной трилогии, которую я назвал сборной, во всех других трагедии продолжают друг друга, будучи связаны *единством фабулы*. В этом и состоит трилогический принцип Эсхила.

Прогресс же сказывается в том, как в каждом случае проведен этот принцип; и этот прогресс изумителен, особенно если представить себе, что мы его прослеживаем на творчестве не молодого, а старого поэта.

Возьмем «Данаиду». Содержание первой трагедии (сохраненных «*Просительниц*») — принятие Данаид в Аргос; второй (пропавших «Египтян», или «Строителей теремов») — свадьба Египтиадов с Данаидами; третьей (тоже пропавших «Данаид») — суд Даная над ослушницей Гипермнестрой. Каждая трагедия, бедная действием, представляет собою лишь момент в этой захватывающей истории; это кантата, а не трагедия; драматичность создается лишь последовательностью этих моментов, причем самое бурное действие предполагается происшедшим в оба промежутка между трагедиями. Теперь сравним с этой трилогией «Орестею», сюжет которой заимствован из киклических «Ностов». Содержание первой трагедии («Агамемнона») — возвращение героя и его смерть от руки жены; второй («Хозфор», т. е. «Приносительниц возлияний» на могиле убитого) — возвращение Ореста и его месть за отца, т. е. убийство Эгисфа и матери с появлением карающих Эриний; третьей («Евменид») — преследование Ореста Эри-

ниями в Дельфы и Афины и его оправдание Ареопагом. Здесь, наоборот, все действие внесено в сами трагедии, и только недраматические длительные пребывания отнесены в промежутки. Не только последовательность трех трагедий — каждая из них крайне драматична и патетична.

Правда, вершина еще не достигнута: Эсхилу еще приходится постепенно наверстывать забытую лирикой поэтическую технику эпоса. Искусством последовательного повествования он уже владеет, как доказывает рассказ вестника в «Персах» о Саламинской битве; ему удастся даже в позднейших трагедиях, хотя и не без натяжек, вложить повествование в стихомифию и этим создать драматическое повествование. Но он не всегда может избежать длиннот, как доказывает серия докладов соглядатая в «Семи» и географические экскурсии героя в «Прометее»; и в последовательности и расчлененности *рассуждения* и он еще не сравнился с Гомером. Равным образом и в области *характеристики* он лишь медленно отвоевывает утраченную лириками область гомеровской техники; в его ранних трагедиях-кантатах («Персах» и «Просительницах») действующие лица еще довольно бесцветны; затем в средних появляются резко охарактеризованные центральные фигуры, подвижники мрачной решимости и титанического дерзновения: Этеокл в «Семи», герой в «Прикованном Прометее» — и лишь в «Орестее» перед нами подбор характеров, соответствующих развитому действию. Всё же и здесь представлены одни лишь суровые характеры: для Гекторов, Андромых, Навсикай в палитре марафонского бойца красок не нашлось.

Но все эти неизбежные недостатки пионерства уравниваются и перевешиваются одним основным достоинством Эсхиловой поэзии: ее *величавостью* в содержании и форме. Величаво его суровое мировоззрение, его учение об Аласторе, духе-мстителе, которого грех первопреступника вводит в запятанный дом, отдавая ему его на искупляющее истребление: именно введенный Эсхилом трилогический принцип способствовал проведению этого учения в последовательных трагедиях, как показывают в особенности его «Фиваида» и «Орестея». Величавы бесчисленные отдельные места его трагедий:

монолог Прометея, решение Этеокла, благодарственная песнь Данаид, безумие Кассандры, молитва Электры, «вяжущий гимн» Эриний — величавы его смелые картины и метафоры, величав, наконец, его красочный, творческий язык. О последнем перевод менее всего может дать представление; но если кто научится по-гречески только для того, чтобы в подлиннике прочесть Эсхила, — он не скажет, что его труд пропал даром.

ОБРАЗЦЫ

ЭСХИЛ

1. Персы

ПРОЛОГА нет; трагедия начинается с ПАРОДА (вступительной части хора). Персидские старцы, члены царского совета, составляющие хор, говорят о себе: они остались в царской столице и встревожены отсутствием вестей об ушедшем войске. Правда, его могущество способно наполнить сердце гордостью.

Первая часть приведенного отрывка написана *иониками*, т. е. стопами, состоящими каждая из двух кратких и двух долгих слогов. Для перевода эта стопа представляла большие трудности.

Хор

Прегражден путь: как река — понт;
А обон — пол, там чужой край.
Медяных скреп и льняных уз
Не жалел царь — и настлал гать,
И навел мост¹: на чужой брег
Перевел рать чрез пролив тот,
Где нашла гроб в старину дочь
Афаманта², —
И в ярмо впряг роковой понт.

¹ Намек на мост, который Ксеркс приказал перекинуть через Геллеспонт, в чем поэт видит признак кичливого и нечестивого самомнения. Иначе об этом судит, конечно, хор, для которого Ксеркс — сам бог.

² Дочь Афаманта — Гелла (Helle), упавшая со златорунного овна в названный в ее честь Геллеспонт (см. § 10).

Ты людских стад волопас, Ксеркс.
Из степных недр, из азийских,
Гонит тьмы тем пастуха жезл.
По мостам шлюют, по хребтам волн
За полком полк главари сил.
И, вождей вождь, с ними ты, бог,
В чей крови жив золотой дождь,
 Что низвел Зевс
На твою, царь, на праматерь¹.

Грозовой тьмой омрача взор,
Огневой змий — о числе рук
Необъятном, кораблей дух —
О числе крыл о несметном,
Ты катишь, царь, и пуки стрел
С тетивы шлешь в копьеборцев.

Кто найдет мощь медяных мышц —
Супротив стать боевых сил?
Богатырь, кто запрудит хлябь
И разбег волн обратит вспять,
Кто б тебе, перс, возбранил путь?
Кто б тебя, перс, одолеть мог?

От богов, знать, на роду нам эта участь,
И на то, перс, родился ты, чтоб коней гнать
 На лихой пир удалых сеч,
Чтоб грозой битв за кремлем кремль повергать в прах
 И за градом рушить град.

От богов, знать, научен ты побороть хлябь,
Что крутой ветер убелил всю сединой бурь,
 Пролагать путь через лес волн
И снастей ткань за оплот чтить под игрой гроз,
 И доскам вверять войска.

¹ Чтобы сроднить персов с эллинами, был сочинен миф (по-видимому Дельфами), что они происходят от Персея, сына Зевса и Данаи, принявшей бога в свое лоно по виду золотого дождя (см. § 10).

Но богов месть сторожит нас
И кует ков тихомолком.
Как ни будь спор, на узлы пут
Оперев пядь, не отпрянешь.
Невдомек нам потайной плен:
Ибо скрыл в лесть, разубрал в ложь
Западню Рок. Удался лов —
Из тенет тех не унести ног;
Кто попал в сеть, не уйдет цел¹.

Входит в душу бледный Страх²,
В ризе черной с ним Печаль.
Увы! Увы!
Если цвет персидских войск
Рок пожнет,
Опустеет гордый град!³

И кисийских древних стен
Будет вторить гулкий свод —
Увы! Увы!
Женщинам на площади,
Рвущим риз
Многоценный в клочья лен.

Ибо вдруг с мест ушел
Конный люд и пеший люд
Всей земли вслед вождю, словно рой
Вешних пчел из улья вон —
В заморский край: зане два берега
Дивным запряг он звеном
В цепь одну чрез море.

¹ Этот эпод — самое замечательное место отрывка. В подлиннике ясней сказано про «улыбку Аты», коей она завлекает обреченного в свою сеть.

² Размер меняется, преобладают хорен.

³ *Гордый град* — столица Суса, где происходит действие. От нее Эсхил отличает Киссию, которую он представляет себе вторым главным городом царства.

В ложницах слезы льют
Вдовы по живым мужьям.

Горе вам, женский сонм, вдовый сонм!
Милый друг, могучий друг
Покинул дом, суровый воин;
Упряг двойного ярма
Как нести безмужней?

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Подобает совет
Нам, о персы, жильцы вековых твердынь,
Совокупно держать, и нужда настoit,
Чтоб нам думу глубокую думать.
Как тут быть? Что с царем? Где божественный Ксеркс,
Бога Дария сын,
Чья Персеева кровь имя персам дала?
Напряженный ли лук побеждает в борьбе
Или жало копья¹,
Устремленного крепкой десницей?
Но, как око богов, засветился нам свет:
То выходит царя венценосная мать
И царица моя²: припадем же к стопам
Государыни все и приветственных слов
Принесем ей согласные дани!
Мать владыки, длинноризых жен Персиды госпожа,
Здравствуй, старица-царица, здравствуй, Дария вдова!
С богом ложе ты делила, бога персам родила,
Коль от войска демон древний в эти дни не отступил.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Царица рассказывает старцам свой тревожный сон; те ей советуют вызвать из могилы тень старого царя Дария. Разговор о Греции и Афинах. Приходит вестник; его рассказ о поражении при Саламине и отступлении.

ПЕРВЫЙ СТАСИМ. Плач хора о гибели войска.

¹ Лук — символ персов, копье — греков.

² Это — царица Атосса, дочь Кира (чего Эсхил не знал), жена Дария и мать Ксеркса.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Царица решает вызвать тень покойного мужа. Песнь заклинания. Появление духа Дария; его пророчество о предстоящем поражении при Платеях и совет прекратить войну.

ВТОРОЙ СТАСИМ. Песнь хора во славу Дария.

ЭКСОД. Приход Ксеркса; его совместный с хором плач о гибели войска.

2. Орестея

Агамемнон

ПРОЛОГ. Страж на вышке ждет условленного огненного сигнала о взятии Трои. Сигнал появляется.

ПАРОД. Старцы царского совета приходят к Клитемнестре; их воспоминание об уходе войска и жертвоприношении Ифигении.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Клитемнестра сообщает старцам о взятии Трои.

ПЕРВЫЙ СТАСИМ. Песнь хора о гибели Трои и ее причинах.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Глашатай приносит весть о возвращении войска на родину; его рассказ об осаде и невзгодах обратного пути.

ВТОРОЙ СТАСИМ. Размышления хора о смысле происшедших событий.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Торжественный въезд Агамемнона; на его колеснице находится и пленница, вещая дочь Приама Кассандра. Клитемнестра выходит ему навстречу и лстивой речью убеждает его войти в дом по пурпуровым коврам, что было божеской почестью. Нехотя Агамемнон соглашается. Кассандра остается на колеснице одна.

ТРЕТИЙ СТАСИМ. Хор дает волю своим зловещим чувствам.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Клитемнестра, проводив мужа, приходит за Кассандрой, но та в своем забвении не обращает внимания на ее слова, и царица в гневе уходит. Кассандра как бы пробуждается; ее взор случайно падает на статую Аполлона; при виде ее она вздрагивает.

Следует так называемый КОММОС — лирическая партия, в которой кроме хора участвует и действующее лицо («лирический диалог»). Во взволнованных строфах Кассандры преобладающий размер — так называемый *дохмий*, встречающийся только в трагедии.

КАССАНДРА

О Аполлон разящий!
Увы мне, злосчастной!

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Почто стенаньем Локсия¹ зовешь? Ему
Пean согласный сладок, ненавистен плач.

КАССАНДРА

Путей страж, разящий!
Увы мне, злосчастной!

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Заплачкой прогневляет богохульница
Того, кто отвращает лик от воплениц.

КАССАНДРА

Путей страж, разящий,
Сразивший меня
Насмерть, мой бог!²
Стрелой другою насмерть ты сразил меня!³

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

О горькой доле плачет, о лихой своей
Судьбе пророчит... Вещий и в рабыне дух.

КАССАНДРА

Путей страж, разящий,
Сразивший меня
Насмерть, мой бог!
Куда, увы, в какой дом ты меня привел?

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Сей дом — Атридов. Коль сама не ведаешь,
Где ты — вот я поведал, не солгал тебе.

¹ *Локсий* — темное прозвище Аполлона.

² В подлиннике игра слов, основанная на (мнимом) значении имени Аполлона (от глагола *apolluti* — гублю) — губитель.

³ *Стрелой другою* — первой она считает роковой пророческий дар, отнявший у нее все радости жизни.

КАССАНДРА

Богопротивный кров, злых управитель дел
Дом-живодерня! Палачей
Помост, людская бойня, где скользишь в крови!

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Она — ищейка ловчая, и крови дух
Далече чует: нюхает и сыщет кровь.

КАССАНДРА

Вот они, вот стоят — крови свидетели!
Младенцы плачут: «Тело нам
Рассекли и сварили, и отец нас ел!»¹

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

В молве слывешь ты вещью провидицей;
Но знай: не ко двору здесь прорицатели.

КАССАНДРА

Увы! Жена, что предумыслила?
В дому злодейство новое,
Великое вершится, ужас родичам!
Целенья не будет, не снидет спасенье,
Друг не придет помочь.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Темно гаданье, смысл его постичь нельзя;
А прежнее — весь город говорит о том.

КАССАНДРА

Соделать что хочешь, проклятая?
Того, с кем ты спала, — зачем

¹ Отец Агамемнона Атрей, мстя своему брату Фиесту за обольщение жены, заманил его к себе и угостил плотью его собственных малюток-детей. Фиест был отцом (позднее рожденного) Эгисфа.

В купель сойти торопишь, искупать спешишь?
Что дале — не вижу. Спешат. В чью-то руку
Что-то сует рука...¹

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Еще не разумею. Словно бельмами,
Загадками вещанье мне застлало свет.

КАССАНДРА

А!.. А!.. Увы, увy! Что я увидела?
Аида сеть! Секира!
Топор двуострый! С ним она, с убийцею,
Давно спала!
Демон семьи, раздор², жадный, ликуй. Вдыхай
Крови дым! Грех свершен.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Страшилище какое ты на черный пир
В палаты заклинаешь? Безотраднa весть!

ХОР

Ужас объял меня, и бледноликий страх
Грудь леденит... Таков, видно, предсмертный хлад,
Что костенит бойца в миг, когда тухнет свет
И западает жизнь.

КАССАНДРА

А!.. А!.. Вот, вот... Держи! Прочь от быка гони
Корову! Рог бодает...
Рог черный прободает плоть, полотнами
Обвитую!
В хитрых тенетах он!.. Рухнул в купальне, мертв...
Выкупан в бане гость.

¹ По Эсхилу убийство Агамемнона произошло так. Клитемнестра предложила ему выкупаться в ванне и при его выходе из нее набросила на него простыню (или хитон без рукавов), а затем, схватив секиру, нанесла ему один за другим три удара.

² *Раздор* — он же и *Аластор*.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Гаданий сокровенных не разгадчик я,
Но все же сердце чует вещь зловещую...

Хор

Но из провидцев кто смертным добро вещал?
Кто нагадал не зло? Слов прорицательных
Мало ли слышал? Все скорбь сулят, все грозят
И нагоняют страх.

КАССАНДРА

Увы, горемычную, ждет меня лютый час¹.
Плач по себе творить срок настал вещунье.
Зачем привел ты пленницу, владыка мой²,
В сей дом? Чтоб вместе смерть принять? За чем иным?

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Богом обьятая, что, иступленная,
Зришь впереди, душа?
Что поёшь? Смерть свою? Серый
Так соловей зовет:
«Итис мой! Итис где?»³
Стонет он долгий век; но не насытится
Песнею грусть-тоска!

¹ Третье видение Кассандры — ее собственная смерть от руки той же Клитемнестры, которая видела в ней (справедливо или нет, это поэт оставил под сомнением) любовницу своего мужа.

² *Владыка мой* — здесь Агамемнон.

³ Намек на популярный в Афинах миф о царевне афинской Прокне, выданной за фракийского царя Теря. Варвар-муж обесчестил ее сестру Филомелу; мстя за двойное оскорбление, она в вакхическом иступлении убила своего малютку-сына Итиса и угостила его плотью мужа, после чего боги обратили ее в соловья (по-гречески *ae-don* — женского рода). Песнь соловья — жалоба Прокны об убитом сыне.

КАССАНДРА

Блажен соловья удел: звонкою встарь его
Птичкой пернатою обернули боги
И сладкогласной даровали легкий век;
Мне ж — от секиры обоюдоострой пасть.

ХОР

Страшного веденья муки напрасные
Кто из богов тебе
В горький дар, дева, дал? Ужас
Кто выкликать в бреду
Нудит плен этих уст,
Стройный меня лад с воплями? Кто вдохнул
Яростный в перси вихрь?

КАССАНДРА

Увы, Парисов брачный пир — родине пагуба.
Увы, Скамандр, отчий святой поток
Светлый, у струй твоих вспоена, вскормлена
Я, бесталанная!
Но милой жизни срок сочтен: зовет Коцит
Иль Ахерон вещунью — прорицать теням.

ХОР

Ясною речью вдруг заговорила ты:
Младенец понял бы тебя.
Сердце ужалила жалоба горькая,
Доля бездольная — вещей твой жуткий плач,
Жалость и страх в душе.

КАССАНДРА

О Трои, Трои день страстной, гибель конечная
Вы, отчие жертвы богатые,
Посереды кремля жертвы стотельчие,
Жертвы напрасные!
Твердынь родимых не спасли вы, тучные!
А ныне жаркой жертвой пасть — черед за мной.

Хор

С прежнею новая речь согласуется:
 Напавшим ярым демоном
 Грудь одержимая черную смерть поет.
 Мощно владеет он сей душой, тяжкий гость!
 Чем-то все кончится?

Кассандра после долгой внутренней борьбы уходит во дворец. Вскоре оттуда раздается предсмертный крик пораженного царя; затем выходит Клитемнестра и объявляет, что она убила мужа — за Ифигению — и Кассандру.

В страстном КОММОСЕ — заменяющем ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ, — хор проклиняет убийцу, но наказать ее он не в силах.

В ЭКСОДЕ во главе вооруженных телохранителей появляется Эгисф и, как новый муж царицы, овладевает престолом.

Хорфору

ПРОЛОГ. Молитва Ореста на могиле Агамемнона; при нем безмолвный Пилад. Приближение хора заставляет обоих отойти в сторону.

ПАРОД. Хор — прислужницы Клитемнестры — объясняет цель своего появления: царице приснился страшный сон, она отправила их с возлияниями на могилу мужа.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Приношение возлияний с молитвой Электры; при этом Электра находит следы, в которых готова признать следы брата. Орест возвращается и открывается сестре. В длинном КОММОСЕ — заменяющем ПЕРВЫЙ СТАСИМ, — оба вместе с хором оплакивают отца.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Орест открывает сестре и хору свой план действия, после чего все, кроме хора, расходятся.

ВТОРОЙ СТАСИМ. По поводу совершенного Клитемнестрой злодеяния хор вспоминает родственные.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Орест под видом чужестранца вызывает Клитемнестру и сообщает ей о его же, Ореста, смерти; Клитемнестра приглашает его в мужскую половину и посылает его старую няню Килиссу за отсутствующим Эгисфом, жалоба Килиссы о смерти своего питомца.

ТРЕТИЙ СТАСИМ. Хор призывает благословение богов на Ореста.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Из мужской половины слышатся предсмертные вопли Эгисфа; выходит Орест и сталкивается с вбежавшей из женской половины Клитемнестрой; она узнает сына. Он велит ей отправиться внутрь дома, чтобы там принять смерть.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ. Хор приветствует имеющее совершиться дело возмездия как избавление дома.

ЭКСОД. Орест приказывает вынести оба трупа и оправдывается. Хор признает его дело правым. Тем не менее он видит появляющихся ему одному Эриний и, преследуемый ими, бежит.

Евмениды

ПРОЛОГ. Сцена в Дельфах. Молитва Пифии перед священнодействием. Войдя в храм, она снова выбегает, он осквернен присутствием убийцы и каких-то спящих чудовищ. Открывается внутренняя часть храма: в креслах спят Эринии, посередине Орест с Аполлоном и Гермесом. Аполлон отправляет Ореста для суда в Афины. Орест уходит, сопровождаемый Гермесом. Появляется призрак Клитемнестры и будит Эриний.

ПАРОД. Пробуждение и жалобы Эриний.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Аполлон приказывает им покинуть его храм, что они и делают. Сцена пуста. Действие переносится в Афины. Орест молится у кумира Паллады.

ЭПИПАРОД. Вторичное появление Эриний. Вторая молитва Ореста. Хор в ожидании прихода Паллады поет Оресту (в ПЕРВОМ СТАСИМЕ) знаменитый «вяжущий гимн» (*hymnos desmios*), вкратце переданный Шиллером в его балладе «Ивиковы журавли», известной и русскому читателю по переводу Жуковского.

ХОР

Матерь Ночь! На казнь, о мать,
Ночь, меня родила ты
Тьмы слепцам, жильцам свет.
Слышишь, мать? Сын Лето
Власть мою мнит умалить!
Ловчей лов отнял он...
Мать убил — пойман был —
Им владеть претит мне бог!
Песнь мы поём: ты обречен!
Мысли затмит, сердце смутит
Дух сокрушит в тебе гимн мой —
Гимн Эриний, страшный гимн.
Пеньем скован, иссушен,
Кто безлирный слышал гимн.

Ты, насквозь разящая,
Рок мой выпряла, Мира!
Я ж обет дала крепкий.

Править сыск лютых дел,
Гнать, ловить лиходея.
Слышит он по пятам
Черный смерч. Он в Аид —
 Я за ним: навек он мой!
 Песнь мы поём: ты обречен!
 Мысли затмит, сердце смутит,
 Дух сокрушит в тебе гимн мой —
Гимн Эриний, страшный гимн!
Пеньем скован, иссушен,
Кто безлирный слышал гимн¹.

Мне от рождения
Жребий властительный
 Выпал:
Лишь на бессмертных мне
Рук наложить нельзя:
 Нет мне
И сотрапезника жертвы.
 Пир и веселие,
 Пеплосы белые
 Мне ненавистны;
 Праздничный запрещен сонм.
 Домы рушить мне дано.
 Если в роду вскормлен Арес²,
 Мнят — приручен, вдруг — осерчал,
 Друга загрыз, брызнула кровь,
 Мы налетим, как буря!
 Будь он силач, изникнет мощь.
Тех, чей в эфире дом,
Гнать мне не по сердцу:
 Мир им.
Их не касаемся,
Не состязаемся с ними
 Тяжбой о царственных льготах.

¹ Разумеется вечная кара на том свете. У Эсхила, питомца элевсинской Деметры, об этом говорится только в виде темных намеков.

² *Ручным Аресом* назван демон коварного убийства у домашнего очага, в противоположность к Аресу — богу войны.

Зевс из палат своих
Наш ненавидимый,
Каплющий кровью,
Удалил навеки сонм.

Гордо блещут
В небе безоблачном славы:
Миг — и, низринуты,
С дольным сравниются прахом, —
Стоит лишь в дом войти
В черных лохмотьях нам, воем
Вторая пляске круговой,
Коло замкнув, дико скачу,
Тяжкой стопой землю топчу.
Резвую прыть бег утомил:
Шаток мой шаг, грузен мой шаг:
Тяжко шествует Ата.

Сам не знает
Гордый, что падает: слеп он,
Грех надмевающий
Ткет затмевающий облак.
Люди ж догадливы,
Люди приметливы — шепчут:
«Грозовой над домом гнев!».

Дождешься нас — в грозный час.
Мы знаем путь, мы знаем цель,
И зло, все зло — помним,
И не прощаем: святы мы.
Ни чести нет нам, ни места нам нет
Ни меж людей, ни у богов.
Не светит свет в дом наш,
Нет в неприступную пустынь дороги
Зрячим дня, ни тьмы слепцам.

Не устрасась в сердце, кто
Душой впивал эту песнь,
Глубинных правд голос,

Устав начальный древних Мир,
 Скрепленный клятвою высших богов?
 На камне нерушимых прав
 Века стоит трон мой.
 Нет недостатка и в почестях царских
 Мне под покровом вечной тьмы.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Появление Афины. Она расспрашивает и Эриний и Ореста о цели их прихода; считая дело слишком важным для единоличного разбирательства, она уходит, чтобы призвать лучших из своих граждан.

ВТОРОЙ СТАСИМ. Значение предстоящего суда.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Афина возвращается с гражданами. Появление Аполлона как помощника Ореста по суду. Эринии допрашивают Ореста. Свидетельство Аполлона. Устав от Афины Ареопагу. Голосование. Подсчет голосов. Орест объявляется оправданным при равенстве голосов.

КОММОС, заменяющий ТРЕТИЙ СТАСИМ. Эринии озлоблены. Афина их уговаривает. Эриниям, под именем Евменид, учреждается культ в пещере под скалой Ареопага.

§ 23. Софокл. — Оставление трилогического принципа.
 — Экспозиция, сцена виновности, перипетия, катастрофа,
 развязка. — «Антигона». — «Трахинянки». — «Аянт». —
 «Царь Эдип». — «Электра». — «Филоклет»
 и «Эдип в Колоне». — Достижения

Его преемником был *Софокл* (495–405), только в своем детстве и отрочестве воспринявший впечатление освободительной войны, настоящий поэт пятидесятилетия и особенно блестящей эпохи Перикла, но в своей девяностолетней жизни переживший и горькие для всеэллина опыты Пелопоннеской войны, счастливый только тем, что умер до ее роковой для Афин развязки. Продолжительности его жизни соответствовала и плодovitость его творчества: он написал около ста двадцати драм, или тридцати тетралогий, из коих значительная часть была удостоена первой награды его преданными и благодарными согражданами; нам, к сожалению, и от этого богатства осталось только *семь трагедий*. Правда, приговор

этот не окончателен: Софокл все-таки читался во вселенскую эпоху усерднее Эсхила, и египетские папирусы возвратили нам, помимо ряда ценных отрывков, также половину его сатирической драмы «Следопыты» (*Ichneutai*)¹.

Как видно из сказанного, и Софокл, подобно своему предшественнику, объединял в дионисических состязаниях по три трагедии с сатирической драмой в тетралогии: но с трилогическим принципом Эсхила он, хотя и не сразу, порвал. Не сразу: действительно, и от его раннего периода нам трагедий не сохранилось, а между тем именно в этом раннем периоде он — по достоверному свидетельству — был учеником Эсхила, с которым он соперничал в течение последнего десятилетия его творческой жизни (468–458). И можно даже сказать, что оставление им — вероятно, уже после смерти учителя — его трилогического принципа было последствием его же великих реформ; после того как Эсхилу удалось ввести трагический драматизм в каждую отдельную трагедию, уже не было надобности объединять три последовательных трагедии в одну великую трагедию-трилогию вроде «Фиваиды» или «Орестей». Зато, жертвуя трилогическим принципом, Софокл поставил к себе другое строгое требование: достигнуть того, чтобы каждая трагедия была в себе закончена, имея собственную завязку и развязку. Мы видели, как беззаботны были в отношении этой законченности лирические поэты; даже Эсхил позволяет себе иногда, в расчете на знание зрителями родной мифологии, вводить в исход трагедии новый мотив, не находящий в ней развития (в «Семи» — решение Антигоны похоронить Полиника в послушание запрета). Софокл первый в этом отношении безукоризнен.

Правда, ограниченный объем античной трагедии (средним числом 1500 стихов) не позволяет в рамке одной пьесы представить и трагическую вину, и возмездие, как это делает, например, Шекспир в «Макбете». Софокл исправно

¹ Новейшее издание этой сатирической драмы см. в кн.: Ф. Ф. Зелинский. Еврипид и его трагедийное творчество: Научно-популярные статьи, переводы, отрывки. Сост. и предисл. О. А. Лукьянченко. СПб.: Алетейя, 2017, 444 с.

предполагает эту вину уже состоявшейся и только в особых ранних сценах («сцена виновности») спасает психологически ценный элемент вины для характеристики виновного. Эта новая жертва требует особенно заботливой «экспозиции» в прологе, который у Софокла — как, впрочем, зачаточно и у Эсхила — носит обязательно драматический характер. Итак, экспозиция, сцена виновности — а затем уже надвигается трагическое возмездие, приносящее нередко после обманчивой радости одних, беспричинного горя других — крутой перелом («перипетию»), ведущий к «катастрофе», после которой полнота трагического сострадания и страха находят себе разрешение в «развязке». Особенно велик Софокл в перипетии; она имела своим предположением осложнение драматизма, ради которого поэт прибавил к двум актерам Эсхила еще одного и сократил объем хорических песен. Дальше этого числа актеров греческая трагедия не пошла; это значило, что только три действующих лица могли присутствовать на сцене одновременно. Противоположностью стала впоследствии пестрота персонала у Шекспира; но развитие новейшей трагедии скорее говорит в пользу психологической правоты античной.

Окидывая взором сохранившиеся семь трагедий Софокла, мы убеждаемся, что вершина достигнута: на пространстве почти сорока лет между самой ранней для нас «Антигоной» (в 40-х гг.) и посмертным «Эдипом в Колоне» прогресса меньше, чем за четырнадцать лет в последних трагедиях Эсхила. Уже «Антигона» представляет собою в своем роде совершенство: великодушному порыву героини, решившей, вопреки запрету нового царя Креонта, похоронить своего брата Полиника, павшего в братоубийственном единоборстве с Этеоклом, соответствует мрачный героизм этого Креонта, настаивающего на исполнении своего законного приказа, несмотря на то, что последовательно и кроткая сестра ослушницы Исмена, и его собственный сын Гемон со всей фиванской молодежью, и даже боги устами своего пророка Тиресия высказываются против него. Лишь боязнь потерять своего сына сокрушает его упорство. Но уже поздно: и Антигона, и Гемон покончили с собой, оставляя непреклонного царя одиноким в своем дворце.

В своих «Трахинянках» поэт преобразил героиню киклического эпоса «Взятие Эхалии» Деяниру, сделав ее «самой благородной супругой, когда-либо появившейся на античной сцене» (Э. Роде). Не ревность, нет — только желание вернуть себе потерянную любовь Геракла заставляет ее послать ему роковой плащ, намащенный кровью кентавра Несса, в которой она, доверяя лстивым речам коварного чудовища, видела могучее любовное средство; став невольной мужеубийцей, она сама прощается с жизнью.

В «Аянте» он, следуя «Малой Илиаде», превращает угрюмого богатыря в настоящего героя трагедии чести: оскорбленный в «суде о доспехах» Ахилла, он пылает жаждой безумной мести, но именно безумие этой жажды отвлекает его от ее цели: воображая, что он убивает врагов, он обагрят свой меч кровью бессловесных животных. Став посмешищем и для врагов и для себя, он добровольно расстается со своей опозоренной жизнью.

Это — три ранние для нас его трагедии, относящиеся еще к эпохе Перикла. Начало Пелопоннесской войны ознаменовалось враждою афинян к дельфийскому Аполлону, покровителю Спарты. Благочестивый Софокл противопоставил этой вражде трагедии своего среднего для нас периода, которые мы можем назвать дельфийскими. В своем «Царе Эдипе» он преклоняется перед непреложным знанием Аполлона, которого он, хотя и не впервые, поставил в центр событий, заменяя им киферонскую Геру киклической «Эдиподеи». Не только Лаию, и самому Эдипу дано Аполлоном пророчество об отцеубийстве; оба делают все от них зависящее, чтобы предотвратить его исполнение, — и каждый шаг только приближает его. Когда трагедия начинается, страшное дело уже совершилось: Эдип уже пятнадцать лет назад убил своего неузнанного отца и столько же времени состоит мужем своей неузнанной матери. Посланная Аполлоном чума приводит к открытию: медленно нарастает ужас — в загадочных прорицаниях Тиресия, во взаимных признаниях супругов, наконец, в показаниях обоих участников устранения Лаиева младенца — действительно, Софокл очень искусно разделит знание правды между двумя

лицами, фиванским пастухом, отнесшим новорожденного на пограничный Киферон, и коринфским, принявшим его и отдавшим для усыновления коринфскому (не сикионскому) царю. И тут, наконец, наступает уничтожающая развязка.

Непреложную благодать дельфийского бога Софокл прославил в «Электре», в которой он возобновил «Хоэфоры» Эсхила, но с другой тенденцией. Орест оправдан тем, что исполнил приказание Аполлона; никакие Эринии не смущают его пока, он остается царем освобожденных им от преступной четы Микен.

К позднему периоду жизни поэта принадлежат «Филоклет» и «Эдип в Колоне». В первом он внес психологический интерес в простое действие о возвращении героя к покинувшим его ахейцам под Троем, что представил его делом двух несхожих по характеру людей: Одиссея и Ахиллова сына Неоптолема. Бесхитростный юноша вначале поддерживает коварный план своего искушенного жизнью товарища, желающего обманом увести гневного Филоклета в ахейский стан; но силы ему изменяют. Он открывает ему всё, и бог награждает успехом его правдивость.

Во второй, последней трагедии 90-летнего старца, дается новый, благоговейный исход ужасной судьбе фиванского страдальца, вразрез с киклическим эпосом, но согласно преданию Колона, родного села поэта. Престарелый Эдип, ведомый своей самоотверженной дочерью Антигоной, становится гостем афинского царя Тесея в Колоне и заживо принимается разверзшейся под ним землей, чтобы стать отныне источником таинственной благодати для приютившей его аттической страны.

Прогресс в этом развитии, повторяю, мало заметен; мы судили бы об этом, вероятно, иначе, если бы нам были сохранены трагедии действительно раннего двадцатипятилетия. В них поэт постепенно достигал той вершины, на которой нам его представляет «Антигона», постепенно преодолевая те несовершенства, которые мы отметили у его предшественника; теперь они преодолены. Достигнута последовательность не только в повествовании, но и в рассуждении: знаменитой

речи Одиссея в «Илиаде» мы можем противопоставить столь же расчлененную речь в «Аянте», в которой герой доказывает себе необходимость самоубийства, или жреца в «Царе Эдипе», убеждающего героя помочь пораженной чумою стране. Но и Софокл, подобно Гомеру, сознает, что расчлененные речи допустимы только при спокойном настроении и при возможности предварительного размышления, страсть же внушает слова прекрасные и сильные в своей беспорядочности, вроде крика отчаяния обманутой Деяниры или обманутого Филоктета. Равным образом и шкала характеров дополнена: наряду с лицами суровыми в добродетели и пороке, мы встречаем и кроткие — Исмему рядом с Антигоной, Неоптолема рядом с Одиссеем. Развитие и оттенение в частностях остается возможным и впредь, но основание положено.

ОБРАЗЦЫ

СОФОКЛ

1. Антигона

ПРОЛОГ. Антигона вызывает свою сестру Исмему на площадь перед дворцом Креонта и, сообщив ей о запрете хоронить Полиника, предлагает ей вместе оказать погибшему эту почесть. Робкая Исмена отказывается. Антигона уходит.

ПАРОД. Приходят старцы хора, приглашенные Креонтом в совет.

Строфа I

Хор

Здравствуй, Солнца желанный луч!
Краше всех просиявших зорь
Над Дирцеи святым руслом¹
Ты сверкнул, золотого дня
Ясный взор, после долгой мглы

¹ *Дирцея (Dirke)* было имя ручья, протекавшего через Фивы и впадавшего в Исмен.

Свет неся семивратным Фивам!
Ты же, жгучей шпорой вонзаясь,
Вражью рать о белых щитах,
Что к нам Аргос в бой снарядил,
В бегство двинул быстрее.

Поднялась она гордо на нашу страну,
Под грозой Полиниковых гневных речей.
Как блистали доспехи, как веял султан!
Так парит над землею могучий орел:
Белоснежные крылья колышут его,
И угрозой с небес
Его яростный крик раздается.

Антистрофа I

Над чертогом повис Орел;
Лесом гибельных копий он
Обложил семивратный вал.
Но вкусить не пришлось ему
Нашей крови, и смольный огонь
Не коснулся венца твердыни.
Вспять направил гордый он лёт,
За спиной услышав своей
Шип зловещий: хищник узнал
Силу бранную Змея¹.

Ненавидит надменных речей похвальбу
Правосудный Зевес. Он заметил поток
Необорный мужей и бряцающих лат
Золоченую спесь — и у грани самой
Огневицей перуна врагов ниспроверг,
Уж разверзших уста
Для ликующей песни победы.

¹ *Аресов змей* был по преданию хранителем источника Дирцеи; Кадму, основателю города, пришлось его убить. Он потому был как бы символом Фив.

Строфа II

В гулком паденье поверженный огненосец¹
Землю ударил. Дышал он безумной злобой:
Словно смерч-лиходей,
Мнил смести он державный град.
Такой ему жребий пал;
Смертью иной прочих сразил
Бурный Арес, наш покровитель
Благоусердный².

И седмица вождей у ворот семерых,
Что доверилась удали в равном бою,
Свои латы оставила Зевсу побед.
Лишь они, нечестивцы, что, крови одной
По отцу и по матери, копья свои
Друг на друга направили, — смерти одной
Испытали совместную горечь.

Антистрофа II

Нам же дарует всеславный венец Победа,
Светлая гостья царицы ристаний Фивы³,
Чтоб забвения мглой
Войн годину покрыли мы.
Пусть пляски вихрь в тьме ночной
Радости мзду в храмы несет;
Ты ж, Дионис, будешь нам в Фивах
Царь хороводов!

Но я вижу владыку родимой страны,
Менекеева сына Креонта: сам бог
Ему царство недавним решением вручил.

¹ *Огненосец* — Капаней, один из семи аргосских вождей, самый надменный из всех. Приставив лестницу к стене, он с факелом в руке стал взбираться по ней, похваляясь, что он сожжет город даже против воли богов. За эту похвальбу Зевс поразил его молнией.

² *Арес* здесь в двойной роли, и как бог войны, и как покровитель Фив (он был отцом Гармонии, на которой женился Кадм).

³ *Фива* — нимфа, давшая имя городу. О конных ристаниях в его области говорит уже Гомер; на них Победа была постоянной гостьей.

Он идет. Что за думы волнуют его?
Знать, не даром он старцам гонцов разослал
И в совет их державный на площадь зовет
Принуждением царского слова!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Манифест Креонта старцам о своем вступлении на престол и решении относительно похорон. Появление стража от трупа Полиника с сообщением, что обряд символических похорон над ним уже совершен неизвестным. Креонт требует, чтоб виновный был ему представлен.

ПЕРВЫЙ СТАСИМ. Песнь старцев в честь государства как венца и предела человеческих стремлений.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Страж приводит Антигону; ее допрос Креонтом. Он велит привести и Исмену, подозревая в ней соучастницу. Приговор Креонта: ослушнице — казнь.

ВТОРОЙ СТАСИМ. Песнь о родовом грехе (Аласторе).

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Сын Креонта Гемон приходит сообщить ему, что настроение народа в пользу Антигоны и против него; после спора с отцом он в отчаянии уходит. Креонт велит заключить Антигону в подземелье, обрекая ее голодной смерти.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Антигону приводят; ее предсмертный плач.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ. Песнь утешения с припоминанием подобных заключений в прошлом.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ. Приходит вещатель Тиресий сказать Креонту, что боги гnevаются на него за оскорбление земли непогребением трупа Полиника. Креонт отказывает ему в доверии, объявляя его подкупленным.

В нижеследующем диалоге мы имеем образчик *стихомифии*. Выдержки из диалогов Софокла и Еврипида переведены *белыми стихами*, хотя в подлиннике они написаны триметрами, так же как и диалоги Эсхила.

ТИРЕСИЙ
(спокойно, со старческой добротой)

Эх, люди!
Кто точно взвесит, кто из вас рассудит...

КРЕОНТ
(презрительно)

О чем вещаешь снова ты, старик?

ТИРЕСИЙ

Насколько лучший дар — благоразумье?

КРЕОНТ

Настолько худший — неразумье, мнится.

ТИРЕСИЙ

Своей болезни сущность ты назвал!

КРЕОНТ

(пожимая плечами)

Не стану бранью отвечать пророку.

ТИРЕСИЙ

А кто сказал, что я в вещаньях — лжец?

КРЕОНТ

Волхвам стяжанье свойственно бывает,

ТИРЕСИЙ

(вспыхивая)

А произвол разнузданный — царям!

КРЕОНТ

Ты с государем говоришь! Забыл?

ТИРЕСИЙ

Нет, помню: мне же царством ты обязан¹.

КРЕОНТ

О, мудр ты, мудр: когда б и честен был...

¹ Тиресий предсказал Креонту, что Фивы одолеют врагов, если юноша царской крови пожертвует собой. Это исполнил по воле отца Мегарей, один из обоих сыновей Креонта.

ТИРЕСИЙ
(приходя все более в гнев)

В душе моей вещаний нерушимых
Глубь шевельулась; не гневи меня!

КРЕОНТ

Пусть шевелится; лишь бы не за плату.

ТИРЕСИЙ

Так впрямь продажен я? Ты так сказал?

КРЕОНТ

Сказал, что царским словом не торгуют!

ТИРЕСИЙ

Запомни же. Немного вех ристальных
Минуют в горних Солнца бегуны —
И будет отдан отпрыск царской крови
Ответной данью мертвецам — мертвец¹.
Ты провинился дважды перед ними:
Живую душу, дочь дневного света,
В гробницу ты безбожно заключил,
А тьмы подземной должника под солнцем
Удерживаешь, не предав могиле²
Нагой, несчастный, полный скверны труп.
Он не тебе подвластен и не вышним —
Ты заставляешь их его терпеть!
И вот, покорный Аду и богам,
Уж стелет сеть нещадного возмездья
Эриний сонм — и ты падешь в нее,
Равняя кары и обиды чаши.
Корысть вещанье мне внушила, да?
Дай срок: ответят из твоих покоев

¹ Намек на предстоящее самоубийство второго сына, Гемона.

² Антигона и Полиник. Отметить строгое разграничение прав вышних и подземных богов.

Мужчин и женщин стоны за меня.
И города соседние возропщут
В бурливых сходах на тебя, в чьих стогах
Голодный пес, иль дикий зверь, иль птица
Тлетворной плоти клочья схоронили,
Бесчестя смрадом чистый двор богов.
Стрелком меня назвал ты¹. Верно; в гнев —
Его ж ты вызвал — много горьких стрел
Пустил я в грудь твою. Не промахнулся
Мой лук: от их ты жара не уйдешь.

(Мальчику)

Меня же, сын мой, в путь води обратный.
Я стар — его отваге не товарищ.
Пусть бог тем временем даст мир мятежным
Его речам и доброту душе.

Уходят. Все потрясены. Пауза. Первый старец подходит к Креонту.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Пророк ушел; пророчество осталось
Ужасное. Прошло немало лет
С тех пор, как кудри черные мои
Засеребрились; но вещаний лживых
Я не запомню от него, Креонт.

КРЕОНТ

Сказал ты правду; я и сам смущен.
Что ж, уступить?.. Ах, больно! Но больнее
В несчастья цепи душу заковать.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Благоразумью следуй, государь!

¹ Намек на горькие слова Креонта выше: «О старче, старче, все вы, как стрелки, себе мишенью грудь мою избрали...»

КРЕОНТ

Что делать? Молви! Я на все согласен.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Освободи из подземелья деву;
Погибшего могилою почти.

КРЕОНТ

Так должен поступить я? Вправду так?

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Да, государь, не медля. Рок не ждет;
Колеблющихся быстро настигают
Быстрейшие из духов — божьи Кары.

КРЕОНТ

Ах, трудно побороть души упорство,
Но делать нечего: в неравный спор
С Необходимостью вступать — безумье.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

Иди же, царь, и сам возмись за дело,
Не доверяй его чужим рукам!

КРЕОНТ

Немедленно пойду. Скорее, слуги!
И те, что здесь, и прочие: секиры
Возьмите, и вперед — на скорбный холм¹.

Челядь Креонта быстро высыпает из дому, исполняя его приказание.
Площадь наполняется.

А я...

¹ То есть к месту, где лежал труп Полиника, чтобы сжечь его на костре.

Отступает, будучи не в силах побороть свою гордость. Умоляющие движения старцев заставляют его опомниться. С отчаянной решимостью.

И я пойду за вами. Узел
Я сам стянул — сам развяжу его
И выпью всю до дна смиренья чашу.

(*Старцам*)

Вы правы: лучше доживать нам век свой,
Щадя народной совести закон.

Уходит вместе с челядью по направлению к полю. Радостное волнение у старцев.

ПЯТЫЙ СТАСИМ (*перипетия*). Бодрая песнь хора к Дионису по случаю избавления от ужасов.

ЭКСОД. Вестник рассказывает о происшедшем за сценой. Полиника они похоронили, но к освобождению Антигоны опоздали: она покончила с собой, не желая дожидаться медленной смерти; и Гемон, нашедший путь в ее подземелье, убил себя на глазах отца. Жена Креонта Эвридика, при которой все это рассказывается, молча удаляется во дворец. Приходит Креонт с трупом сына; ему докладывают о добровольной смерти жены; его отчаяние.

2. Царь Эдип

ПРОЛОГ. Просительство (гикесия) фиванских детей и отроков к Эдипу об избавлении города от чумы.

СТАРШИЙ ЖРЕЦ

Эдип, властитель родины моей!
Ты видишь сам, всех возрастов пришли мы
И собрались у алтарей твоих.
Там — малолетки: долгого полета
Их крылышки не вынесут еще.
Здесь — под обузой старости жрецы
Богов родимых (Зевсу я служу).

Там — молодежи цвет. Народ толпами
На площадях увенчанный сидит,
У двух святилищ девственной Паллады
И над Имена вещью золой¹.
Зачем мы здесь? Ты видишь сам: наш город
Добычей отдан яростным волнам;
С кровавой зыбью силы нет бороться,
Нас захлестнула с головой она.
Хиреют всходы пажитей роскошных;
Подкошенные, валятся стада;
Надежда жен в неплодном лоне гибнет;
А нас терзает мукой огневицы
Лихая гостя, страшная чума.
Дом Кадма чахнет от ее дыханья,
А черный Ад богатую взимает
С него стенаний и мучений дань.
Не бог ты, знаю. Не как к богу мы
К тебе пришли — и я, и наши дети —
И к очагу припали твоему.
Но из людей для нас, Эдип, ты первый,
И в злоключеньях жизни безрассчетных,
И в ниспосланных грозных божества.
Не ты ль уж раз, пришедши в город Кадма,
Освободил нас от жестокой дани,
Что мы певиче ужасов несли?²
А ведь никто из нас тебе загадки
Не разъяснил; ты божиим внушеньем
Ее постиг и спас страну от бедствий —
Так говорит, так верует народ.
И вот теперь — о мудростью венчанный
Среди царей — мы все с мольбой усердной
К тебе пришли: *найди спасенья путь*,
Тебе ведь внемлет бог с небесной выси,
Тебе открыты помыслы людей.

¹ То есть у храма Аполлона на Имене (фиванской реке), где гадали по огненным знакам жертвоприношений.

² Намек на Сфинкса.

Твой опыт почве благодатной равен:
Решений всхожесть он блюдет для нас.
Спаси ж наш град, о добрый среди добрых,
Спаси и славу мудрости своей.
Теперь за то давнишнее усердье
Ты исцелителем земли сливешь;
О, да не скажет про твою державу
Потомков наших память навсегда:
«При нем мы свет увидели желанный,
При нем нас гибели покрыла мгла».
Нет — стань навеки нам творцом спасенья!
То знаменье счастливое, что в город
Тебя ввело, — да осенит тебя
Оно и ныне. Коль и впредь ты хочешь
Страною править — пусть мужей своих
Тебе на славу сохранит она;
Ведь нет оплота ни в ладье, ни в башне,
Когда защитников погибла рать.

Эдип объявляет, что он уже отправил своего шурина Креонта в Дельфы с вопросом богу. Приход Креонта: бог повелевает наказать изгнанием или смертью того, кто (лет пятнадцать назад) убил Лаия. Эдип обещает исполнить волю бога. Просители уходят.

ПАРОД. Песнь о чуме.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Манифест Эдипа с проклятием убийце. Совет хора послать за Тиресием, чтобы обнаружить убийцу. «Уже исполнено по предложению Креонта». Приход Тиресия; его отказ. Гнев Эдипа: «Видно, Тиресий сам причастен к убийству». Гнев Тиресия: «Убийца — ты». Исступление Эдипа: «Твоя речь внушена тебе Креонтом, желающим моего изгнания, чтобы занять мое место». Уход Тиресия.

ПЕРВЫЙ СТАСИМ. Тревожная песнь хора, отказывающегося верить Тиресию.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Приход Креонта. Его самооправдание и недоверие Эдипа. Приход Иокасты. Заступничество ее и хора за Креонта. Креонт, прощенный, уходит. Следует знаменитая *сцена двойного признания*.

ИОКАСТА

Скажи же ты, Эдип, мне, ради бога:
Зачем ты гневом воспылил таким?

ЭДИП
(видимо тронутый)

Скажу: ты мне священнее, чем им¹.
Из-за измены я вскипел Креонта.

ИОКАСТА
(с недоумением)

Какой измены? Не ошибся ты?

ЭДИП
Назвал меня он Лаия убийцей!

ИОКАСТА
(удивленная)

Со слов других? По собственной догадке?

ЭДИП
О нет, себя он бережет от бед:
Кудесника он подослал злодея!

ИОКАСТА
(внезапно вспыхивая)

О, если так — освободи от страха
Свой ум, Эдип, и от меня узнай,
Что нет для смертных ведовской науки.
Тому я довод ясный укажу.
Однажды Лаий — не скажу: от Феба,
Но в Дельфах от гадателей его...

¹ Намек на отказ хора рассказать Иокасте о причине спора.

Смущение и ропот среди старцев.

Ужасное вещанье получил,
Что смерть он примет от десницы сына,
Рожденного в законе им и мной.
И что ж случилось? Лаий у распутья,
Где две дороги с третьею сошлись,
Разбойниками был убит чужими!¹

Эдип вздрагивает. Иокаста, вся во власти своих воспоминаний, с гневным жаром продолжает, не замечая, что Эдип ее не слушает.

А мой младенец? От его рожденья
Едва зарделся третий луч зари —
И он его, сковав суставы ножек,
Рукой раба в пустыне бросил гор!
Да! Не заставил Аполлон малютку
Отцеубийством руки обагрить;
Напрасен страх был, Лаию внушенный,
Что от родного сына он падет;
Так оправдались вещие гаданья!
О них не думай! Если бог захочет —
Он сам сорвет с грядущего покров!

Эдип

(как бы очнувшись, дрожащим голосом)

Постой, жена... произнесла ты слово...
Оно всю душу потрясло мою.

Иокаста

Какое слово так тебя волнует?

Эдип

Сказала ты, что пал он у распутья,
Где две дороги с третьею сошлись?

¹ Спасшийся очевидец (см. ниже), он же и фиванский пастух, пустил этот лживый рассказ про шайку разбойников, чтобы оправдать свое бегство.

ИОКАСТА

Так молвили, да и поныне молвят.

ЭДИП

(с принужденным спокойствием)

Где ж эта местность? Где погиб твой муж?

ИОКАСТА

Земля Фокидой кличется, а местность —
Где путь двоятся в Дельфы и в Давлиду¹.

ЭДИП

(стараясь побороть волнение)

А сколько времени прошло с тех пор?

ИОКАСТА

То было... дай припомнить... незадолго
Пред тем, как ты объявлен был царем.

ЭДИП

(вскрикивая от душевной боли)

О Зевс! Что сделать ты со мной задумал!

ИОКАСТА

(в ужасе)

Эдип мой, друг мой! Что с тобой? Скажи!

ЭДИП

Постой, постой... Каков был видом Лаий?
Каких был лет в то время он? Ответь!

ИОКАСТА

Могуч; глава едва засеребрилась;
А видом был он *(всматриваясь в Эдипа)* — на тебя похож.

¹ Давлида — другой город Фокиды, часто враждебный Дельфам.

Старцы, невольно последовав примеру царицы, тоже всматриваются в Эдипа и в тихой беседе друг с другом подтверждают его сходство с покойным царем. Пауза. Правда пролетает мимо.

Эдип

(с возрастающим отчаянием)

О смерть! Ужель я, сам не сознавая,
Себя проклятью страшному обрек?

Иокаста

(робко)

Зачем? Мне страшно на тебя смотреть.

Эдип

Боюсь, боюсь — был выше меры зрячим
Пророк... Но нет! Еще одно скажи.

Иокаста

Сказать готова, хоть и страшно мне.

Эдип

С немногими пошел он, иль с отрядом
Телохранителей, как вождь и царь?

Иокаста

Всех было пять; один из них — глашатай.
Одна повозка Лаия везла.

Эдип

Ах, ясно все... так ясно! От кого же
Узнали вы про смерть его, жена?

Иокаста

Свидетелем единственным был раб,
Что спасся бегством от резни кровавой.

Эдип

А где живет он ныне? Во дворце?

Иокаста

О нет. Когда вернулся он, увидел
Тебя царем, а Лаия убитым —
К моей руке припав, он умолил
Услать его из города подальше,
На пастбища окраинные стад.
Я снизошла к мольбе его; и право,
Не будь рабом он, от меня б награду
И не такую заслужил злодей¹.

Эдип

Нельзя ль скорей его обратно вызвать?

Иокаста

Конечно, можно. Но на что тебе он?

Эдип

(нетерпеливо)

Боюсь, жена, — причин я слишком много
Тебе назвал желанья моего!

Иокаста

Да он придет! *(С нежным упреком.)* Но все ж и я достойна
Твою кручину разделить, Эдип.

Эдип

(мягко)

Достойна, друг мой; и кому ж доверить
Я мог бы страх встревоженной души?

¹ Для Иокасты этот человек был только убийцей ее дитяти. В лице Лаия он потерял свою поддержку, в Эдипе признал его убийцу; понятна его просьба и готовность Иокасты.

Кто ближе мне в судьбы моей невзгодах?
Мне был отцом Полиб, коринфский царь,
А матерью — дориянка Мeroпа.
На родине вельможей первым слыл я,
До приключения одного... Ему
Дивиться б мог я, но таких волнений
И розысков не стоило оно.
На пиршестве, напившись до потери
Рассудка, гость какой-то в пьяном рвенье
«Поддельным сыном моего отца»
Меня назвал¹. Вскипел я гневом; все же
Себя сдержал я в эту ночь. С зарей же
Пошел к отцу и матери, чтоб правду
От них узнать. Подвергли строгой каре
Обидчика они — на радость мне.
Но все ж сверлило оскорбленье душу:
Я чувствовал, как дальше все и дальше
Оно ползло.
И вот иду я в Дельфы,
Не говоря родителям ни слова².
Здесь Феб ответа ясного меня
Не удостоил; но в словах вещанья
Нашел я столько ужасов и бед —
Что с матерью преступное общенье
Мне предстоит, что с ней детей рожу я
На отвращенье смертным племенам
И что я кровь пролью отца родного...
Ах, столько горя предвещал мне бог,
Что я решил — отныне край коринфский
Любить с звездой небесной наравне
И бег туда направить, где б не мог я
Стать жертвою пророческих угроз.
И вот дошел я до тех мест, в которых —
Как молвишь ты — погиб покойный царь.

¹ Здесь важно заметить, что пьяные речи товарища не пошатнули уверенности Эдипа, что он сын Полиба.

² Он идет в Дельфы не для того, чтобы узнать свое происхождение — в нем он и так не сомневался — а для того, чтоб ясным свидетельством уличить своих врагов.

Мой друг, всю правду я тебе открою.
Когда уж близок был к распутью я,
Навстречу мне повозка едет, вижу.
И двое в ней: глашатай, позади же
Сидит другой... Такой же, как и тот,
Которого мне описала ты.
Они мне грубо крикнули — возница
И сам старик — чтоб я сошел с дороги.
Погонщика в сердцах ударил я
За неучтивость. То увидя, старец,
Мгновенье улучив, когда с повозкой
Я поравнялся — в голову меня
Двойным стрекалом поразил. Ответил,
Однако, мне не тем же он: с размаху
Я посохом его ударил в лоб.
Упал он навзничь, прямо на дорогу;
За ним и прочих перебить пришлось.
Но если между Лаием погибшим
И тем проезжим... есть какая связь —
О, кто несчастнее меня на свете,
Кто боле взыскан гневом божества?
Нет мне у вас ни крова, ни привета,
Вы гнать меня повинны все, повсюду,
И граждане, и пришлые. И сам я
Проклятье это на себя изрек!¹
И одр погибшего я оскверняю
Прикосновеньем той руки, что насмерть
Его сразила... Я ль не враг богов?
Я ль не порочней всех во всей вселенной?
Бежать я должен — и в несчастном бегстве
Не должен взором на своих почить,
Не должен родины своей коснуться,
Не то — грех с матерью, отца убийство,
Родителя и пестуна — Полиба!
О сколь жесток — простится слово правды —
Ко мне был бог, что так меня сгубил!

¹ Так сам Эдип в своем манифесте проклял убийцу Лаия.

В тоне горячей молитвы, поднимая руки к небу.

Нет, нет, не дай, о чистое светило,
Моим очам увидеть этот день!
Пошли мне смерть, но не клейми при жизни
Меня таким несчастья пятном!

Томительная пауза. Иокаста, смущенная, стоит молча, потупив взор. Старцы грустно перешептываются между собою; наконец, первый из них обращается к царю.

ПЕРВЫЙ СТАРЕЦ

И мы в тревоге; все ж, пока свидетель
Не выслушан — надежды не теряй!

Эдип

Своей надежде дал я срок недолгий —
Пока придет с окраины пастух.

ИОКАСТА
(уныло)

Что ж может дать отрадного тебе он?

Эдип

Пусть в показаньях он с тобой сойдется —
Тогда свободен от нечестья я.

ИОКАСТА

В каком же слове видишь ты опору?

Эдип

Он показал — так от тебя я слышал —
Что от разбойников погиб твой муж —
От шайки, значит. Коль и ныне то же
Покажет он — убил его не я:
Один прохожий не зовется шайкой.
А если путник одинокий будет

Показан им — тогда уж нет сомнений:
Убийства грех нависнет надо мной.

ИОКАСТА
(с радостным оживлением)

О, если так, то будь уверен: слово
О шайке той он произнес бесспорно.
Его обратно взять не может он:
Все слышали его, не я одна!

(После минутного раздумья, со злобой.)

Но если б даже от тогдашней речи
Отрекся он — вещаний он и этим
Не оправдает. Феб царю судил
От сына моего погибнуть; что же,
Убил его малютка бедный? Нет!
Он сам погибель до того отведал.
Нет-нет, не верю я гаданьям божьим:
Они с дороги не собьют меня.

Сильные знаки негодования со стороны старцев.

ЭДИП

Ты судишь здраво; все ж за очевидцем
Пошли гонцов — прошу тебя, пошли!

ИОКАСТА

Пошлю не медля. Но войдем в хоромы;
Во всем я рада услужить тебе.

Нежно берет Эдипа за руку и уходит с ним во дворец..

ВТОРОЙ СТАСИМ. Песнь о благочестии.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Иокаста, встревоженная беспокойством Эдипа, выходит помолиться Аполлону. Ее молитва как бы исполняется (перипетия): приходит гонец из Коринфа с вестью о смерти Полиба и избрании Эдипа его преемником. Радость Иокасты, что данное мужу прорицание

об отцеубийстве не оправдалось. Она посылает за Эдипом. Тот отказывается вернуться в Коринф из-за боязни греха с матерью. Тогда гонец ему объявляет, что он вовсе не сын Полиба и Меровпы, а принят ими (косвенно, через гонца) из рук фиванского пастуха — как оказывается, того самого, за которым было послано. Повторное желание Эдипа его расспросить, несмотря на предостережение Иокасты, понявшей теперь все (что Эдип — сын ее от Лаия).

ТРЕТИЙ СТАСИМ. Кто бы могли быть родители Эдипа?

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Приход фиванского пастуха. Из очной ставки его с коринфским гонцом все выясняется. Отчаяние Эдипа.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ. Плач по Эдипе.

ЭКСОД. Рассказ домочадца о самоубийстве Иокасты и самоослеплении Эдипа. Его плач о своей участи. Его прощание с Креонтом и дочерьми и (по первоначальной редакции) уход в изгнание на Киферон.

3. Эдип в Колоне

ПРОЛОГ. Слепой Эдип с Антигоной приходят в Колон. От местного жителя они узнали, что забрели в заповедную рощу Евменид. Эдип вспоминает, что по древнему пророчеству Аполлона ему именно там суждено найти упокоение, став источником благодати для страны.

ПАРОД. Приход старцев, ищущих осквернителя рощи Евменид. По их настоянию Эдип оставляет рощу, положившись на их слово, что никто его насильственно не уведет из страны. Хор его спрашивает, кто он: узнав его имя, приказывает ему покинуть Колон.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

Сцены первая и вторая. По просьбе Эдипа хор согласен отдать его участь на решение царя Тесея. Приход Исмены; ее рассказ о состоявшемся походе Полиника против Фив и об оракуле, что победит та сторона, к которой пристанет Эдип. Хор советует Эдипу умиловить Евменид; с этой целью Исмена отправляется в рощу.

Сцена третья (коммос). Исповедь Эдипа.

Сцена четвертая. Приход Тесея; он принимает Эдипа и уходит, поручив его охране хора.

ПЕРВЫЙ СТАСИМ. Песнь в честь Колона и Аттики.

Хор

Строфа I

В землю гордых коней, мой гость,
Ты пришел, красоты отчизну дивной —
В край цветущий Колона; здесь

День и ночь соловей поет;
 Звонко льется святая песнь
 В шуме рощи зеленой.
 Люб ему темнолистый плющ,
 Люб дубравы священной мрак,
 Кроткого бога листва многоплодная,
 Приют от бурь и зноя;
 Всегда с сонмом вакханок здесь,
 Всегда в пляске ночной резвясь,
 Кружится
 Он сам — Дионис желанный!

Антистрофа I

Здесь, небесной росой возвращен,
 Вечно блещет нарцисс красой стыдливой,
 Девы Коры венечный цвет¹;
 Вечно рдеет шафрана здесь
 Ярый пламень над пеной волн
 Вдоль ручьев неусыпных.
 В них Кефиса журчат струи;
 День за днем по полям они,
 Грудь орошая земли материнскую²,
 Живой играют влагой.
 И хор Муз возлюбил наш край³,
 И в златой колеснице к нам
 Нисходит
 Волшебница Афродита.

Строфа II

Есть и древо у нас — равного нет в Азии дальней,
 Нет и в тучных полях, коими царь
 Древний Пелоп некогда правил,

¹ Разумеются Деметра и Кора. Кора как раз собиралась сорвать прекрасный нарцисс, когда ее похитил Аид. С тех пор обе богини перестали украшать себя нарциссом.

² В видах искусственного орошения малодождной Аттики Кефис в своем нижнем течении был разделен на каналы.

³ В доме Софокла в Колоне был «кружок Муз», т. е. поэтов.

Природы дар, смертных рук не знавший,
Дружины вражеской гроза,
Земли родной отпрыск благодатный,
Кроткий пестун детей — дерево маслины¹.
Ни стар ни млад рук ударом дерзких
Век не сгубит его: видит врага
Сну непокорный и день и ночь
Зевса-Мория лик и взор
Ясноокой Афины.

Антистрофа II

И еще нам одну доблесть хранит наша отчизна;
Бог могучий ее нам даровал —
Ею навек нас он прославил:
Он бог коней — бог он мореходства.
О Кронов сын! Тебе гремит
Хвалебный гимн — Посейдон-владыка!
Гнев коней укротил здесь ты впервые,
Вручив узду в помощь человеку.
Здесь же прянул в лазурь, сотней рамен
Быстро по влажным путям гоним,
Первый струг, Нереид морских
Среброногих товарищ.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Приход Креонта; его попытка завладеть Эдипом сначала лестью, затем косвенным насилием, захватив его дочерей, а под конец и прямым. Крик хора. Приход Тесея; он снаряжает отряд, чтобы отбить девушек.

ВТОРОЙ СТАСИМ. Тревожная песнь хора.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Тесей приводит Эдипу обратно дочерей и сообщает ему, что припавший к жертвеннику Посейдона незнакомый проситель желает ему сказать слово. Эдип догадывается, что это его сын Полиник, и лишь после долгой борьбы соглашается исполнить его желание.

ТРЕТИЙ СТАСИМ.

¹ Афина создала на Акрополе первое масличное дерево; от него ведут свое происхождение поныне существующие маслины в долине Кефиса. В древности они считались священными и назывались «мориями», т. е. роковыми; полагали, что причинивший им вред должен погибнуть.

*Хор**Строфа*

Кто за грани предельных лет
Жаждет жизни продлить стезю —
Тщетной дух упоив мечтой,
Станет для всех суеты примером.
День за днем свой исполнит бег,
Горе к горю прибавит он;
Редко радости луч сверкнет,
Раз сверкнет — и угаснет вновь.
И всё ж пылаем жаждой мы
Большей доли; но утолитель
Равноудельный
Ждет нас, подземной обители жребий,
Чуждая свадеб и плясок и песен
Смерть — и конец стремленьям.

Антистрофа

Высший дар — нерожденным быть¹;
Если ж свет ты увидел дня —
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись небытия родное!
Пусть лишь юности пыл пройдет,
Легких дум беззаботный век:
Всех обуза прижмет труда,
Всех придавит печали гнет.
Раздоры, смуты, битвы, кровь
Жизнь уносят; а в завершение
Нас поджидает
Всем ненавистная хмурая осень,
Чуждая силы, и игр, и веселья
Старость, обитель горя.

¹ Это — знаменитая «мудрость Силена», о которой говорит Ницше в «Рождении трагедии».

Эпод

И он, страдалец сирий, горем отягчен.
Да; как северный угрюмый берег,
Всюду открыт волн и ветров ударам –
Так в него отовсюду
Безустанным прибоем
Валы ударяют мучений вечных:
Те от закатной межи морей,
Те от восточных стран,
Те от стези срединной,
А те от полуночных граней.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Сцена первая. Приход Полиника; его покаянное слово отцу с рассказом о предстоящем походе Семи вождей и с просьбой присоединиться.

СТАРШИЙ СЕЛЯНИН

Пославшего, Эдип, почти. Пришельцу
Ответ дай должный — и отправь его.

Эдип

Вы правы, старцы. Если б не властитель
Земли афинской, не Тесей его
Ко мне прислал для слова и ответа –
Остался б нем я на мольбы его;
Теперь, отцовской удостоен речи,
С ответом он нерадостным уйдет.
Да, нечестивец! Скиптром и престолом
Владел и ты, как ныне брат твой, в Фивах;
И ты отца из родины изгнал¹,
Лишил земли, и гражданства, и крова;
Ты на него надел лохмотья эти,
О коих ныне, зритель сердобольный,
Ты слезы льешь, скитальцем став и сам.

¹ Причиной изгнания Эдип в этой трагедии было желание Полиника и Этеокла править страной; при этих условиях присутствие Эдипа было бы ее осквернением.

Теперь уж поздно плакать! До могилы
Их донесу, на память о тебе,
Моем убийце! Да, им стал ты явно:
Ты жизнь мою страданием отравил;
Ты отнял дом; из-за тебя, скитаясь,
Я подаюньем у чужих живу,
И если б дев-защитниц не взрастил я,
Я б смерть вкусил — по милости твоей!
Они — мои спасительницы; пищей
Я им обязан, в трудовой подмоге
Мужей я в них, не слабых жен нашел,
А вам отец — кто хочет, а не я.

Зато теперь карающего бога
Взор беспощадный на тебе почил.
И все ж ничто весь нынешний твой ужас
Пред тем, что будет, если рать на Фивы
Воистину ты двинешь. Не мечтай
Разрушить город: раньше сам ты кровью
Прах обagriшь, и брат твой заодно.
Таким я Карам вас обрек¹; и раньше
Я их призвал в союзницы себе,
И ныне призываю — чтоб вы знали
Впредь уважать родителя главу
И не считали для себя бесчестьем,
Что вы слепцом, вельможи, рождены, —
Ведь этих дев отец их не позорил.

Да! Если истинны заветы предков,
Что в небесах блюстительница Правда
Среди законов Зевса почтена, —
То на твоём теперь престоле Кара
Взамен тебя недвижно восседает.
Иди, отверженный, иди, преступник!
Тебя напутствую проклятьем я.
Ты не добудешь родины желанной,
В гористый Аргос не вернешься ты.
Братоубийственной враждой пылая,
Падешь и ты — и он, обидчик твой.

¹ Эдип проклял сыновей, покидая страну.

Да внемлет мне подземного Эреба
Мрак родственный — он твой приют навек!
Да внемлют *эти* грозные богини¹,
Да внемлет он, что ваши души ядом
Нещадной злобы отравил, Арес!

Иди! Иди! И возвести кадмейцам
И доблестным союзникам твоим,
Какою лаской сыновей любимых
В последний путь благословил Эдип!

Унылый уход Полиника с просьбой сестрам не покинуть его, если ему придется погибнуть.

Сцена вторая. Гроза. Призыв Тесея.

Сцена третья. Эдип поучает Тесея, что ему предстоит скрыться в недра земли, и просит его проводить к месту его исчезновения.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ. Песнь-молитва Аиду и Керберу.

ЭКСОД. Рассказ вестника о таинственном исчезновении Эдипа. Плач Антигоны и Исмены.

§ 24. Еврипид. — «Алкеста». — «Медя». — «Ипполит». — «Ион». — «Ифигении». — «Вакханки». — Надломленность характеров. — Речи. — Композиционная техника. — Дальнейшее развитие трагедии. — Аттический дифирамб и номос. — «Персы» Тимофея

Младшим членом трагического триумвиата в Афинах был *Еврипид* (480–405). Родившись в самый год Саламинской битвы, он был эпигоном освободительной войны; его творчество обнимает эпоху Перикла и Пелопоннесскую войну, до конца которой он умер почти одновременно с Софоклом. Они были, таким образом, современниками и соперниками; но то софистическое движение, о котором речь будет ниже, отпрянувшее от окрепшего и законченного уже мировоззрения Софокла, отразилось на впечатлительной душе младшего поэта и сделало ее, в отличие от олимпийской уравновешенности первого, вечно ищущей, неудовлетворенной и раздвоенной.

¹ Разумеются *Евмениды-Эринии*, роща которых осенила Эдипа.

Этим он ближе нам; но и эллинам вселенской эпохи был он ближе, хотя и по другой причине, о котором будет сказано впоследствии. Они его читали усерднее, чем кого-либо из трагиков; и хотя он вследствие меньшей продолжительности своей жизни и не сравнился с плодovitостью своего соперника, все же драм от него сохранилось гораздо больше, а именно из приблизительно 80-ти — восемнадцать (не считая девятнадцатой, вероятно подложного «Реса»), в том числе одна сатирическая, «Киклоп». Число отрывков тоже много значительнее, и египетские папирусы возвратили нам ряд отчасти очень крупных сцен из потерянных его драм.

Все они, понятно, для нас очень интересны: даже сравнительно слабые, как «Гераклиды» или «Андромаха», обнаруживают перед нами такие стороны творчества поэта, о которых мы бы без них не знали. Но здесь мы можем коснуться только перворазрядных его драм; а к ним мы причисляем в хронологическом порядке — «Алкесту», «Медею», «Ипполита», «Иона», обеих «Ифигений» и «Вакханок». Это не значит, чтобы все они были совершенными: поэт был очень прихотлив, часто руководился соображениями своего мимолетного интереса, политического момента или личного пристрастия в ущерб художественной красоте. Это следует помнить при его чтении.

В «Алкесте» на сказочном фоне мотив самоотвержения супруги: фессалийскому царю Адмету дарована страшная возможность избежать положенной смерти, если вместо него явится охотник; ни его отец, ни мать не желают пожертвовать за него остатком своих дней; совершает эту жертву его цветущая супруга Алкеста. Но страдания, которые ему причиняет ее утрата, хуже самой смерти; за них боги награждают его возвращением ему покойницы, которую героизм Геракла вызволяет из рук хищного демона.

В «Медее» другой конфликт на схожей почве: герой «Аргонавтики» Ясон, изгнанный из родины вместе со своей беглянкой-женой, изменяет ей, чтобы прочнее обосновать свой дом, обеспечивая достойную судьбу своим детям путем женитьбы на коринфской царевне. Медея ему этого не прощает: убедив-

шись, что действительно любовь к детям причина его измены, она мстит ему их убийством, оставляя его самого живым, и затем его покидает. Здесь борьба между материнскими чувствами героини и ее ревливой мстительностью стоит в центре драмы; именно она сделала ее незабвенной.

Незабвенен и «*Ипполит*», благодаря своей второй героине, Федре, молодой жене афинского царя Тесея; изнемогая под гнетом своей роковой любви к своему пасынку Ипполиту, она уже решила покончить с опостылевшей ей жизнью, чтобы сохранить чистой свою честь; но ее кормилица, желающая помочь ей обычным способом, выдает ее тайну любимому ею юноше и делает ее этим мишенью его незаслуженных и оскорбительных упреков. Тут в ней просыпается злоба; свой замысел самоубийства она исполняет, но в предсмертном письме обвиняет своего жестокого пасынка в том, что он покусился на ее супружескую верность, и проклятие разгневанного отца убивает чистого душой, хотя и слишком сурового юношу.

Солнце после бури страстей показывает нам трагедия «*Ион*». Герой — сын афинской царевны Креусы и Аполлона, брошенный после рождения своей матерью и воспитанный своим отцом в его дельфийском храме. Креуса выходит замуж, но ее брак бездетен: после долгого ожидания она едет с мужем в Дельфы спросить бога. Тут разыгрывается ряд патетических сцен между не узнавшими друг друга матерью и сыном; смерть грозит и ему от нее, и ей от него, но счастливое признание ставит предел недоразумениям и возвращает матери ее сына. Для нас это — первая трагедия с таким радостным признанием; но и в древности она затмила более раннюю трагедию Софокла с тем же мотивом и вдохновила, как мы увидим, комедию в IV в.

Другое признание, именно брата сестрой, имеем мы в «*Ифигении Таврической*»: не довольствуясь развязкой Орестовой драмы, данной в «Евменидах» Эсхила, Аполлон отправляет матереубийцу в дику Тавриду искупить свой грех похищением тамошнего кумира Артемиды. В Тавриде Орест однако схвачен местными дикарями; по обычаям страны, он должен быть принесен в жертву богине, и притом ее жрицей

— а ею была его сестра Ифигения, перенесенная туда богиней в момент ее кажущегося жертвоприношения. Братоубийство предупреждается признанием: это самая прекрасная часть трагедии. Ее конец не выигрывает в наших глазах от очень старательно обставленного побега обоих, соединенного с обманом недалекого таврического царя.

Предположение этой трагедии, авлидское жертвоприношение, было лишь позднее драматизовано поэтом в его поэмной *«Ифигении Авлидской»*. Следуя в общем своим предшественникам, Еврипид первый превратил молодую дочь Агамемнона в трагическую героиню тем, что представил ее, после долгой душевной борьбы, *добровольно* приносящей свою цветущую жизнь в жертву за преуспевание великого дела своего отца и своей родины.

Посмертной была также и последняя из перечисленных трагедий Еврипида, *«Вакханки»*; но она стоит особняком поразительной смелостью своего замысла. В центре — непреодолимая сила религиозного экстаза. Молодой фиванский царь Пенфей сопротивляется оргиастическому культу Диониса. Тщетно; могучий бог *психологическим* воздействием подчиняет себе его строптивую душу и посылает его на Киферон к тоже обезумевшим фиванским вакханкам, среди которых он гибнет от руки своей матери.

Еврипид был в разладе со своими современниками; причину вражды нам рисует комический поэт Аристофан в ряде своих пьес (см. ниже).

После Эсхила и Софокла они не признавали здоровой пищу, подносимую им мятущейся душой младшего поэта; и с этой точки зрения они были правы. К суровым характерам Эсхила и кротким Софокла он прибавил новую серию — *характеров надломленных*, с червем в душе, подтачивающим ее силы, будь то роковая любовь Федры, или измученная совесть Ореста, или подавленная чувственность Пенфея, дающая пищу его безумию. Но психологический интерес таких характеров бесспорен; для нас это — главная приманка.

Иные были запросы вселенской эпохи. Для нее с ее культом слова были особенно ценными речи героев Еврипида, вну-

шенные софистикой страсти, его умение самое рискованное желание облекать в форму хоть внешне убедительного рассуждения. Пусть Адмет доказывает отцу, что он, отец, должен был пожертвовать своей жизнью за него; Ясон — Медее, что он ничуть не обязан ей своим спасением, так как спасла она его из любви, которую он же ей внушил; кормилица — Федре, что она грешит высокомерием, сопротивляясь навеянной на нее Афродитой страсти: это очень безнравственно, но это дает повод к приведению блестящих, ослепляющих соображений. Их Еврипид развивает особенно охотно в так называемых *агонах*, т. е. попарных речах спорящих; Эсхил их совершенно не знал, Софокл пользуется ими умеренно, для Еврипида они — едва ли не центр интереса.

Разительнее всего разница, которую мы затруднимся назвать прогрессом, в *композиционной технике*, особенно в прологе и развязке. *Пролог* у обоих старших трагиков был, как мы видели, драматическим, что не мешало ему иногда выливаться в форму монолога, особенно молитвы, в которую легко можно было, не нарушая психологической убедительности, вставить упоминание обстоятельств и событий, важных для экспозиции трагедии. У Еврипида пролог всегда монологичен; вначале он примыкает к форме молитвы или вообще приветствия, но при этом сообщает, не считаясь с психологической вероятностью, весь экспозиционный материал (первая манера Еврипида). Но затем поэт отказывается и от этой уступки драматизму и у него откровенно прологист, обращаясь прямо к зрителям, сообщает им все то, что нужно для понимания драмы (вторая манера). Причину этого нововведения следует, вероятно, искать в том, что Еврипид, как младший трагик, перепахивал много раз до него вспаханную трагическую ниву. Его предшественники каждый по-своему изменяли мифопею; он чувствовал необходимость во избежание недоразумений ясно дать понять, какого извода трагедии держался он.

Другого рода — недраматичность, допускаемая им в развязке своих трагедий, по крайней мере в эпоху Пелопоннесской войны: он почти исправно выводит божество, которое,

появляясь высоко над главами людей (отсюда обозначение *deus ex machina*), предписывает им свою волю и объявляет грядущую судьбу. Не всегда это делается с целью устранения возникших в ходе действия затруднений и введения фабулы в русло традиции; иногда — как в «Ифигении Таврической» — поэт нарочно создает себе затруднения, чтобы иметь повод ввести свое божество. Придется допустить, что он из эстетических соображений дорожил этим торжественным заключительным аккордом из потустороннего мира.

* * *

Мы занялись здесь только тремя главными трагическими поэтами как единственными, от которых нам остались цельные драмы; и наше изложение развития трагедии поневоле обрывается с концом V в. Это не должно однако ввести читателя в заблуждение. Наряду с корифеями имелось в Афинах много звезд второй и третьей величины и из Афин, и из прочей Греции; и трагедия и в IV в. сохранила свое значение центральной отрасли поэзии и имела выдающихся представителей, как Феодекта, Астидаманта, которые развивали ее, насколько мы можем догадываться, в духе риторичности, сценической эффектности, но и реализма. Не было недостатка в них и впоследствии; но у нас нет материалов для изображения после расцвета также и вырождения и падения античной трагедии. Это внешнее обстоятельство создает для многих перспективную иллюзию, заставляя их видеть в Эсхиле начало, в Софокле — расцвет и в Еврипиде — упадок античной трагедии. Явное заблуждение, обличаемое уже фактом одновременной смерти обоих последних поэтов. Но одно остается несомненным: те жизненные силы поэтичности, которые постепенно накапливала греческая лирика, расцветают и изживаются *отчасти* — значение этой оговорки будет ясно из дальнейшего — в ее преемнице, греческой трагедии.

Число упомянутых ее второстепенных и поздних представителей очень велико; и мы не имеем основания представлять их себе менее плодовитыми, чем корифеев их искусства.

К тому же результату придем мы, исходя из факта, что по правилу — правда, часто нарушаемому — ежегодно ставилось 24 трагедии (с сатирическими драмами), причем повторение уже раз игранный пьесы почти не допускалось. Мы вряд ли поэтому ошибемся, определяя в несколько тысяч число трагедий, созданных в V и IV вв. в одних Афинах. В своей совокупности они составили — после героического и генеалогического эпоса и лирики — уже четвертое поэтическое преображение сокровищницы греческих мифов.

Со всем тем и собственно лирика, даже хорическая, не умолкла окончательно, а в одной своей отрасли сохранила даже высокое значение для афинской поэзии, о котором мы только ввиду утраты памятников затрудняемся судить. Этой отраслью был *аттический дифирамб*, которому были посвящены на сцене Диониса такие же состязания, как и драме, причем состязались все десять афинских фил, каждая в составе своих отроков и мужей, вследствие чего число ежегодно исполняемых дифирамбов равнялось сорока. Можно себе представить, какое необозримое их число должно было накопиться с течением времени. По сохранившимся намекам можно заключить, что развитие этого дифирамба происходило в смысле оставления прежней антистрофичности, роста смелости языка в словообразовании и метафорах и мимической балладичности. Более наглядное представление об этой своеобразной лирике дает нам новонайденная (наполовину) поэма из начала IV в. «*Персы*» *Тимофея* — правда, не дифирамб, а «номос» со своеобразным делением на 7 частей. Его содержание — Саламинская победа, но в своей форме он (если отвлечься от только что упомянутого деления) вполне соответствует тому представлению, которое мы составляем себе также и о позднейшем дифирамбе.

Так и в прямой своей преемственности греческая лирика изживает свои силы и мало-помалу уступает свое даже законное место окрепшей и готовой к обратным захватам *художественной прозе*. Но прежде чем перейти к ней, мы должны еще коснуться последней отрасли греческой поэзии, тоже расцветшей в Афинах V и IV вв., — *комедии*.

ОБРАЗЦЫ

ЕВРИПИД

1. Медея

ПРОЛОГ. Кормилица героини в жалобе «небу и земле» рассказывает о несчастьях своей покинутой мужем госпожи. Дядька ее детей сообщает ей о худшей беде: она изгнана царем из Коринфа. Крики и проклятия Медеи из дома.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Медея выходит к хору; ее жалоба о доле женской и ее собственной. Приход Креонта Коринфского; он изгоняет Медею; она выпрашивает у него один день.

ПЕРВЫЙ СТАСИМ. Песнь о женской доле.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Ясон приходит для оказания Медее возможной помощи; она с негодованием от нее отказывается; спор (агон) обоих.

ВТОРОЙ СТАСИМ. Песнь о любви и изгнании.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Приход Эгея Афинского с оракулом об условии дарования ему сына; Медея жалуется ему и просит оказать ей убежище, обещая ему исполнение оракула. Эгей согласен. Убедившись на примере Эгея, что Ясон действительно бросает ее ради детей и дома, Медея постановляет отомстить ему убийством этих детей.

ТРЕТИЙ СТАСИМ. Песнь в честь Афин.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Медея притворно примиряется с Ясоном и посылает к его жене через детей подарки (отравленный головной убор и плащ) с просьбой, чтобы их, детей, оставили в Коринфе при отце.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ. Тревожная песнь хора.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ. Дядька приходит с радостным известием, что жена Ясона приняла подарки и разрешила детям остаться в Коринфе. Теперь яд действует — пора приступать к самому страшному акту мести.

Медея притягивает детей к себе.

МЕДЕЯ

О дети, дети! Есть у вас и город
Теперь, и дом — там поселитесь вы
Без матери несчастной... навсегда...¹

¹ Характерно для Еврипида колебание решения героини. Первые стихи двусмысленны, как будто говорится о коринфском доме, но Медея имеет в виду преисподнюю.

А я уйду изгнанницей в другую
Страну и в вас опоры не найду.
Счастливыми вас не увижу; свадеб
И жен молодых, и лож заветных тайны,
И брачных светочей не суждено
Мне украшать для вас. О гнев! О гордость
Несчастливая! Напрасно, значит, вас
Вскормила я, напрасно изнывала
Всем телом я и извелась в мученьях,
Рождая вас! А сколько дорогих
Питала я надежд, что мать свою вы
На старости поддержите, ее
Заботливо на ложе смерти черной
Оденете, завидной для людей.
Вотще заботы сладкие! Без вас
Я буду дни влачить в тоске и в горе.
А вы на мать, сменивши эту жизнь
Иной, не взглянете любовным взором...¹
Увы, зачем ласкаете меня
Лучами ваших глаз и этим смехом...
Последним? Боги! Что мне делать? Вся
Оставила меня решимость, жёны,
При виде этой радостной улыбки
Моих детей... Я не могу. Ты сгинь,
Решенье прежнее! Возьму с собою
Своих детей; безумно покупать
Ясоновы страдания своими
И по двойной цене... О, никогда...
Тот план забыт... Забыт?.. Конечно... Только
Что ж я себе готовлю? А враги?
Смеяться им я волю дам, и руки?
Их выпустить... Без казни?

Выпрямляясь; дети присмирели и смотрят испуганно.

Нет, дерзну!
Так нужно. Стыдно, что могла я сердце

¹ Та же двусмысленность.

Склонить к бессильной, дряблой доброте.
Ступайте в дом вы, дети. Тот, кому
Присутствовать грешно при этой жертве,
Предупрежден. Моя ж рука не дрогнет.

Дети хотят уйти, но Медея удерживает и привлекает их к себе каким-то судорожным движением.

А-а!
Нет, нет, не делай этого, душа!
О, пожалей, несчастная, малюток!
Пусть услаждают жизнь твою они...
Клянусь Аидом и поддонной силой,
Того не будет, чтоб детей своих
Я выдала врагам на посрамление.
Все сделано... Возврата больше нет...
В моем наряде гибнет плоть царевны.
Пора... Отправлюсь в безотрадный путь...
Но много безотрадней тот, в который
Отправлю их. С детьми проститься надо.

Порывисто обнимая детей и целуя их руки и лица.

О, дайте руку матери, родные.
Пусть приласкает вас она. Рука
Любимая, любимых уст услада...
О милый стан. О благородный лик.
О, да пригреет счастье вас — *но там*.
А здешнее отец у вас похитил.
О милые объятья. О щека,
Нежнее пуха. О дыханье, слаще
Цветов весенних.

Целует детей, потом с силой отрывается от них, слабо отталкивает их и закрывает лицо руками.

Будет! Уходите,
Скорее уходите!..

Дети убегают, оглядываясь на мать и что-то говоря друг другу.

Силы нет

Глядеть на вас. Раздавлена я мукой...
На что дерзаю, вижу... Только гнев
Сильней меня, и нет для рода смертных
Свирепей и усердней палача...

Уходит в среднюю дверь.

Размышление хора. Приход вестника; его рассказ о гибели царевны и ее отца. Медея удаляется в дом свершить задуманное дело.

ПЯТЫЙ СТАСИМ. Нарастание тревоги; из дома слышатся предсмертные вопли детей.

ЭКСОД. Ясон хочет броситься в дом; Медея появляется над домом на волшебной колеснице; с ней трупы ее детей. Она улетает в Афины, оставляя Ясона в отчаянии.

2. Ипполит

ПРОЛОГ. Афродита объявляет, что, оскорбленная пренебрежением Ипполита, она внушила Федре роковую страсть к нему, которая станет причиной гибели для обоих. Приход Ипполита с охотниками; его молитва Артемиде и уход.

ПАРОД. Сходятся трезенские женщины: они узнали о болезни Федры, но причины не знают.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Приносят на ложе больную Федру.

СТАРШАЯ ТРЕЗЕНЯНКА

О, смотрите: кормилица старая здесь;
Провожает царицу она из хором.
Как темна на очах ее туча бровей!
Обесцвеченный лик — обессиленный стан.

Что случилось? Скажи!

Меня мучат любовь и тревога.

Кормилица
(к Федре)

О несчастье смертных, о лютый недуг!
Что мне делать, чего мне не делать с тобой?

Вот и светлое солнце, эфир голубой;
 Уж покинуло ложе постылый чертог.
 Ах, не ты ли на волю просилась? И вот
 Я уж вижу, обратно себя ты нести
 Нам прикажешь. Что волны, желанья твои:
 Надоело что есть — чего нет, то милей;

Твоя радость что тень.

Ах, уж лучше болеть, чем ходить за больной!
 Там страдает лишь тело, а тут и душа
 Истомится, и руки устанут твои.
 Да, вся жизнь человека — лишь мука одна;
 Не дано отдохнуть нам от боли.

(Таинственно)

Та другая ведь жизнь, что нам жизни милей¹, —
 Ее мрак обуял беспросветною мглой.
 И поэтому здесь роковая любовь
 Нас к мерцающим призракам властно влечет —
 Что наш род не причастен того бытия,
 Что никто не измерил подземных глубин,
 Что нас лживые сказки смущают.

ФЕДРА

(к служанкам, которые ей помогают)

Поддержите меня и с постели поднять
 Мне хоть голову дайте... Все тело мое
 Разломило... Возьмите за руки меня...

(С грустной улыбкой)

Эти полные белые руки... Нет сил!..
 Меня душит покров!

Служанка срывает покрывало и дает рассыпаться темно-золотистым и набегающим на щеки волосам Федры.

¹ Осторожный намек на учение мистерий о блаженстве на том свете.

Пусть на плечи мои
Разольется волос золотая волна!

КОРМИЛИЦА
(склоняясь к ней)

Успокойся немного, дитя; не мечись
Ты так дико... Собою владей, и недуг —
Он тебе покорится. Подумай, ведь ты —
Человек, обреченный страданью!

Федра приподнимается и садится на ложе, с которого она спускает ноги.

ФЕДРА

Ах, с ключа бы студеного чистой воды
Зачерпнуть мне глоток и уста оросить...
Ах, под тополя сенью в высокой траве
Мне прилечь бы... Я там обрела бы покой!¹

КОРМИЛИЦА

Что сказала ты? Полно! Опомнись, дитя!
Как могла при народе признаньем таким
Ты обмолвиться? Речь безрассудна твоя!

Федра сходит с ложа; рабыни расступаются, Кормилица молча качает головой, обмениваясь знаками недоумения с хором и служанками.

ФЕДРА

Кто со мною? Туда я... где ели темней!²
Меня в горы ведите, где хищные псы
По следам за пятнистою ланью летят!
Ради бога! Хоть раз бы им свистнуть, хоть раз
Фессалийский бы дрот, размахнувшись, метнуть
Мимо волн золотистых летучей косы!

¹ Федра в бреду видит себя с Ипполитом в лесу.

² Опять она с ним, на охоте.

КОРМИЛИЦА

Что за дикая страсть обуяла тебя?
 Не пристало тебе об охоте мечтать!
 Если просит душа родниковой воды —
 Есть росистый утес за воротами кремля:
 Освежающей влаги напьешься ты там.

ФЕДРА

(в возрастающем исступлении)

Артемиды, царица приморских равнин,
 Где от конского бега поляны гремят!
 О, прими и меня в свое царство и дай
 Управлять четвернею венетских коней!

КОРМИЛИЦА

(всплеснув руками)

Это что еще? Нет безрассудству конца!
 То по чаще лесистой за зверем бежит —
 То к коням захотелось на берег морской!
 Лишь гадатель укажет, какой тебя бог
 Своим властным наитьем безумит.

Федра мало-помалу приходит в себя, видит хор, служанок и, закрывая лицо руками, тихо отходит к своему месту.

ФЕДРА

О несчастная! Что я? Что сделала я?
 Где мой разум? Где стыд? Я безумна была!
 Мою душу губительно демон увлек.
 О несчастная я!
 Пожалей меня, матушка, снова главу
 Осени мне покровом; безумных речей
 Мне так стыдно... Покрой меня! Слезы бегут,
 И ланиты горят... О, как больно — в себя
 Приходить после бреда... Ужасен тот бред,
 Но уж лучше утаснуть в забвенье...

Кормилице удастся узнать от Федры, что причина ее болезни — несчастная любовь к Ипполиту. Вначале она, как и хор, в отчаянии от этого открытия.

ФЕДРА¹

*(собралась с силами; в следующей речи уже чувствуется
полное самообладание)*

Вы, матери Трезена, что в страны
Пелоповой преддверии живете, —
Давно уж в ночи долгие часы
О роке размышляла я, который
Влечет нас в грех и губит нашу жизнь.
Природа ль *разума* виновна в том,
Что мы грешим? Не может быть: ведь многим
Благоразумье свойственно. Я так
Сужу: что хорошо, что нет — всё это
Мы знаем твердо; лишь на *деле* знание
Осуществить мы медлим. Почему?
Одним мешает нерадивость; тех
От правды наслаждение отвлекает...
Ах, мало ли соблазнов в нашей жизни!
Чад удовольствий светских — сладкий яд
Приволя праздного — а с ними... *стыд*...
Есть два стыда: один — орудье чести,
Другой — что камень давит нашу грудь.
И будь меж них светла для ока грань —
Мы их одним бы именем не звали.

И вот с тех пор как тяжким размышленьем
До истины дошла я этой — нет
Такого зелья, чтоб ее похитить
Из моего сознания и снова
Могло меня к неведению вернуть.
И мне открылся путь судьбы моей —
Его и вам поведать я согласна.

Когда Эрота жало в сердце нежном

¹ Монолог Федры — античная параллель к монологу Гамлета: на один и тот же вопрос — что заставляет нас изменять принятому хорошему решению — даются противоположные ответы.

Я ощутила — думать стала я,
Каким бы образом его достойно
Перенести. «Молчи, — себе самой
Сказала я, — не выдавай недуга!
Ведь нет доверья языку: он может
Чужую душу вразумлять, свою же
Дурманит он и к гибели ведет.
Молчи, и страсть пройдет сама». Но в этом
Ошиблась я. Тогда оружием чести
Бороться я с безумием решилась;
Когда ж ни тайна, ни борьба — к победе
Не привели меня,

(Тихо)

Осталась смерть.

Возгласы в хоре.

И это лучший выход... Нет, не надо
Мне возражать. Для славы я хочу
Свидетелей... Но для позора — тайны.
Я знала все — недуг... Его бесславье...

(С горечью)

И знала в довершение, что я
Лишь женщина, предмет молвы злорадной
Для всех...

Пусть бы гибелью позорной
Погибла та, которая с другим
Впервые мужа обманула. О,
Пойти с верхов должна была зараза¹.
Ведь если зло — игрушка знатных, станет
Оно в толпе подавно божеством!
Проклятие и вам, чьи скромны речи,
Но чьи, под кровом черной ночи, дерзки
Преступные обаянья... Как они

¹ Выискивание починщика (*heur etes*), хотя бы и преступления, характерно для античности.

Решаются — о пеною богиня
Рожденная! — потом смотреть в глаза
Обманутым мужьям? Как им не страшно,
Что самый мрак их выдаст, что стена
Заговорит, внимавшая лобзаньям?

Вот что меня в могилу сводит — страх,
Что мужа опозорю я, бесславьем
Детей казню. Тому не быть! Они,
Свободоречьем гордые, на землю
Священную прославленных Афин
Вступая, мать да не стыдятся вспомнить.
Ведь самый смелый клонит, точно раб,
К земле чело, когда при нем помянут
Клеймо отца иль матери позор.

Да, как ни дорога нам жизнь — одно
Еще дороже: правоты сознание.
А кто его утратил — рано ль, поздно ль.
Но день придет и поднесет ему,
Как деве юной, зеркало, чтоб в нем он
Свой лик увидел. А до этой пытки
Себя не доведу я ни за что.

СТАРШАЯ ТРЕЗЕНЯНКА
(с возрастающим восхищением
внимавшая второй части речи Федры)

Вот добродетель! Всех она пленяет,
Все ей дарят прекраснейший венец!

КОРМИЛИЦА¹
(неуверенно приближаясь к Федре)

О госпожа, когда завесу с бед
Ты сдернула так быстро, то, конечно,
В испуге я не выбирала слов

¹ Вместе с монологом Федры слова Кормилицы составляют *агон* нашей трагедии в его характерной форме: по длинной речи каждой из сторон, после каждой — резолюция хора как судьи. Обратить внимание на софистику в слове Кормилицы: о преступном элементе любви питомицы она умалчивает, растворяя его в понятии любви вообще.

И лишнее сказать могла. Но дело
Не так уж страшно... И у смертных, видно,
Надежнее второе размышление.

Чего-нибудь неслыханного я
Покамест не узнала: Афродиты
Здесь чары несомненны. Любишь ты?
Но не одна ж? Другие тоже любят.
И убивать себя?.. Да разве ж всех,
Кто любит иль любви готов отдаться,
За это и казнить? И в этом им
Награда за любовь? Поток Киприды
Остановить нельзя ведь: уступи —
Тебя волной он ласковой обнимет;
А кто надменно спорит с ним, того,
Схватив, он низвергает беспощадно.
И в высоте эфирной, и в морской
Пучине — власть Киприды, и повсюду
Творения ее. Она в сердцах
Рождает страсть, и все в ее кошице
Мы зернами когда-то были. Кто
Истории читал седые свитки
Иль песни разучил поэтов, знает,
Как некогда Семелы ложа Зевс
Возжаждал, как в чертог богов Кефала
Для ласк любовных увлекла Заря.
И что ж! На небесах они и ныне
И божьих не чуждаются путей;
Они мирятся, видно, с тем, что страсти
Сильнее их; а ты — ты хочешь спорить?
Тебе не писан мировой закон?
Ну, жаль тогда, что не по уговору
Особому отец тебя родил —
Что миром правят не другие боги!

Пауза. Кормилица подходит еще ближе и говорит еще смиреннее.

Иль мало здесь, ты думаешь, найдется
Таких мужей, что на грехи жены
Глаза благоразумно закрывают?

Таких отцов, что сыновьям не прочь
Способствовать в их замыслах любовных?
Всегда рассудит умный человек,
Что лучше скрыть от глаз людских дурное.
А строгость чрезмерная — она
В делах житейских ни к чему. И кровлю
Не строим по линейке мы, и всё ж
Под ней живется сухо нам. Ужели ж
Судьбы — да и какой еще! — течение
Осилишь ты? Ты человек; с тебя
Довольно и того, что чаще честной
Бываешь ты, чем неразумной. Ну,
Дитя мое, оставь свое упрямство
И откажись от гордости... Да-да...

Касаясь ее плеча. Федра сначала вздрагивает, потом легче поддается
ее ласкам.

Лишь гордость вижу в этом я, что хочешь
Самих богов ты нравственное быть.
Ты влюблена? На то, знать, божья воля...
А русло мы недугу твоему
Должны найти приличное. Немало
Известно чар и заговоров нам;
Найдется средство для твоей болезни...

Лукаво смотрит на недоумевающую Федру.

Мужчина бы не скоро отыскал,
А мы куда на выдумки горазды!..

Пауза.

СТАРШАЯ ТРЕЗЕНЯНКА
(тихо и торжественно Федре)

Ее слова страдальческой судьбе
Отрадное сулят успокоенье,
Но я несу, царица, восхищенье,
Пусть горькое, но все-таки тебе...

Кормилица убеждает Федру разрешить ей прибегнуть к чарам — отворотным, как она дает ей понять, — и удаляется в дом, на самом деле, чтобы склонить Ипполита к ответной любви.

ПЕРВЫЙ СТАСИМ. Песнь в честь Эрота.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Ипполит, возмущенный признанием Кормилицы, проклинает ее и Федру и удаляется из дома. Федра решает покончить с собой, но в то же время наказать и Ипполита за незаслуженное оскорбление.

ВТОРОЙ СТАСИМ. Зловещая песнь хора.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Федра покончила с собой. Приход Тесея. Его плач по Федре. В ее руках предсмертное письмо: в нем обвинение Ипполита в покушении на ее супружескую честь. Приход Ипполита. Тесей его проклинает и изгоняет.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Рассказ вестника о гибели Ипполита, разнесенного собственными конями. Появление Артемиды: от нее Тесей узнает про истинную связь событий. Приносят умирающего Ипполита: его прощание с Артемидой и отцом.



Глава VI.

КОМЕДИЯ

**§ 25. Бытовая сценка и дорическая комедия. —
Эпихарм и Софрон. — Обличительная песня. —
Эпиррематическая композиция. — Политическая
и сказочная комедия. — Древнеаттический триумвират**

Граница между трагедией и комедией стала у нас довольно зыбкой; тем более следует подчеркнуть — при исторической зависимости обеих этих разновидностей драмы у нас от Греции, — что там она была не только очень четка, до такой степени, что ни один поэт не подвизался в обеих, но что даже происхождение их было различно. Относительно трагедии мы видели, что она была продолжением хорической мелики; в совершенно другую область заводит нас вопрос о происхождении комедии.

Точнее говоря, в две области: аттическая комедия V в. выросла из двух корней. Первый — это *бытовая сценка* карикатурного характера, с масками. Таковые возникают самопроизвольно у разных народов; в Греции они особенно процветали в дорических государствах — в Спарте, Мегаре, Сиракузах, Таренте — почему мы и называем развивающуюся из них комедию дорической комедией. Кроме человеческого быта эта комедия втянула в свой кругозор и божески-героический, создавая забавную пародию мифа и трагедии в драматическом подража-

нии песни Демодока о любви Ареса и Афродиты (VIII песнь «Одиссеи»). В обеих отраслях достиг высокого совершенства сицилийский поэт *Эпихарм*, современник Эсхила; но он поднял свое искусство выше обычного дорического балагурства. Он был замечательным мыслителем, прикосновенным к философскому движению своих времен, забредшему, как мы уже видели и еще увидим, и на греческий Запад; его мысли и изречения, которыми он, мы не знаем как, украсил свои игривые комедии, были позднее соединены и обработаны в виде особой книги, книги мудрости Эпихарма, из коей и до нас, как и от комедий, дошли отрывки. Наряду с этой развитой комедией продолжала свое существование и простая, притом прозаическая, бытовая сценка, так называемый мим; ее классиком стал тоже еще в V в. сиракузянин *Софрон*, творениями которого восторгался еще Платон.

Вторым корнем аттической комедии была *обличительная песня* драматического характера; нам рассказывают, что в праздники Диониса поселяне, вымазав для неузнаваемости лица винными дрожжами, толпами являлись в город и с наветянною вином откровенностью высмеивали своих притеснителей. Понятно, что эта обличительная песня была принципиально отлична от той бытовой сценки. Там сатира была общего, здесь — личного характера; та была свободна и могла странствовать повсюду, эта была прикреплена к месту своего происхождения; та нуждалась лишь в нескольких ряженных, эта требовала хора. Мы можем даже идти дальше и сказать: она требовала двух хоров и двух корифеев, вступавших в спор и перебранку между собой, причем песни хора сменялись речами корифеев. Отсюда коренное различие композиции здесь и там. Там *композиция эпизодическая*, как в трагедии, неопределенный ряд следующих друг за другом законченных сцен; здесь *композиция эпиррематическая*, т. е. такая, при которой за песней одного хора следует речь («эпиррема») его корифея, затем ответная песня другого хора и ответная речь его корифея.

Оба направления встретились в Афинах и слились друг с другом; хор обличительной песни втянул и эпизоды бытовой

сценки в рамки общей композиции и прикрепил их к праздникам Диониса, на которых новосозданная комедия стала такой же обязательной частью состязаний, как и трагедия и дифирамб; от этого хора, к слову сказать, комедия и получила свое имя — *kotos* означает «празднично веселая толпа». Конечно, для этого и комедия нуждалась в законодателе, но его имени мы назвать не можем, в ту эпоху, когда она становится для нас осязаемой, мы видим ее располагающей двумя хорами по 12 человек каждый и рядом с обоими корифеями стоят два актера, выступающие в различных ролях; позднее их число, как и в трагедии, было увеличено до трех. Аппарат, необходимый для комедии, был, таким образом, значительнее, чем в трагедии; зато число самих комедий было значительно меньше, каждый из трех допущенных к состязанию поэтов ставил только по одной.

Происхождение из обличительной песни определяло тон серьезной комедии: вдохновившись ямбами Архилоха, она стала *политической комедией* и лишь в виде побочной отрасли допустила *сказочную* с ее игривой фантастичностью, не исключаяющей, впрочем, и политического элемента. Понятно, однако, что не все поэты обладали личным мужеством, нужным для политической насмешки; наряду с политической комедией подвизается и ее дорическая сестра в обеих своих разновидностях: и *бытовой* и *мифологической*. Всё же представители серьезной комедии свысока смотрели на своих робких собратьев, поэтов «мегарского фарса», как они презрительно их называли, и в члены великого *триумвирата*, ознаменовавшего расцвет аттической комедии V в., попали только представители политической. Старшим был *Кратин*, современник Перикла, избравший самого великого вождя демократических Афин мишенью своей политической сатиры; обоими младшими были современники Пелопоннесской войны *Евполид* и *Аристофан*. Только о последнем мы можем составить себе достаточно ясное представление, так как только от него нам сохранился ряд цельных комедий; им мы поэтому здесь и ограничимся.

**§ 26. Аристофан. — «Всадники». — «Облака». —
«Фесмофории» и «Лягушки». — «Птицы». —
Парод, агон и парабаз.**

Аристофан (приблизительно 450–385), как было только что указано, был современником Пелопоннесской войны; но он пережил ее на двадцать лет и своими последними комедиями, принадлежащими первому поколению IV в., знаменует уже переход от древнеаттической комедии к среднеаттической. Всего он написал около сорока пьес — сравнительно скромное число, объясняемое тем, что, как тоже уже было сказано, комические поэты ставили в каждом состязании не по четыре пьесы, как трагики, а только по одной.

Аристофан как представитель политической комедии занимает в истории всемирной литературы совершенно исключительное место. Что мы сказали о других видах греческой поэзии — что они послужили плоскостями отправления для соответственных отраслей в новое время, — того про него сказать нельзя: политическая комедия не была претворена в новейшей литературе, и немногочисленные подражатели создали лишь книжные комедии, никогда не выдавшие подмостков. Только здоровая свобода Перикловых времен могла создать также и эту свободу политической насмешки; она продолжалась, хотя и не без сотрясений, в эпоху Пелопоннесской войны, причем интересно, что именно крайняя демократия в лице Клеона и его партии требовала ее ограничения; она погибла в первое поколение IV в. и уже не возродилась никогда. Вот почему сохранившиеся комедии Аристофана — числом *одиннадцать* — представляют для нас единственный в своем роде клад.

Займемся и здесь только главными. Против Клеона направлены «*Всадники*», названные так потому, что хор комедии состоит из представителей этой ненавидимой влиятельным демагогом аристократической корпорации. Их герой — сам олицетворенный Демос, которого поэт осмелился изобразить дряхлым старикашкой, самодуром и привередником. Он во всем доверяет своему пафлагонскому рабу-кожевнику, в прозрачной маске которого скрывается сам Клеон; а тот пользу-

ется этим доверием для того, чтобы, обманывая его, всячески притеснять своих товарищей по рабству. Доведенные до отчаяния, они прежде всего устанавливают, что, согласно оракулу, пафлагонцу-кожевнику суждено пасть от другого, еще более гнусного человека, а именно от колбасника (так назывались в Афинах мелкие торговцы, продававшие простонародью с лотка всякую сомнительную живность). Затем они отыскивают этого колбасника — и вся дальнейшая комедия не что иное как длительный поединок между обоими противниками, сначала перед всадниками, затем перед советом пятисот (Аристофан совершенно беззаботно нарушает иллюзию), наконец, в разных видах, перед Демосом. Везде побеждает колбасник, но после окончательной победы он и сам преобразается и преобразует своего хозяина. Вводя в заключение комедии сказочный мотив, поэт рассказывает о том, как колбасник — отныне гордо называющий себя Агоракритом — «в котле сварил» Демоса, возвращая ему этим его былую «марафонскую» молодость.

Со смешанными чувствами читаем мы «Облака»: поэт хотел в них изобразить вредное для нравственности влияние софистического движения, но допустил трудно для нас объяснимый промах тем, что вывел его представителем того человека, который был как раз его противником, — Сократа. И читатель этой комедии поступит лучше всего, если он этого карикатурного Сократа совершенно отделит в своем сознании от священного для него образа Сократа исторического. Содержание же комедии следующее. Старый придурковатый афинянин Стрепсиад, завязший в долгах благодаря аристократическим прихотям своего сына Фидиппида, слышал, что софисты учат между прочим «худшую речь выставить лучшей»; это он понимает в том смысле, что если пройти их школу, то можно убедительной речью на суде увильнуть от кредиторов. Ради этого он отправляется к Сократу, чтобы у него поучиться. Учение, представленное в ряде потешных сцен, кончается неудачей; тогда он вместо себя посылает Фидиппида. Этому удастся преодолеть софистическую премудрость; кредиторы пристыжены и прогнаны; но Фидиппид пользуется своим новым знанием также и против самого старика, доказывая ему, что он,

как сын, имеет полное право вразумлять своего отца побоями. Опровергнуть его он не в состоянии — и он в отчаянии бросается палить очаг губительного новомодного просвещения.

Третьим врагом Аристофана был Еврипид, к которому он относился отрицательно как к вредному новатору в священном искусстве Эсхила. Ему он еще при его жизни посвятил комедию «Фесмофории» («*Thesmophoriazusiai*», точнее: «Справляющие праздник Фесмофорий женщины»), в которой он сравнительно безобидно высмеивает страсть противника к интриге побега, забавно пародируя сцены из его собственных трагедий; но смерть обоих младших членов трагического триумвирата зимой 406–405 гг. дала ему повод подвести, так сказать, итоги развитию трагедии за три с лишком поколения в серьезной комедии под заглавием «*Лягушки*». Серьезной, впрочем, эта комедия является только во второй своей половине; в первой поэт, — отчасти пародируя трагедию Еврипида «Перифой», — очень потешно описывает похождения Диониса, властителя драматической сцены, на его пути в преисподнюю. Отправляется он туда для того, чтобы вызволить из уз смерти своего любимого поэта Еврипида. Но, придя в обитель Плутона, он делается свидетелем и судьей спора о первенстве Эсхила и Еврипида. Этот спор убеждает его в том, что первый как поэт неизмеримо выше второго; и он, милостью Плутона, уводит Эсхила, чтобы могучими чарами его поэзии вернуть Афинам их былую силу. Этот поединок занимает всю вторую часть комедии; для нас это крайне интересный образчик литературной критики — самый ранний из сохранившихся.

Такова политическая комедия Аристофана; из чисто сказочных нам сохранилась только одна, а именно «*Птицы*». Говорю «чисто сказочных», так как сказочными мотивами поэт пользуется и в других: мы встретили таковой во «Всадниках», затем в «Ирине» герой вскармливает жука-навозника до гигантских размеров, чтобы на нем взлететь к Зевсу на Олимп, и т. д. Все же там роль сказки служебная; здесь она выступает на первый план. Двум афинянам, Пифетеру и Евельпиду, надоела жизнь в буруеваемом политическими смутами городе, они ищут блаженной страны и надеются, что им таковую укажет

птица-удод, благо по мифу фракийский царь Терей, женатый на афинской царевне Прокне, был превращен в такового. После разговора с ним оказывается, что самая блаженная жизнь — это жизнь среди птиц, если бы только их организовать и образовать единое птичье государство. Пифетер берется за исполнение этой задачи: основывается в горних птичья столица Нефелококкигия («Тучекукуевск»). Выгоды ее срединного положения тотчас сказываются: люди охотно признают новых властителей, так что от их услуг даже отбоя нет; богов же птицы морят голодом, перехватывая жертвенный дым, и заставляют их капитулировать. Для выработки условий капитуляции являются с Олимпа трое, аристократ Посейдон, демократ Геракл и представитель варварских богов косноязычный Трибалл. Благодаря согласию обоих последних, которым достоинство Зевса нипочем, получается очень неприличный для богов мир; они должны выдать Пифетеру и власть над миром и еще дочь Зевса *Basileia* («Василису Премудрую»). Веселой свадьбой кончается комедия.

Это, повторяю, только главные комедии; но и во второстепенных читатель найдет множество прелестных мотивов и сцен — таковы «Ахарняне» с их сепаратным миром героя, «Осы» с их собачьим процессом, «Ирина» с ее полетом для вызволения богини мира, «Лисистрата» с ее забастовкой жен и т. д. Главная примета Аристофана — его безудержная фантастичность, его неисчерпаемая плодovitость в измышлении самых невероятных сюжетов и положений. Но эта безбрежная вольность фантастики укладывается в очень строгую композицию. Ее первичная ячейка — вышеохарактеризованная *эпиррема-тическая четверица*. На ней построены прежде всего три основных части комедии — *парод* (вступление хоров), *агон* (спор первоначально хоров, а впоследствии двух действующих лиц) и *парабаза* (первоначально заключительная часть комедии, в которой хоры сбрасывают свои костюмы и корифей от имени поэта обращается к публике); в этих трех частях еще сохранен старинный размер комедии тетраметр, смотря по условиям, анапестический, ямбический или хореический. В остальных, триметрических частях комедии эпиррема-тическая композиция

встречается на равных правах с эпизодической; последняя была особенно удобна для ряда шутливых сценок, в которых герою надоедают разные просители и тому подобные люди, которых он большей частью прогоняет.

ОБРАЗЦЫ

АРИСТОФАН

1. Всадники

Мы приводим из этой комедии ее *парабазу*.

КОРИФЕЙ ХОРА

Ну так с богом, иди. И свой подвиг сверши
 Нам на радость. Пусть Зевс, что на рынках блюдет,
 Охраняет тебя; и, лихого врага
 Одолев, из сраженья к друзьям воротись
 Поскорее, венками покрытый.

(К зрителям)

Парабазу послушайте нашу теперь
 Со вниманием вы,
 Что и раньше уж в стольких искусствах других
 Изошрили и разум и сердце.
 Если б в годы минувшие нас кто-нибудь из поэтов комедии
 приглашать захотел с парабазой его перед вами, о зрители,
 Согласились, пожалуй бы, мы нелегко. Ну, а этот услуги
 Потому, что за правду он честно стоит, на врагов ополчается
 И отважно и смело бросается в бой с огнедышащим зычным
 Тифоном¹.

¹ *Тифон* — чудовищный космогонический змей, олицетворение смерча.

Удивлялись нередко друзья, почему до сих пор не просил у
архонта
Для себя он актеров и хора. Так вот что просил через нас
передать он —
Не без разума так поступает поэт и не в страхе, но так
полагая:
Комедийное дело не шутка, но труд. Своенравна комедии Муза.
И хоть многие ласки искали ее, лишь к немногим она
благосклонна.
И любви нашей цену он знает, она непрочна, точно летние
травы,
И любимцев былых, только старость придет, вы легко
предаете забвенью.
Так и *Магнет* старинный¹ был вами забыт, с сединами
познал он бесчестье.
Хоть без счета трофеев он славных воздвиг, побеждая
противников хоры,
Хоть на разные пел ради вас голоса: по-лидийски играл,
и на лире,
И по-птичьи свистел, и осою жужжал, и веселой лягушкой
квакал —
Да себе не помог. Только старость пришла, позабыта
победная юность,
Затуманился взор соколиных очей — и старик был освистан
бесславно.
А *Кратин*? Не печальна ли доля его? Ведь, бывало,
надувшись от славы,
По полям, по лугам он стремился, бурля необорным
могучим потоком,
Вырывая с корнями платаны, дубы и противников
мелкий кустарник.
Только слышно и было что песни его на пирах,
на веселых попойках,
Про «Беру на сандалиях смоквы и лжи»² да «Искусные
зодчие гимнов».

¹ *Магнет* — первый комический поэт, нам сколько-нибудь известный. Его специальностью, как видно из дальнейшего, была сказочная комедия.

² *Беру (Doro)* — фантастическая богиня взяточничества. Она названа *Sukopedylos* (о сандалиях из смоковницы) с намеком на «сико»-фантов.

Отчего ж вы теперь не щадите его, когда стал он болтливым
 и вздорным,
 Когда выпал янтарь из кифары певца, золотые потрескались
 роги
 И ни строю ни ладу уж прежнего нет? Стариком он скитается
 жалким —
 И, как пьяница Конн, «хоть в увядшем венке», умирает
 бедняга от жажды.
 А ведь он заслужил ради прежних побед в Пританее теперь...
 напиваться,
 Не молоть чепухи, а в почете сидеть впереди, у жреца Диониса.
 И *Кратет*¹ ведь немало от ваших причуд потерпел
 поношений и горя.
 Хоть трапезой не пышной он вас угощал на веселых пирах
 комедийных,
 Но в трезвейших речах вас досыта кормил невзыскательной
 мудростью житной.
 До конца удержался он все же один, то хвалу, то свистки
 пожиная.
 Вот таких-то примеров страшился поэт. Да к тому ж полагал он,
 что прежде,
 Чем кормило схватить, должен быть он гребцом, а потом уж и
 боцманом зорким,
 Чтоб природу ветров своевольных понять, а затем
 уж умелой рукою
 Самому свой корабль направлять и вести. Так за то,
 что разумно и скромно,
 Не кичась наобум, не бросаясь вперед, он выходит
 с комедией в море,
 Подымите вы плеск веселей и дружней, веселее ударьте
 по веслам,
 Чтоб ликующий шум, что Ленеям² пристал,
 Был поэту наградой, чтоб радостным он
 И довольным ушел,
 Лучезарным сверкая затылком³.

¹ *Кратет* — старший современник Аристофана, подвизался главным образом в презираемой им бытовой комедии.

² *Ленеи* — январский праздник Диониса, тоже украшаемый постановками драм. «Всадники» были поставлены в Ленеи 424 г.

³ Аристофан еще в молодости облысел.

ПЕРВОЕ ПОЛУХОРИЕ

Коней владыка! Люб тебе,
О Посейдон, четверок хrap,
Медных копыт тяжелый звон
И под кормою расписной
Зыби триер победных.
И молодежи пышный рой
На колесницах любишь ты,
Тяжкой боримый страстью.
Суний свят тебе, свят берег Гереста¹;
В наш сойди хоровод, бог о трезубце,
Царь дельфинов, о Крона сын!
Формиону² любезен ты,
И Афинам из всех богов
Ныне свят и почтенен.

*СТАРШИЙ ВСАДНИК
ПЕРВОГО ПОЛУХОРИЯ*

Восхвалить хотим мы ныне наших дедов и отцов.
Славы родины достойных и покрова Госпожи³.
Без числа в бореньях пеших и борясь на кораблях,
Побеждая, прославляли имя города они.
Силы вражьи не считали наши деды, идя в бой,
Но решали в яром сердце отразить и одолеть;
Если ж в битве и склонялись, то, как опытный боец,
Отряхали пыль и словно и не падали они;
И сражение продолжали и сражались до конца.
Не гонялись за отличием полководцы в годы те.
Угощенья в Пританее у Клеонова отца⁴
Не просили — ну а ныне полководцы таковы,
Что сражаться не желают, коль награды им не дашь.
Мы же рады бескорыстно и родимую страну
И родимые святыни защищать и беронить.

¹ На *Сунии*, мысе Аттики, стоял храм Посейдона; *Герест* — мыс Евбеи.

² *Формион* — славный афинский адмирал Перикловой эпохи.

³ На подносом Афине в Панафинеи пеплосе изображались и за-
служенные граждане.

⁴ То есть у *Клеонеита*. Место загадочное.

А награды не попросим никакой — иль разве вот:
Пусть, когда придет Ирина и от бед мы отдохнем,
Хоть и в кудрях непослушных, вам любезны будем мы¹.

ВТОРОЕ ПОЛУХОРИЕ

О Градодержица, тебя,
Дева Паллада, мы зовем.
Свята земля твоя, и нет
В мире кругом меча острей,
Нет и поэтов слаще.
К нам низойди! И пусть с тобой
Та, что в походах и боях
Спутница наша вечно.
К нам Победа придет — хоров подруга.
На врагов пусть она с нами восстанет.
Ныне, Дева, явись, явись;
В битве мы одолеть должны.
Дай победу певцам твоим
Ныне вновь как и прежде.

*СТАРШИЙ ВСАДНИК
ПЕРВОГО ПОЛУХОРИЯ*

Восхвалить хотели мы коней, наших преданных друзей².
Похвалы они достойны. Много подвигов и битв,
Много схваток и сражений вместе мы перенесли,
Но не подвиги на суше будем славить мы, а то,
Как, на барки погрузившись, в море выплыли они.
Взяли чарку для похода, взяли луку, чесноку,
А потом схватили весла, словно были бы людьми,
И поплыли, и заржали: «Иппапей!³ Берись дружнее!
Налегай же! В чем тут дело? Да гребь, гребь, саврас!»
Вышли на берег в Коринфе. Новобранцы бивуак
Тут копытами вскопали да соломы принесли;

¹ Длинные волосы — примета аристократизма.

² Добродушное праздничное прославление смелого налета всадников на коринфскую область.

³ Приспособление к коням сигнального крика афинских моряков: «*ῥηυρραῖ*».

Клевер вовсе позабыли. Ели крабов лишь морских;
Их по берегу искали и ловили в глубине.
Говорит Феор¹, воскликнул так тогда коринфский краб:
«Посейдон, беда! Что делать? Нам от всадников теперь
Ни в пучине, ни на море, ни на суше не уйти».

2. Осы

«Осы», поставленные в 422 г., направлены против страсти афинских старцев заседать присяжными в уголовных судах, за что получали они, милостью Клеона, по 3 обола в день. Стараясь отучить своего отца от этой страсти, сын (Мстиклеон) предлагает ему в виде возмездия домашний суд. Хор состоит из присяжных в костюме ос; он уже обращен предыдущим агонем.

Мстиклеон — молодой и зажиточный афинянин. Он велел рабам не выпускать из дому своего отца *Клеонослава*, страстно желающего отправиться заседать присяжным в суде. Его товарищи-присяжные (хор трагедии, вследствие их злобности в костюме ос) приходят его освободить; Мстиклеон препятствует. Начинается «агон» между Клеонославом (за суды) и Мстиклеоном (против), в котором побеждает последний; хор переходит на его сторону, но Клеонослав чувствует пустоту в своей жизни; чтобы его вознаградить, сын предлагает ему домашний суд. Это дает повод к следующему *собачьему процессу*, иллюстрирующему фантастический характер древнеаттической комедии.

МСТИКЛЕОН

Молю богами, батюшка, послушайся!

КЛЕОНОСЛАВ

В чем слушаться, скажи? Лишь об одном молчи.

МСТИКЛЕОН

О чем?

КЛЕОНОСЛАВ

Чтобы судьейю мне не быть. А то,
Пусть мной Аид владеет — не послушаюсь.

¹ Феор — афинский красnobай.

МСТИКЛЕОН

Уж раз тебя так сильно это тешило,
Так дома оставайся. Не ходи туда,
Но здесь суды ряди над домочадцами.

КЛЕОНОСЛАВ

О чем? Ты бредишь!

МСТИКЛЕОН

Как и там заведено.
За то, что дверь служанка отопрет тайком,
Пусть пеня в драхму на нее наложится.
Ведь всякий раз ты так же поступал и там.
Да и разумно. Если светит солнышко,
Грехи в пригреве разбирай. В метелицу
У огонька рассядься. В дождь — под кров зайди.
Проснись хоть пополудни, у тебя дверей
Пред носом не закроет гордый фесмофет.

КЛЕОНОСЛАВ

Так люблю мне.

МСТИКЛЕОН

К тому же, если длинную
Затянут речь, не будешь, мучась голодом,
Ты грызть себя на горе подсудимому.

КЛЕОНОСЛАВ

Но как сумею в деле разобраться я,
Как прежде, если стану, рот набив, жевать?

МСТИКЛЕОН

Еще и лучше. Ведь недаром сказано:
«Свидетели солгали в показаниях,
Но судьи дело, разжевав, распутали».

КЛЕОНОСЛАВ

Ты убедил, вития! Но еще скажи,
Где плату брать мне?

МСТИКЛЕОН

У меня.

КЛЕОНОСЛАВ

И ладно то,
Что станут одному мне без других платить.
Лисистрат-шут преподло поступил со мной.
Намедни, драхму получив одну из двух,
На рынок мы менять пошли. Там дал он мне
Три щучие чешуйки. Я и взял их в рот,
Принявши за оболы¹. Разобрал потом
По вонии отвратительной и выплюнул.
В суд поволок.

МСТИКЛЕОН

Ну, что ж сказал он?

КЛЕОНОСЛАВ

Что сказал?
Что у меня кишки-де петушиные²,
Глотаешь живо деньги. Тем и кончилось...

МСТИКЛЕОН

Ну видишь ли, в какой ты будешь прибыли?

КЛЕОНОСЛАВ

В немалой, да. Но что наметил, выполни.

¹ В Греции простолюдины часто носили мелкие монеты во рту.

² Сказочный мотив.

МСТИКЛЕОН

Здесь подожди. Что надо, тотчас вынесу.

Уходит.

*КЛЕОНОСЛАВ
(один)*

Вот на ж тебе. Пророчество сбывается¹.
Я слыхивал, что некогда афиняне
У очагов судить и разбирать начнут.
И каждый у дверей своих повыстроит
По судику. Совсем он будет крошечный,
В Гекатину божничку. Что ни дом, то суд.

*МСТИКЛЕОН
(возвращается с поклажей)*

Смотри! Чего ж ты хочешь? Притащил я все,
Что обещал. Еще и боле в много раз.
Сперва посуда, вдруг нужду почувствуешь².
Здесь под рукой повесь ее на гвоздике.

КЛЕОНОСЛАВ

И вправду средство ты придумал мудрое
От колик и удобное для старого.

МСТИКЛЕОН

Жаровня вот. На ней похлебка греется.
Захочется — попробуй.

КЛЕОНОСЛАВ

Тоже кстати мне.
Теперь и в жар я тоже заработаю,
И, дома сидя, угощусь похлебкою.
А петуха на что же притащили вы?

¹ Пародия на страсть афинян к предсказаниям.

² Образчик (очень скромный) откровенности древней комедии.

МСТИКЛЕОН

Чтоб, если б задремал ты под шумок речей,
Петух, закукарекав, разбудил тебя.

КЛЕОНОСЛАВ

Еще б одно. Доволен я другим.

МСТИКЛЕОН

А чем?

КЛЕОНОСЛАВ

Когда б добыл ты Ликову часовенку.

МСТИКЛЕОН

Да вот она¹. А это и владыка сам.

КЛЕОНОСЛАВ

Герой могучий! Как утрюм и грозен ты.

МСТИКЛЕОН

Таким себя являет Клеоним-герой².

КЛЕОНОСЛАВ

И верно, хоть герой он, а оружия нет.

МСТИКЛЕОН

Живей садись. Тогда и разбирательство
Начну я.

КЛЕОНОСЛАВ

Начинай. Уж я давно сижусь.

¹ *Лик* — один из сыновей мифического царя Аттики Пандиона. Близ его часовни находилось отделение суда присяжных, в котором заседал Клеонослав. Но что принес его сын — для нас неясно.

² *Клеоним* — известный трус и сикофант.

МСТИКЛЕОН
(в сторону)

С чего бы нам начать теперь? Подумаю...
Кто провинился в чем-нибудь из челяди?
Уж Фратта, что ль, за блюдо пригорелое?

КЛЕОНОСЛАВ

Эй ты, постой-ка, чуть не уморил меня.
Так без барьера заседать ты думаешь,
Что первым нам из всех святынь является?

МСТИКЛЕОН

Ей-богу, нет барьера.

КЛЕОНОСЛАВ

Сам я сбегаю
И что-нибудь из дому притащу тотчас.

Убегает.

КСАНФИЙ
(вбегает)

Пошел к чертям! Такого пса кормить еще!

МСТИКЛЕОН

В чем дело, братец?

КСАНФИЙ

Да Лохмат, проклятый пес¹,
Прокравшись в кухню, сыру сицилийского
Кусок большой стянул и проглотил, подлец!

¹ Намек на *Лохета*, известного из Платона афинского стратега в Сицилии. Его обвиняли во взяточничестве по наущению Клеона; его процесс как раз предстоял (греческие каламбурь: *Laches. Labes* — «хватай»).

МСТИКЛЕОН

А вот и дело первое, что батюшке
На суд я дам. Ты будешь обвинителем.

КСАНФИЙ

Избави бог. Но с обвиненьем вызвался
Другой уж пес, коль делу вы дадите ход.

МСТИКЛЕОН

Веди сюда обоих.

КСАНФИЙ

Будет сделано.

Уходит. Входит Клеонослав с ношей.

МСТИКЛЕОН

А это что же?

КЛЕОНОСЛАВ

Поросятник Гестии.

МСТИКЛЕОН

Что взял ты, святотатец?

КЛЕОНОСЛАВ

Для того и взял,
Чтоб, с Гестии начавши¹, мне расправиться.
Поторопись. По казни изнываю я.

МСТИКЛЕОН

Постой, дощечки принесу и жалобу.

¹ *Начинай с Гестии* — поговорка.

КЛЕОНОСЛАВ

Меня убьешь ты бесконечным мешканьем!
И борозды в песке с меня достаточно.

МСТИКЛЕОН
(возвращается)

Ну вот, принес.

КЛЕОНОСЛАВ

Зови же.

МСТИКЛЕОН

Тотчас.

КЛЕОНОСЛАВ

Кто ж такой
Предстанет первым?

МСТИКЛЕОН

Черт возьми. Досадно как,
Что урны позабыл я притащить еще.

(Порывается бежать.)

КЛЕОНОСЛАВ

Куда же ты?

МСТИКЛЕОН

За урнами.

КЛЕОНОСЛАВ

Не надо их.
На что же кружки эти под рукой у нас?

МСТИКЛЕОН

Прекрасно. Все, что надобно, у нас теперь
Как будто есть. Одних часов вот нет еще.

КЛЕОНОСЛАВ
(указывая горшок на стене)

А это что же? Это ль не часы, скажи?¹

МСТИКЛЕОН

Ты славно всё добыл и по-аттически.
Эй, кто там? Принесите нам огня живей.
Да миртовых ветвей еще, да ладану.
Чтоб, к делу приступая, помолиться нам.

КОРИФЕЙ

Возлияния ваши и ваши мольбы
Пожеланьем благим
Мы напутствовать рады. Окончив вражду,
Позабыв и раздоры, и споры, и брань,
Вы пришли к благородному миру.
Кругом да воцарится благоречие.

ПЕРВОЕ ПОЛУХОРИЕ

О Аполлон Пифийский², дай удачу нам,
В том деле, что вот этот
Перед дверьми начнет. Оно
О счастье да будет нам,
Уставшим от блужданий,
Пean-Исцелитель!

МСТИКЛЕОН

Господин и владыка, сосед Агией, о дверей моих страж и
хранитель!

¹ Часы предполагаются водяные, на этом основании дальнейшая неблаговонная острога.

² Аполлон Агией (т. е. «уличный») — хранитель наружной части дома.

Эту новую жертву, владыка, прими, что во здоровье отца мы приносим.

От ворчливого нрава его исцели, исцели от суровости злобной.

Чтобы к людям отныне он мягче душой

И незлобнее стал,

Чтобы он подсудимых щадил и жалел.

Не жестоких истцов,

Чтобы, слыша моления, и сам он рыдал,

Чтоб он черствость оставил и злобу забыл

И чтобы гневных забот

Из души он повыврал крапиву.

ВТОРОЕ ПОЛУХОРИЕ

С тобой молитвы наши. Вняв речам твоим,

К тебе мы благосклонны,

С тех пор как поняли, что ты

Народу предан, как никто

Из граждан молодых.

МСТИКЛЕОН

Кто за дверями из судей? Входи-входи!

Впускать не будем, чуть начнут ораторы.

КЛЕОНОСЛАВ

Кто ж подсудимый?

МСТИКЛЕОН

Вот он.

КЛЕОНОСЛАВ

Я ж задам ему!

МСТИКЛЕОН

Вот жалоба, о судьи. «Обвиняется

Лохмат-Эксонец псом Кидафинейцем в том,

Что, сыру сицилийского кусок добыв,

Один он съел. А кара — плеть смоковная.

КЛЕОНОСЛАВ

Умрет собачьей смертью, раз виновен он.

МСТИКЛЕОН

А вот и подсудимый пред тобой — Лохмат.

КЛЕОНОСЛАВ

А, пес негодный! Так и смотрит жуликом,
Хвостом виляя, хочет обмануть меня!
А где же сам истец, Кидафинеийский пес?¹

ПЕС

Гам! Гам!

МСТИКЛЕОН

Он здесь.

КЛЕОНОСЛАВ

Второй Лохмат, поистине,
Здоров и лаять, и горшки вылизывать.

МСТИКЛЕОН

Молчи и сядь.

(Ксанфию)

Ты встань и обвинять начни.

КЛЕОНОСЛАВ

Да, начинай. А я глотну тем временем.

КСАНФИЙ

Вы обвиненье слышали, о граждане,
Что я ему вчиняю. Ведь и подлинно

¹ Из Кидафиния (*Kudathenoion* — часть Афин) был родом Клеон.

Ужасно обошелся и со мною он,
И с людом корабельным. Сыра кус большой
Он в уголок ссицилил и уплел впотьмах.

КЛЕОНОСЛАВ

Ей-богу, дело ясно! Вот и тотчас он
В лицо рыгнул мне сыром отвратительно.
Поганый пес!

КСАНФИЙ

А мне так ничего не дал,
Как ни просил. А как тому полезным быть
Для вас, что мне-то, псу, не кинет корочки?

КЛЕОНОСЛАВ

И мне не дал ни крошки в долю общую.
Молодчик теплый и под стать похлебке вот.

МСТИКЛЕОН

Молю, отец, не предрешай заранее,
Но выслушай обоих.

КЛЕОНОСЛАВ

Да, голубчик мой,
Ведь дело ясно! Дело вопиет само!

КСАНФИЙ

Так бойтесь оправдать его. Из всех собак
Мужчина этот самый одножористый.
Все ступки переплыл он, у кормила став,
И, городов объевши корки, кормится.

КЛЕОНОСЛАВ

А мне и миски нечем залатать теперь.

КСАНФИЙ

Так накажите ж грешника. Ведь сказано,
Что двум вора́м не место под кустом одним.
Чтоб не пришлось мне ныне лаять попусту.
А нет. Так лаять больше уж не буду я.

КЛЕОНОСЛАВ

Эге! Эге!
В каких же он злодействах уличается!
Рожденный вор! А ты, петух, как думаешь?
Ей-богу, мне мигает, что согласен он.
Эй, председатель! Где он? Пусть горшок подаст.

МСТИКЛЕОН

Достанешь сам. Я вызову свидетелей.
Лохматовы свидетели, сюда: лохань,
Бадейка, плошка, сыротерка, песть, сюда!
И вся другая утварь приглашается. (*Клеонославу.*)
Но ты все тем же занят? Все не сел еще?

КЛЕОНОСЛАВ

Вот этак и ему не поздоровится.

МСТИКЛЕОН

По-прежнему ты зол и раздражителен.
И на кого же зуб? На подсудимого!
Встань! Защищайся! Что молчишь? Да молви же!

КЛЕОНОСЛАВ

Ему и говорить-то, видно, нечего.

МСТИКЛЕОН

Нет. То же с ним, мне кажется, что некогда
Случилось с Фукидидом¹. На суде как раз

¹ Этот *Фукидид* — не известный нам ближе старик, оговоренный сикофантом.

Отнялись у него от страха челюсти.
Так отойди. Я стану защищать тебя.
Конечно, трудно, заступаться, граждане.
За пса, так низко ложью обличенного.
Но попытаюсь. Добр он и волков гроза.

КЛЕОНОСЛАВ

И вор, и заговорщик он отъявленный.

МСТИКЛЕОН

Нет, лучший он из песьих современников.
Овец достоин многих быть хранителем.

КЛЕОНОСЛАВ

Что толку в этом, если сыр он лопают?

МСТИКЛЕОН

Что толку? Бьется за тебя он, двор хранит.
Вообще прекрасен. А стянул немножечко,
Так ты прости. На лире не обучен он¹.

КЛЕОНОСЛАВ

Что до меня, так был бы уж неграмотным,
Чтоб нам защиты мерзкой не читать его!

МСТИКЛЕОН

Почтеннейший! Послушай-ка свидетелей.
Встань, сыротерка, говори отчетливей.
Ведь казначеем ты была. Ответь же нам:
Истерла ты, что для солдат получено?
Истерла, молвит.

КЛЕОНОСЛАВ

Врет она, свидетель Зевс.

¹ Поговорка. Уметь играть на лире должен был каждый образованный афинянин; к исключениям принадлежал, однако, Фемистокл.

МСТИКЛЕОН

Любезный сударь! Пожалей несчастного!
Лохмат шипами кормится, огрызками.
В отлучке вечно. Ну, а тот? Тот пес цепной.
Он домосед. И кто бы ни принес чего,
Он доли хочет; нет, так укусить готов.

КЛЕОНОСЛАВ

Откуда эти слезы? Раскисаю я!
Беда стряслась. Он, право, убедил меня.

МСТИКЛЕОН

Молю тебя, о сжался, сжался, батюшка,
И не губи беднягу. Где же детки-то?
Сюда, мерзавцы! С визгом и скулением
Просите, плачьте, заклиняйте, требуйте¹.

КЛЕОНОСЛАВ

Сходи, сходи, сходи, сходи!

МСТИКЛЕОН

Сойду ужю.
И хоть ввели уж многих в заблуждение
«Сходи» такие, все же я готов сойти.

КЛЕОНОСЛАВ

Э, черт! Как вредно заодно прихлебывать.
Ведь потому лишь разум я и выплакал,
Что заседание заедал похлебкою.

МСТИКЛЕОН

Так будет он оправдан?

КЛЕОНОСЛАВ

Мудрено сказать.

¹ Часто практиковавшийся порядок разжалобить судей.

МСТИКЛЕОН

Нет, гнев смени на милость, милый батюшка.
И, камень этот взявши, в урну заднюю,
Зажмурясь, кинь. Лохмата оправдай, отец!

КЛЕОНОСЛАВ

Э, милый, нет. На лире не обучен я.

МСТИКЛЕОН

Тогда к другой живее проведу тебя.

КЛЕОНОСЛАВ

Где ж первая?

МСТИКЛЕОН

Вот эта.

КЛЕОНОСЛАВ

Положу сюда!

МСТИКЛЕОН

Обманут он. И оправдал, не ведая.
Давай считать.

КЛЕОНОСЛАВ

Ну, как-то рассудили мы?

МСТИКЛЕОН

Сейчас узнаем. Эй, Лохмат! Оправдан ты!
Но что с тобою?

КЛЕОНОСЛАВ

Дурно, ах! Воды, воды!

МСТИКЛЕОН

Отец, отец, мужайся!

КЛЕОНОСЛАВ

Повтори еще:

Оправдан он?

МСТИКЛЕОН

Клянусь.

КЛЕОНОСЛАВ

Так я ничто уже.

МСТИКЛЕОН

Да не горюй же, батюшка, приди в себя.

КЛЕОНОСЛАВ

Меня замучит совесть: подсудимого
Я оправдал. О, что со мною станется!
Но вы простите, боги многочистимые,
Неволен грех мой. Нрава не такого я.

МСТИКЛЕОН

И не печалься. Будешь ты превесело
Со мною жить. Тебя я буду, батюшка,
С собой водить повсюду: и на праздники,
И на пирушки, на обеды званые.
И сладко ты, ей-богу, заживешь теперь.
И Гипербол не станет надувать тебя.
Войдем же в дом.

КЛЕОНОСЛАВ

Коль хочешь ты, согласен я.

Входят в дом.

3. Фесмофории

Нижеследующие отрывки приводятся как образчики *пародического* элемента древнеаттической комедии. Пародируются две трагедии Еврипида: «Елена» и «Андромеда», из коих первая нам сохранена (см. Театр Еврипида И. Ф. Анненского под моей редакцией, т. II), другая — нет (отрывки см. Театр Еврипида т. VI).

Еврипид проведаль, что собирающиеся на праздник Фесмофорий женщины намерены говорить в своем собрании по поводу женоненавистнической тенденции его трагедий и вынести неприятную для него резолюцию; он хочет уговорить женоподобного собрата, трагика Агафона, переодеться женщиной и, отправившись к празднующим, произнести речь в его пользу; когда же Агафон отклоняет это опасное поручение, его свояк — по рукописям, его тесть Мнесилох — возмущенный этой трусостью, решает сам это исполнить. Для этого ему приходится первым делом пожертвовать своей седой бородою; затем он отправляется на праздник, напутствуемый благословением Еврипида и его обещанием выручить его в случае беды. Роль свою он разыгрывает добросовестно, но его все-таки обличают. Одна из женщин отправляется доложить о святотатстве притану; другие возвращаются к священнодействиям, оставив Мнесилоха, все еще переодетого, под надзором дюжей и злой старухи. Тот не унывает — недаром он поклонник Еврипида. И вот тут начинается пародия.

Сначала он разыгрывает *Телефа* с похищенным ребенком у алтаря; но ничего не выходит, так как ребенок оказывается переодетым винным мехом и после испития теряет всякую ценность. Затем прикидывается *Паламедом* (соответственная трагедия была поставлена в 415 г.), но и это не действует. Он начинает сердиться.

МНЕСИЛОХ

Чуть глаз не вывихнул: гляжу, гляжу —
Его же нет как нет. Что с ним? Наверно
Стыдится «Паламеда» своего.
И подлинно: вещь слабая. Какой же
Трагедией его мне заманить?..
Нашел: я новую его «Елену»
Здесь разыграю. Кстати и наряд
Оставили мне женский. Ну, за дело!

СТАРУХА

Ты что ворочаешься? Что юлишь?
Я дам тебе Елену! Смирно, старый,
Сиди, пока не явится притан!

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Здесь блещут Нила девственные волны:
*Взамен росы небесной. Он поит
Египта* черномазые отродья¹.

СТАРУХА

Клянусь Гекатой светоносной, плут ты!

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Отечество на долю не без славы
*Мне дали боги: Спарту; и Тиндар
Был мне отцом.*

СТАРУХА

Тебе отцом, мерзавец,
Был он? По-моему, скорей Фринонд².

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Я названа Еленой.

СТАРУХА

Что? Опять
Ты лезешь в женщины? Сначала, друг мой,
За прежнюю проделку расплатись!

¹ Курсивом здесь и далее выделены цитаты из еврипидовских трагедий: «Елены» и неизвестных; последние помечены сносками переводчика. (Прим. сост.)

² *Еврибат* и *Фринонд* были излюбленными типами мошенников в Аттике.

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

И много душ из-за меня погибло
На берегах Скамандра.

СТАРУХА

Очень жаль,
Что без тебя!

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Спасибо! С той поры
Я здесь живу, а муж мой злополучный,
Мой Менелай, замешкался, проклятый!
И для чего ж еще живу я?

СТАРУХА

Видно,
Не знают дела вороны свово!

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Но что-то душу мне ласкает. Боже!
Не погуби надежды нежной цвет!¹

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

(появляется, потешно покрытый
лохмотьями паруса)

Вот дивная твердыня! Чья она?
Кто примет чужестранцев, утомленных
И свистом бурь, и качкою морской?²

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Ты видишь дом Протея.

¹ Из неизвестной трагедии.

² Последние два стиха тоже из неизвестной трагедии.

СТАРУХА

Что? Протея?
Ах, образина! (*Еврипиду.*)
Врет он, вот те две
Богини! Умер он, тому лет десять¹.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

В какую ж землю бог меня направил?

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

В Египет.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

О, куда я занесен!

СТАРУХА

Ты висельнику веришь? Вздор сплошной
Он мелет. Пред тобою — Фесмофорий.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

А сам Протей — в отъезде он иль дома?

СТАРУХА

Тебя, я вижу, укачало, гость,
И здорово: ведь сказано, что умер
Протей! А ты: «В отъезде он иль дома?»

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Он умер? Горе! Где ж похоронен?

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Вот гроб его; на нем сажу я ныне.

¹ Старуха имеет в виду афинского стратега *Промея* (*Proteas*, не *Proteus*), Эпиклова сына.

СТАРУХА

(испуганная и возмущенная)

Провал тебя возьми! Возьмет, увидишь:
Как смел ты гробом называть алтарь?

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

А ты зачем в сидении могильном
Поникла здесь с покрытою главою?

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Протея сын на брак меня зовет.

СТАРУХА

Зачем ты, тварь, обманываешь гостя?
Мошенником сюда пришел он, гость,
На украшенья женские польстился!

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Твой лай меня не тронет!

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Чужестранка,
Кто эта ведьма, что тебя поносит?

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Царевна Феоня.

СТАРУХА

Да, как раз!
Критилла Антифеева, с Гаргетта,
А ты — бесстыдник.

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Что ж, бранись, но я
За брата твоего не выйду, бросив
Супруга, что под Троей, — Менелая.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Кого? Сюда зеницами блесни!

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА
(стыдливо отворачиваясь)

Мне совестно, что бороду я сбрила.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Что ты промолвила? Язык коснеет.
Что вижу, боги, я? Кто ты, жена?

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Открой себя. Желанья нас роднят.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Гречанка ты иль здешняя? Скажи мне.

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

Гречанка, да. А ты? Ты тоже грек?

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Ты до того похожа на Елену!

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА

*Ты ж — вылитый Атрид из-под петрушки*¹.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Да, это я — увы — несчастный этот!

¹ Комические поэты часто попрекают Еврипида профессией его матери Клиты, которая была огородницей.

МНЕСИЛОХ-ЕЛЕНА
(бросается к нему)

О, наконец, вернулся ты к жене.
Бери меня, супруг! Обвей рукою,
Облобызай! Бери-бери-бери —
Живее только!

Хочет с ним бежать; старуха преграждает им путь.

СТАРУХА

Взвоят тот, который
Посмеет увести тебя отсюда:
Всю шкуру факелом ему спалю.

ЕВРИПИД-МЕНЕЛАЙ

Не волен я жену свою отсюда,
Тиндара дочь, во Спарту увести?

СТАРУХА

Да ты и сам, любезнейший, не плут ли
И не сообщник ли ему? Недаром
Арапами прикидывались. Ну,
К нему расплата близится, я вижу:
Идет притан, и полицейский с ним.

ЕВРИПИД

Да, дело дрянь. Теперь давай бог ноги!

МНЕСИЛОХ

А я, несчастный?

ЕВРИПИД

Будь покоен; я
Тебя не выдам, если жив останусь.
Мои уловкам нет числа, поверь.

Уходит.

СТАРУХА

На этот раз пустым вернулся невод.

Действие развивается следующим образом. Притан приказывает полицейскому (скифскому стрелку) привязать Мнесилоха в его женском костюме к позорному столбу. Это у древних было переносное сооружение, стоявшее обыкновенно в «участке»; поэтому полицейский первым делом уводит Мнесилоха к себе в участок, и сцена остается пустой. После хорической песни плясового характера возвращается полицейский, неся (быть может, с помощью товарищей) привязанного к позорному столбу Мнесилоха, и ставит его посредине площади. Затем следует сцена пародии (диалог полицейского в подлиннике представляет собою потешный ломаный скифо-греческий язык).

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Твой здэс рэвэт под сам открытый нэба.

МНЕСИЛОХ

Стрелок, прошу.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Твой нэ проси мэнэ.

МНЕСИЛОХ

Ты гвоздь... того, полегче.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С удовольствием,
Душа моя.

Еще туже вбивает гвоздь.

МНЕСИЛОХ

Ай-ай! Еще ведь туже
Его ты вбил!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Твой хочет, чтоб эщо?

МНЕСИЛОХ

Ай-ай! О, чтоб ты лопнул, зверь!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Молчат,
Проклатая старык! Я мой циновка
Суды нэсэт, чтоб караулыт твой.

Уходит.

*МНЕСИЛОХ
(один)*

Ну, удружил мне Еврипид... Но что
Я вижу там? О Зевс-спаситель, боги!
Надежда вновь блеснула. Нет, не выдаст
Меня он, видно. Подбежав Персеем,
Он дал мне знак, чтоб Андромедой стать.
Ну, что ж, я в узах; все подходит, значит.
А он меня наверное спасет.
Иначе б он не прилетел. За дело!

Поет.

*Подруги-девы милые,
Ах, как бы мне удрать, да так,
Чтоб скифа облапошить.
Услышь, о пещерная нимфа,
Прошу тебя, дай наконец
Мне к жене вернуться.
Бездушен, кто связал меня,
Многострадальнейшего всех
Среди людей.
Едва от ведьмы я ушел*

Беззубой; но спасенья нет:
Страж неотлучный скиф меня
Блюдет; подвесил он меня,
Чтоб в безотрадной смерти стал
Я пищей воронам и псам.
Вы видите, подруженьки:
Не игр веселье девичьих,
Не с черняками чашечка
Царевне предстоит:
Ах, нет, жестоким вервием
Скрутили руки нежные,
Добычею чудовища
Главкета я стою.
Не мне напевы брачные;
Лишь плач, достойный узницы,
Из ваших уст, подруженьки,
Пусть жалобно звучит.
О доля, доля горькая!
Не пожалел несчастного
Меня мерзавец родственник,
Заставил песнь унылую
Царю подземных петь.
Меня обрил он наперво,
Украсил юбкой ситцевой
И в этот храм напутствовал,
В объятья злобных баб.
Жребий безжалостный, доля проклятая.
Боги, ужели вас горя гнетущего
Ноша не тронет на вые израненной?
Зевс — повелитель стрелы бурнопламенной,
Испепели ты негодного варвара.
Нет уж отрады мне в свете, повисшему;
Рвется душа моя в сумерки синие,
Где мреет утомленных сонм.

Голос Еврипида-Эхо

О здравствуй, дева! А отца Кефея,
Что выставил тебя, да сгубит бог!

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

А сам ты кто, что пожалел меня?

Голос Еврипида-Эхо

Речей я пересмешница, Эхо,
Что год назад на этом самом месте
Бок о бок с Еврипидом состязалась.
Но это все неважно. Ты ж, дитя,
Займись своим достойным горя делом
И вой!

*МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА
(возмущенный)*

Спасибо! Ты ж — сугубо вой.

Голос Еврипида-Эхо

Не беспокойся. Начинай свой плач.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

О могучая Ночь!
По покрову святому эфира,
О, сколь долгим томишь ты ристаньем коней
Средь пылающих звезд,
Недоступного стражей Олимпа.

Голос Еврипида-Эхо

...Олимпа.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

О, за что Андромеде достался удел
Безотраднее всех?..

Голос Еврипида-Эхо

...безотраднее всех.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

И судили ей смерть?

ГОЛОС ЕВРИПИДА-ЭХО

...и судили ей смерть

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА
(*теряя терпенье*)

Уморишь меня, ведьма, своей болтовней!

ГОЛОС ЕВРИПИДА-ЭХО

...болтовней.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

Надоела ты, право. Отстань.
Не замай!

ГОЛОС ЕВРИПИДА-ЭХО

Не замай!

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

Дай хоть арию кончить, почтенная, мне!
Сделай милость, умолкни!

ГОЛОС ЕВРИПИДА-ЭХО

Умолкни.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

Нет сил!
Убирайся к чертям!

ГОЛОС ЕВРИПИДА-ЭХО

Убирайся к чертям.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

Вот напасть!

Голос Еврипида-Эхо

Вот напасть.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

Что за вздор!

Голос Еврипида-Эхо

Что за вздор.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

Отвяжись!

Голос Еврипида-Эхо

Отвяжись.

МНЕСИЛОХ-АНДРОМЕДА

Провались!

Голос Еврипида-Эхо

Провались.

Тем временем полицейский с циновкой вернулся на сцену. Происходящее для него совершенно непонятно; он обращается прежде всего к узнику, который при виде его умолкает.

Полицейский

Что там твой говорят?

Голос Еврипида-Эхо

Что там твой говорят.

Полицейский

Мой прытан позовет!

Голос Еврипида-Эхо

Мой прытан позовет.

Полицейский убеждается, что причиной дебоша не узник, а какой-то чужой загадочный голос.

Полицейский

Что за крык?

Голос Еврипида-Эхо

Что за крык.

Полицейский

Гдэ ты, гдэ?

Голос Еврипида-Эхо

Гдэ ты, гдэ

Полицейский

(опять обращается к Мнесилоху)

Это твой говорит?

Голос Еврипида-Эхо

Это твой говорит.

Полицейский

Мой колотыт тэбэ.

Голос Еврипида-Эхо

Мой колотыт тэбэ.

Полицейский
(замахивается нагайкой)

Твой смэется на мой?

Голос Еврипида-Эхо

Твой смэется на мой.

МНЕСИЛОХ

Да не я же. То баба: пойми, она здесь!

Голос Еврипида-Эхо
(справа)

Она здесь.

Полицейский
(бросается направо)

Гдэ ты, стэрва? Уж баба пропал!
Эй, куда твой бэжит?

Голос Еврипида-Эхо
(слева)

Эй, куда твой бэжит?

Полицейский
(бросается налево)

Эй, я дам тэбэ! Стой!

Голос Еврипида-Эхо
(справа)

Эй, я дам тэбэ! Стой!

Полицейский
(направо)

Твой опат говорит?

Голос Еврипида-Эхо
(слева)

Твой опат говорыт.

Полицейский
(налево)

Мой мэрзавка хватай.

Голос Еврипида-Эхо
(справа)

Мой мэрзавка хватай.

Полицейский
(выбившись из сил, бросается на циновку)

О проклатый, болтливый старуха!

Пауза. Затем Еврипид появляется, переодетый Персеем. Музыка, сопровождавшая анапесты, умолкает.

Еврипид-Персей

*В какую область варварского круга
Меня примчал сандали полет?
Мой путь прорезан в синеве эфира
Крылатою стопой; пред вами сам
Персей, с главой Горгоны устремленный
В Аргос...*

Полицейский

Твой что сказал? Твой — голова
Несэт пысатэль Горга?

Еврипид-Персей

Говорят тебе:
Горгоны.

Полицейский

Горга говорыт и мой.

Еврипид-Персей

А вот скала: к ней образ девы дивный
Привязан, точно лодка на причале.

Мнесилох-Андромеда

О сжался надо мной, несчастной, гость!
Сними оковы.

Полицейский

Твой нэ смэй болтать!
Мэрзэц! Под самый смэрть эщо болтаэт?

Еврипид-Персей

Мне жаль тебя, повисшую над бездной.
О дева!

Полицейский

Она нэ дэва; старыкашка
Поганая, плутышка он и вор.

Еврипид-Персей

Ты вздор несешь, почтенный скиф; ведь это —
Кефея дочь, царевна Андромеда.

Полицейский
(смеется)

Гдэ глаз твоя? Пэрэвэрнул мушшына
На женщына — и разныца нэ знал?

Еврипид-Персей

О, дай руки коснуться этой девы,
Скиф! Пожалей: у каждого из смертных

Своя болезнь; так и меня любовь
К красавице царевне обуяла.

Полицейский
(еще громче смеется)

Мой нэ завыдуэт тэбэ, душа
Моя! Хы-хы! Каб зад ты на пэрэд
Пэрэвэрнула... Хы-хы-хы! Валяй!

Еврипид-Персей

Дозволь ее освободить мне, скиф,
И счастьем с ней любовным насладиться.

Полицейский
(умирая со смеху)

Влубылся в старыкашка! Так и быть:
Тащы бурав! Столб просверлы, душа!

Еврипид-Персей
(пользуется добродушным настроением скифа)

Я проще: узы развяжу ее!

Полицейский
(внезапно меняя тон)

А мой тэбэ нагайка угостыт.

Еврипид-Персей

А все-таки!

Приближается к Мнесилоху.

Полицейский
(грозно)

Срубят твоя башка
Мой этот шашка из плэча долой!

*Еврипид-Персей
(останавливается)*

Что делать мне? Какое слово молвить?
Навстречу восприимчивости к слову
В природе варварской его души.
Ведь кто к невеждам с мудростью подходит,
Им непривычной, труд истратит свой.
Нет, здесь другая мне нужна уловка,
Такая, что под масть ему была.

Уходит.

*Полицейский
(ворчит)*

Лыса проклатый! Надуват хотэл!

*Мнесилох-Андромеда
(вслед уходящему)*

Не забывай, Персей мой, на кого
Ты оставляешь бедную невесту!

Полицейский

И твой нагайка хочэт получить?

§ 27. Греция в IV веке

Пламя свободы, вскормившее политическую комедию V в., в начале IV погасло не вдруг: последние комедии Аристофана показывают нам его временные вспышки. Но неизбежное все-таки совершилось: афинское государство, медленно оправлявшееся от эгоспотамосского разгрома и последовавшей за ним террористической власти 30 тиранов, было на положении выздоравливающего и не выносило полной свободы слова. Закон о «запрещении личной насмешки», предлагавшийся временно и в V в., был проведен в окончательной форме, и древнеаттическая политическая комедия умолкла.

Медленное выздоровление Афин заняло *первое двадцатилетие IV в.*; для Эллады вообще это было время *второй гегемонии Спарты*. Ей не удалось справиться со всей задачей; политическим результатом Пелопоннесской войны было сильное антигегемоническое настроение эллинских государств, в силу которого против каждого стремящегося к гегемонии образовалась могущественная коалиция. Так и Спарта своей гегемонией вызвала противодействие не только Афин, но и Фив, помогавших своей восточной соседке освободиться от 30 тиранов, и даже Коринфа; запутавшись в тенетах Коринфской войны, она вступила в союз с Персией и в позорном для нее и всей Эллады *мире Анталкида* (387 г.), названном по имени заключившего его спартанского деятеля, купила утверждение своей гегемонии ценою *выдачи вековому врагу всей Ионии*. Но ей недолго пришлось наслаждаться плодами своей измены: едва пришло к концу *первое десятилетие*, как ее насильственная политика вызвала восстание Фив против нее, которое, благодаря *гению Эпаминонда*, повело к своего рода гегемонии этого государства и похоронило навеки спартанскую.

Под знаком этой фиванской гегемонии протекло *второе двадцатилетие IV в.* В Афинах тем временем дело выздоровления, начатое их освободителем от ига 30 тиранов умеренным демократом Фрасибулом, благополучно развивалось; пользуясь враждой наиболее могущественных государств, они даже восстановили, ровно через сто лет после его основания, свой Морской союз, правда, без Ионии, которой персы не выпускали из рук, и вообще в более скромном виде. Но возрастающее могущество Фив заставило их мало-помалу искать сближения с их врагом, и в сражении под Мантинеей (362 г.), кончившемся победой Фив и смертью их вождя Эпаминонда, победоносная фаланга имела против себя уже не только спартанские, но и афинские отряды.

Мантинея похоронила не только Эпаминонда, но и фиванскую гегемонию: продолжателя его делу не нашлось. *Третье двадцатилетие IV в.* отмечено анархией в междуэллинских делах. Афины могли бы занять место сраженных противников;

на беду в их Морском союзе вскоре начались смуты, поведшие к так называемой Союзнической войне и к распадению союза. Тем временем на севере появился новый враг греческой свободы, возмечтавший о личной гегемонии над растерзанной Элладой; это был *Филипп Македонский*. Для нее первым условием было объединение его собственного царства, а оно тоже было отделено от моря «элинской каймой», города которой составили союз под главенством Олинфа; первым шагом Филиппа к намеченной цели была поэтому *Олинфская война*. Ее роковое значение лучше всех понял дальновидный и красноречивый афинский вождь *Демосфен*. Но его руки были связаны: Афины после крушения своих великодержавных планов сосредоточились на своих культурных задачах и ради них постановили обратить излишек доходов на так называемый фео-рикон, т. е. на возмещение гражданам их затрат по посещению праздничных состязаний. Демосфену пришлось поэтому вести двойную борьбу, и с Филиппом, и с противниками в своем родном городе, — на нее у него не хватило сил. Филипп выиграл Олинфскую войну и склонил Афины заключить с ним мир, давший ему очень выгодное положение в Элладе. Но он и им не удовлетворился: его новые происки при пособничестве афинских предателей заставили руководимое Демосфеном государство в союзе с Фивами дать ему решительную *битву под Херонеей* (338 г.). Несмотря на все проявленное ими геройство, афиняне и фиванцы были разбиты, и Херонея стала *концом греческой независимости*.

Следующее, *четвертое двадцатилетие* было, однако, торжеством македонской военной и элинской культурной силы: его занял славный *поход против Персии*, подготовленный Филиппом и осуществленный его сыном *Александром Великим*, — сначала за вторичное освобождение Ионии, а затем и за мировое владычество. Результатом этого похода было разрушение шатающихся стен между греческим Западом и персидским Востоком и длительное объединение обеих культур. Правда, преждевременная смерть царя-героя (322 г.) воспрепятствовала осуществлению этой мысли в рамках единой мировой державы; но и его преемники, разделившие

между собою его исполинское наследие, стали насадителями эллинской культуры в подвластных им восточных государствах. Таким образом, наше четвертое десятилетие IV в. стало переходным временем от эпохи независимости Эллады, кончившейся битвой при Херонее, к ее вселенской эпохе.

**§ 28. Культурная гегемония Афин также и в IV веке. —
Возвышение бытовой комедии. —
Эпоха среднеаттической комедии. —
Антифан, Анаксандрид и Алексид**

Афинам так и не удалось восстановить в IV в. свою политическую гегемонию, потерянную в конце V в. вследствие их поражения при Эгоспотамосе; но *культурная их гегемония* осталась незыблемой, и в этом отношении IV век составляет вместе с V *аттический период эллинской культуры*. В истории литературы это был преимущественно период расцвета прозы; из областей поэзии только наиболее близкая к прозе комедия принимает творческое участие в этом движении. Отчасти оно было ей навязано событиями. Мы видели, вследствие каких условий должна была умолкнуть политическая комедия; комики IV в. не могли в той же мере продолжать традиции Аристофана, в какой трагики продолжали традиции Еврипида. В V в. политическая комедия победоносно оттеснила на задний план презируемую ею бытовую «мегарскую»: теперь политическая исчезла — поле осталось за бытовой в обеих ее разновидностях, собственно бытовой и мифологической. А раз лучшие таланты в области комедии поневоле должны были ограничиться ею, то результатом по необходимости стало *постепенное возвышение бытовой комедии*.

Оно-то и заняло вышеохарактеризованные четыре десятилетия IV в.; мы называем эту эпоху эпохой *среднеаттической комедии*. В ее главе стоит опять триумвират: Антифан, Анаксандрид и Алексид; но второстепенных поэтов было множество, и они были очень плодотворны — некоторые писали по

несколько сот комедий. Эта плодovitость заставляет нас думать, что спрос на комедии возрос в сравнении с V в.; действительно, мы видим по уцелевшим эпиграфическим документам, что в IV в. допускалось к состязаниям уже не по три, а по пяти комических поэтов. Она же подсказывает нам вопрос, не выиграло ли количество в ущерб качеству. Ответить на него определенно мы не можем — даже от названных корифеев нам сохранились только отрывки, а против принципиально невыгодного ответа говорит пример классических испанских драматургов, Лопе де Веги и Кальдерона.

Антифан, самый плодovitый из всех, был, по-видимому, мастером гладкого и непритязательного разговора. В сюжетах своих он еще отдавал предпочтение мифологическим пародиям; о них нам дает представление римская переделка Плавта под заглавием «Амфитрион». В чисто бытовых своих комедиях он с особенной охотой выводит типы, различные в зависимости от социального положения, ремесла и т. д.; большую роль играет жизнь тогдашней золотой молодежи с ее пирушками и легковесными любовными шашнями: паразиты, виртуозы ремесленного остроумия, и гетеры, виртуозки ремесленной любви, стоят поэтому в центре интереса.

Более серьезный момент ввел в комедию *Анаксандрид*: вдохновляясь примером Еврипида — специально его «Иона», — он впервые, говорят нам, построил свою комедию на патетическом мотиве «обольщения» невинной девушки и «признания» впоследствии ее ребенка родителями. Про этот мотив можно сказать, что он одинаково пригоден и для трагедии и для комедии (для последней, конечно, в своей второй, радостной части, которая одна только и представлялась); гораздо более пригоден для комедии другой еврипидовский мотив — мотив *интриги*. Его поэтому наши комики и позаимствовали у него; кто именно, трудно сказать, скорее всего *Алексид*, который вообще был самым серьезным из всех и в течение своей столетней жизни изоощрял свои силы, брезгуя мифологической пародией, в чисто бытовой комедии типов.

**§ 29. Эпоха новоаттической комедии. —
Филемон и Менандр. — «Третьейский суд». —
«Отрезанная коса». — Случай. — Характеры. —
Влияние на последующие времена**

Литературно-историческая важность среднеаттической комедии все-таки состоит в том, что она подготовила второй расцвет всей отрасли — *новоаттическую комедию*. По своему времени этот третий период аттической комедии принадлежит уже вселенской эпохе, занимая конец IV в. и начало III; всё же мы должны здесь несколько выйти из нашей хронологической рамки, чтобы не отрывать завершения бытовой комедии от ее подготовляющих опытов в древнем и среднем периодах. Это здесь особенно уместно, ввиду того что ареной новой комедии остался театр Диониса в Афинах и сама она не последовала примеру прочей поэзии, перекочевавшей в новые центры вселенско-греческого мира.

С историко-литературной точки зрения приходится особенно сожалеть о том, что нам не осталось образчиков от бытовой комедии древнего и среднего периодов и мы не можем, таким образом, воочию убедиться, сколько подготовительных трудов потребовалось для того, чтобы достигнуть той высоты реализма в изображении живой жизни, которую мы усматриваем в произведениях нового периода. Действительно, лозунгом является именно реализм, жизненность. Можно ли сказать, что он был в новой комедии осуществлен? Так полагали; к ее корифею Менандру относится характерное слово одного античного критика: «О Менандр и жизнь! Кто из вас кому подражал?» Мы, пожалуй, найдем у него немало условностей и скажем, что по части реализма Мольер превзошел Менандра и Островский превзошел Мольера, но что характеры и у Островского еще достаточно условны. В этом слабость реализма, как и слабость эмпиризма, и, — в противоположность обоим, несокрушимая сила идеализма.

Но даже будучи превзойдена развитием комедии в новейшие времена, новоаттическая как литературное явление

еще достаточно интересна. Возглавляется она двумя перво-степенными поэтами, *Менандром* и *Филемоном*; из них потомки предпочитали первого, но современники второго. Это предпочтение современников объясняется, вероятно, тем, что комедия у Филемона была бойчее и подвижнее, чем у более серьезного, склонного к размышлениям и тонкости диалога Менандра; и это, пожалуй, давало право последнему при встрече со своим счастливым соперником сказать ему: «И тебе не стыдно, что ты меня победил?» Наше суждение тут совпадает с суждением греческих потомков обоих диоскуров: характеризуя новоаттическую комедию, мы ограничимся Менандром.

Наши отцы судили о нем почти исключительно по римским переделкам его комедий, преимущественно Теренция. Мы в этом отношении поставлены в значительно лучшие условия, так как находки последних десятилетий в Египте обнаружили целые ряды связных сцен из десятка его драм, главным образом из его «*Третейского суда*» («*Epitrepontes*») и «*Отрезанной косы*» («*Perikeiromene*»). В первой нам представлена семейная драма: молодая жена в отсутствие своего молодого мужа слишком скоро после свадьбы разрешилась от бремени; ребенка во избежание скандала пришлось устранить. Находит его один раб и по просьбе товарища передает ему, оставляя, однако, себе найденные при ребенке нероскошные драгоценности, его материнское благословение; а так как воспитатель требует их для ребенка, то и возникает давший имя комедии третейский суд, творить который стороны поручают случайно проходящему отцу молодой жены. При этом раб молодого мужа Онисим обращает свое внимание на одну из найденных драгоценностей — перстень; он узнает в нем утраченный перстень своего хозяина. Этот перстень и ведет к признанию: оказывается, что молодой муж еще до свадьбы в безумную праздничную ночь, под влиянием винных паров, имел свою первую встречу со своей позднейшей женой, причем подарил ей перстень — по прошествии безумной ночи он обо всем забыл. Тайные роды жены не ушли от бдительности Онисима, который по возвра-

щении своего господина ему о них рассказал; теперь счастливая находка пристыжает мужа и устраняет начавшийся было разлад между супругами.

В «Отрезанной косе» героев двое, брат и сестра, разлученные еще в младенчестве, причем брат попал питомцем к богатой вдове, усыновившей его, сестра же осталась на руках у убогой старушки, отдавшей ее за неимением средств в любовницы к военному и при смерти открывшей ей, кто ее брат. Из деликатности героиня не желает использовать этой тайны, чтобы не скомпрометировать своего брата; но когда он, по незнакомству влюбившись в нее, хочет ее обнять — она не может противиться счастью этой братской, по ее чувствам, ласки. При этом ее застает ее господин; в бешенстве он отрезает у нее ее роскошные волосы. Оскорбленная, она уходит от него и ищет убежища у соседа, пожилого человека. С другой стороны, и военный, человек при всей вспыльчивости недурной, раскаивается в своем поступке и жаждет примирения. Отсюда переговоры, в результате которых оказывается, что пожилой сосед — отец обоих героев. Свою дочь он возвращает военному, но уже не как любовницу, а в законный брак.

Как видно из этой краткой передачи содержания, *случай* играет не последнюю роль в комедии Менандра; эта — нашему — условность была в духе эпохи, следовавшей за головокружительными походами Александра Великого. Чего, однако, по пересказу не видно, это того, что Менандр выводит нам не типы, подобно средней комедии, а *характеры*, причем на психологию обращено большое и любовное внимание. Молодой муж в «Третьейском суде», получив свой перстень, не сразу догадывается, что героиня его ночного приключения — его теперешняя жена; его гложет мысль: за что же я ее виню, когда я сам перед нею виноват? Вообще Менандр действительно велик в изображении таких душевных кризисов и переворотов. Его другое величие — техника разговора, эта чисто аттическая тонкость (*charis*), о которой нам не давали представления переделки Теренция, как не дают о ней представления и русские и другие переводы.

Я только что упомянул о римских переделках: действительно, в них в течение всего средневековья и вплоть до последних лет жила похороненная под землей комедия Менандра; благодаря Плавту и Теренцию он стал воспитателем и Шекспира, и Лопе, и Мольера, а через них и всей новейшей комедии вообще. Здесь теснее, чем где-либо, связь между поэзией нового и поэзией античного мира.

ОБРАЗЦЫ

МЕНАНДР

Благодаря находкам новейших времен — последняя из которых стала известной лишь в нынешнем (1900) году, мы знаем более или менее точно, что такое представлял из себя Менандр. Найдены целые крупные сцены, принадлежавшие к трем его любимейшим и славнейшим пьесам — к комедиям «Видение», «Земледелец» и «Отрезанная коса»; комбинируя их с сохранившимися отрывками и посторонними известиями, мы можем на значительном протяжении восстановить фабулу, а она в свою очередь позволяет нам отнестись с должной сознательностью и к технике диалога, о которой свидетельствуют найденные сцены...

1. Видение

Первая из них построена на мотиве «покинутой девушки». Некая афинянка, очутившись в этом горьком положении, воспитывает при себе дитя своей любви — девочку; со временем судьба становится ласковее к ней, ей удается выйти за хорошего зажиточного человека — вдовца, имеющего подрастающего сына от первого брака. Заходит речь об участии девочки; вдовец бы не прочь принять ее в свой дом, но его брат решительно против этого. «Как! Принять бесприданницу в дом? А сын? А наследство?» Нечего делать; пришлось молодой жене расстаться с дочерью. Она поместила ее, однако, у соседей и продолжала видеться с ней благодаря следующей проделке, вполне понятной для того, кто знает строгость греческой религии и непрочность греческих частных построек. Именно: она прорыла из одной своей комнаты большое отверстие в соседний дом и затем, замаскировав его зеленью, сказала, что обращает комнату в запретную для мужчин часовню в честь какой-то своей женской богини. Так ее дочь могла беспрепятственно приходить к ней. Прошло таким образом несколько лет; сын вдовца Фидий стал юношей.

И вот он однажды, войдя невзначай в запретную комнату своей мачехи, увидел в ней красавицу деву, которая при его появлении внезапно исчезла; юноша, пораженный, остановился, но его без труда убедили, что мнимая дева была лишь «видением». Тем не менее Фидий почувствовал по исчезнувшей очень реальную тоску, сам не будучи в состоянии отдать себе в ней отчет; его разговор по этому поводу с верным дядькой составляет содержание одной из найденных сцен.

Дядька не питает ни малейшего сочувствия к настроению своего молодого хозяина, которое ему кажется просто «дурью»; хлеб дорожает, люди голодают — вот это действительное бедствие, а ему чего мало? Юноша возражает:

Фидий. Однако, чудак ты, мне не по себе, мне тяжело...

Дядька. Где дурь, там непременно и дряблость.

Фидий. Прекрасно; надо же мне избавиться от этого; что ты мне посоветуешь?

Дядька. Что посоветую? Вот послушай. Будь у тебя, Фидий, настоящая болезнь, тебе бы нужно было искать настоящего лекарства; но у тебя ее нет — следовательно, и лечение пустое. Пустое к пустому; но ты вообрази, что оно тебе помогает. Пусть натрут тебя бабы со всех сторон и окурят тебя серой, из трех ключей окропи себя водой, подбавив соли, чечевицы...

Здесь рукопись обрывается: дальнейшее развитие действия угадать, однако, нетрудно. Разумеется, психология мудрого дядьки терпит полное фиаско: юноша избавляется от своего недуга только тогда, когда «видение» делается реальностью и соединяется с ним узами брака. Тогда назревает вопрос: кто отец невесты? Древняя комедия любила эффектные совпадения: очень вероятно, что отцом девушки оказался тот самый строгий брат вдовца, который так противился ее принятию в новую семью ее матери.

2. Земледелец

Мотив «покинутой девушки» играет роль и здесь, но эта роль уже другая. Действующие лица — богатый афинянин Горгий с его сыном, затем — его бедная соседка Миррина, молодая еще женщина, с сыном и дочерью. Сын Горгия и дочь Миррины любят друг друга, но Горгию невестка-бесприданница не с руки, и он решает положить конец этим пашням и женить сына на своей собственной дочери от второго брака

(в Афинах такие браки допускались). Дальнейшее понятно: стыд юноши, горе матери... но вот с поля возвращается дворецкий Горгия Дав и застает Миррину в грустном разговоре с ее доброй знакомой, старушкой Филиной; радостно подходит он к ним:

Дав. Прости, не сразу заметил тебя, славная почтенная женщина. Ну, как дела? А у меня есть хорошие речи... нет, лучше: хорошие события, если только боги дадут, и я хотел бы первый поделиться ими с тобой.

Начинается после этого торжественного вступления рассказ про настоящего героя комедии, земледельца Клезнета:

Дав. Тот Клезнет, у которого твой паренек работает, намедни перекапывал свой виноградник и при этом здоров расшиб себе колено...

Миррина. Что за несчастье!

Дав. Не бойся, послушай, что дальше будет. От раны на третий день колено распухло у старика, стало его лихорадить; словом — совсем плохо пришлось.

Филина. Провались ты! Подумаешь, какими «хорошими речами» пришел поделиться с нами!

Миррина. Молчи, тетенька!

Дав. Вот тут-то и понадобился ему человек, который бы умел ухаживать за ним. Его рабы, родом варвары, все завопили: «Преставился, родимый! Пойте заупокойную!» А сын твой, точно он ему отец, уложил его хорошенько, затем стал его растирать, промывать, кормить, утешать — словом, своими заботами он его, уже собиравшегося отправиться на тот свет, опять поставил на ноги.

Миррина. Славный мальчик!

Дело кончилось тем, что Клезнет подружился со своим работником и, узнав о бедственном положении его матери и сестры, задумал жениться на последней. По патриархальным понятиям деревни это было очень благородным предложением, за которое бы можно только поблагодарить; но при настоящих условиях оно только осложняет и без того уже запутанное положение. Девушка уже не свободна; единственный, за которого она с честью может выйти, это — сын Горгия. Дальнейшее разви-

тие действия мы в точности воспроизвести не можем; вероятно, однако, что честный земледелец остался до конца тем благодетелем бедной семьи, которым он решил быть с самого своего выздоровления. Единственным препятствием был Горгий; Клеэнет приезжает к нему, уговаривает его, причем жадность горожанина ярко констатирует с великодушием селянина, обещает, наконец, сам позаботиться о приданом для невесты — тогда сопротивление Горгия сломлено. Остается непристроенной дочь Горгия — ее естественнее всего выдать за сына Миррины, которого Клеэнет, разумеется, усыновляет. Так-то все кончается к лучшему.

3. Отрезанная коса

Оригинальнее обстановка в третьей из наших комедий, это — обстановка бурной эпохи, жестокого века... того века, который наступил в Греции после походов Александра Великого. Жизнь стала богаче приключениями, невероятное было обычной атмосферой людей; зато и страсти разыгрались, и смелый и сильный человек, менее стесненный государственной властью, стал чаще и резче возводить в закон свой собственный необузданный произвол.

У афинянина Полемона, бывшего «солдата» (т. е. наемника-авантюриста), есть красавица пленница по имени Гликера... Она вся прекрасна, но главную ее прелесть составляет ее роскошная коса; и он любит ее страстно, но законы не позволяют ему жениться на ней — ему, афинянину, на девушке неведомого происхождения. Вдруг его счастье омрачается: он застаёт у Гликеры чужого молодого человека. При этом открытии дикий солдатский нрав берет у него верх над рассудком; не слушая оправданий своей милой, он бросается на нее и в исступлении отрезывает у нее ее гордость, ее косу. Оскорбленная девушка уходит; но куда?.. Тут в фабуле пробел; там, где мы можем вновь поднять нить рассказа, обстоятельства изменились, — Гликера уже не бесправная пленница: она — афинянка. Своего отца она нашла; тот юноша, который возбуждал ревность Полемона, был ее родным братом. Полемон в отчаянии; униженный, пристыженный, он отправляет к Гликере ее любимую рабу Дориду, чтобы она упростила ее за него. Разговором Полемона с Доридой открывается серия новонайденных сцен.

Полемон. Мне осталось одно: удавиться.

Дорида. Полно, не говори так!

Полемон. Да что же мне делать, Дорида? Как проживу я, несчастный, вдали от моей ненаглядной?

Дорида. Она вернется к тебе.

Полемон. Боги! Что ты говоришь?

Дорида. Ты только честно постарайся; оно и сбудется.

Полемон. Я ничего не упущу. Ты это хорошо сказала, милая, очень хорошо. Ступай к ней, я завтра же, Дорида, отпущу тебя на волю. Но постой: ты должна сказать ей... Ушла. Ох, ревность-ревность, что ты сделала со мной!..

Посредничество Дорида имеет успех; Полемон готов с ума сойти от радости. Делаются приготовления к свадьбе; в заключительной сцене выходит из дому тесть Полемона Патек в разговоре с новонайденной дочерью.

Патек. Как мне нравится в твоих устах это слово: «Помириться я готова!» Прекратить ссору в тот момент, когда ты в выигрыше, — это признак эллинского нрава. Но вызовите его скорее кто-нибудь.

Полемон (*выходя*). Вот и я. Я только приносил жертву на радостях, узнав, что Гликера нашла наяву тех, о которых не смела мечтать даже и во сне.

Патек. Это ты правильно сказал; но и я правильно скажу. Слушай (*торжественно*): ее я даю тебе в законный брак.

Полемон. Принимаю.

Патек. И... три таланта в приданое.

Полемон. И это недурно.

Патек. А теперь — забудь, что ты был военным, и, смотри, не обижай более своих друзей.

Полемон. Аполлон-владыка! Да я и теперь едва жив остался — мне ли опять обижать тебя? И во сне того не будет, Гликера, только теперь, милая, прости меня.

Гликера. Теперь-то твое бешенство кончилось счастливо для нас.

Полемон. Верно, дорогая!

Гликера. За это я и простила тебя...



Глава VII.

ИСТОРИЯ

§ 30. Возвышение прозы в VI веке. —

**Ферекид Старший. — Три корня историографии. —
Старшие логографы: Гекатей. — Младшие логографы:
Ферекид Младший и Гелланик**

Согласно много раз сказанному, развитие *прозы* стало возможным в Греции лишь со времени получения ею пригодного писчего материала. Таковым искони обладал Египет в виде своего — ныне там исчезнувшего — папируса; но природная замкнутость этой страны, усиленная ее враждой ко всему чужеземному, препятствовала проникновению этого товара в Грецию. Обстоятельства изменились к лучшему лишь при фараоне Псамметихе I (середина VII в.), пользовавшемся услугами греческих наемников и позволившем грекам основать в дельте Нила свою факторию Навкратиду. Ее основателями были ионийцы; поэтому и папирус проник прежде всего к ионийцам, в восточную часть Архипелага. Здесь зародилась греческая литературная проза; вторично, как уже раз в эпоху Гомера, *ионийский говор стал литературным языком Греции*. Но этот *новоионийский язык* ранней греческой прозы, будучи точной передачей тогдашней разговорной речи, отличался от древнеионийского гомеровского «языка богов» не только теми изменениями, которые она сама испытала за

несколько столетий, а также и своей прозаической трезвостью, но также и тем, что он был чист, между тем как тот принял в себя, соответственно развитию самой эпической поэзии, немало эолизмов.

Уже в первые десятилетия VI в. началось постепенное отвоевание прозой у поэзии захваченных последнею областей; первой позицией была, как это было естественно, дидактика, по самой природе своей, как мы видели, принадлежащая прозе. Эта дидактика вылилась в формы генеалогического и чисто дидактического эпоса; теперь из обоих возникает историческая и философская проза. На грани между обеими отраслями стоит древнейший греческий прозаик *Ферекид Сиросский* (начало VI в.) со своей загадочной «Книгой пяти (или семи) ущелий» («*Pentemychos*» или «*Heptamychos*»), примыкающей к «Теогонии» Гесиода. Но при его преемниках обе отрасли уже четко отделяются одна от другой. Проследим сначала историческую.

Одним из ее корней был, как уже сказано, генеалогический эпос; только одним, но все же главным, и целый ряд среди ранних греческих историков — их принято называть *логографами* — перелагал в прозу, с большей или меньшей критикой, поэтические генеалогии гесиодовской школы. Вторым корнем были древнейшие *летописи*, записанные на стенах храмов и тому подобных монументах, конечно, с возможной краткостью; они были драгоценны тем, что давали и хронологию. Таковы были летописи победителей в Олимпии (уже с 778 г.), жриц Геры в аргосском храме и т. д. Был, наконец, и третий корень, прозаический и устный: им была народная молва об исторических личностях и событиях, передававшаяся обязательно в форме *исторической легенды*. Дело в том, что только непосредственная запись может сохранить предание о каком-нибудь событии в его исторической достоверности; будучи предоставлено устной традиции, оно неизбежно превращается в легенду.

Не сразу произошло соединение всех трех корней; ранняя логография вырастает только из первого и третьего. Ее главным представителем был *Гекатей Милетский*, современ-

ник ионийского восстания (около 500 г.), знатный и богатый торговец тогдашней столицы Ионии, изъездивший в своих торговых путешествиях добрую часть огромного персидского государства и изложивший изведенное им в сочинении под гордым заглавием «Обход земли» («*Periodos ges*»), к которому он приложил и географическую карту — первую карту политической географии, о которой мы знаем. Это сочинение было историко-географического характера; чистой истории принадлежат его «генеалогии», дававшие пересказ мнимоисторических событий героической эпохи. Гекатей пытался их рационализировать, устраняя из мифов все чудесное, и привести их в хронологическую систему, исчисляя поколение в 40 лет. Само собою разумеется, что такая попытка превращения мифологии в историю не могла удалиться; для нас она интересна как одно из ранних проявлений исторической критики.

Освободительная война рассматривается как грань между старшими и *младшими логографами*; из последних наиболее замечательными были двое. Во-первых, *Ферекид Младший* (или Леросский, т. е. с острова Лероса, близ Милета, середина V в.), «генеалогии» которого, наиболее объемистые из записанных в прозе, были в то же время и наиболее влиятельными. Ферекид не был рационалистом, он стремился сохранить героическую сагу в ее чистоте и только при наличии нескольких вариантов производил свой выбор между ними. Его сочинение было бы для нас очень драгоценно; к счастью, оно по своему содержанию может быть в значительной степени восстановлено на основании позднейшей мифографической традиции.

Еще замечательнее был второй представитель младшей логографии *Гелланик Лесбосский*. Он первый, насколько мы можем судить, привлек к историографии также и вышеозначенный второй корень, монументальные летописи, в своем сочинении об «аргосских жрицах» и этим дал хронологии исторических событий гораздо более прочное основание, чем генеалогические поколения Гекатея. Он равным образом первый, отдавая свою дань растущему в его время могуществу

перикловских Афин, дал историю этого города в своей «Аттиде» и стал родоначальником позднейшей «аттидографии», которой он своим почином навязал свою родную эолийскую форму термина (*Atthis*, а не *Attis*). Он, наконец, продолжая традицию своих предшественников-логографов, писал и «генеалогии» со своей точки зрения, нам ближе неизвестной: затмить Ферекида Младшего ему не удалось.

Попутно заметим, что логографическая обработка греческих мифов — наряду с героическим и генеалогическим эпосом, лирикой и трагедией — была уже пятой, с которой мы имеем дело (пятой в порядке нашего изложения; по времени она отчасти предшествует трагической, отчасти современна ей).

Таким образом, в течение VI–V вв. развивается богатая историографическая деятельность; здесь названы лишь немногие из известных нам, но мы можем быть уверены, что лишь немногие из многих нам стали известны из случайных упоминаний более поздних писателей. И все эти историки пользуются ионийским языком, независимо от своего происхождения, — такова была власть традиции: не только ионийцы Гекатей и Ферекид, но и эолиец Гелланик и — что для нас особенно важно — дориец Геродот, первый историк, сочинение которого нам сохранено. К нему и переходим мы теперь.

§ 31. Геродот. — Композиция его исторического сочинения. — Магистраль и отступления. — Историческая легенда. — Рационализм. — Стиль. — Гуманность

Дориец по происхождению, иониец по языку и манере письма и афинянин душой — так можно вкратце охарактеризовать *Геродота* (около 480–430). Родился он в дорической колонии Галикарнасе в юго-западном углу Малой Азии, городе, подвластном в эпоху его детства карийским князьям, вассалам персидского царя. Своей княгине Артемисии, поведшей свои рати под знаменами Ксеркса против Эллады, он позднее по-

ставил памятник рыцарского уважения в своем историческом сочинении; но при ее преемнике произошли смуты, поведшие к освобождению Галикарнаса, и эти смуты имели последствием уход Геродота, его долгие путешествия по Передней Азии, Египту, Скифии и греческому Западу и наконец — его приход в Афины к Периклу, приближенным которого он стал. Здесь он и начал писать свою историю. Благодаря Периклу, он получил надел в основанной им колонии Фуриях (в южной Италии), но это не мешало ему подолгу жить в Афинах, где он, кажется, и умер, приблизительно в одно время со своим покровителем. На его душе лежит, таким образом, отпечаток перикловской эпохи; в этом отношении его можно сопоставить с Софоклом, его близким другом, который, будучи значительно старше его, все-таки — как показывают его трагедии — любил учиться у многоопытного неутомимого путешественника.

Отпечаток перикловской эпохи — его мы прежде всего узнаём в том духе *гуманности*, которым проникнуто сочинение. Для чего написал он его? Для того, говорит он сам во вступительных словах, «чтобы не исчезли из памяти людей великие деяния как эллинов, *так и варваров*, и в особенности их война между собой».

Итак, Геродот смотрит на себя прежде всего как на историка освободительной войны. Но он рассматривает эту войну лишь как крупнейшее и последнее звено в цепи столкновений между варварским Востоком и эллинским Западом; желая ее проследить с самого начала, он после краткого обзора сюда относящихся событий героической эпохи останавливается на враждебных действиях лидийских царей против Ионии. Лидия для него, таким образом, точка исхода; мы читаем его увлекательные повествования о Кандавле и Гигесе, о богатом Крезе, о его победителе Кире — тут нить рассказа переходит к Персии, к ее выделению из мидийской монархии, сменившей в свою очередь ассиро-вавилонскую: перед нами мелькают полусказочные образы Нина и Семирамиды, Сарданапала, Астиага и его внука Кира. Затем — поход Кира, его смерть и воцарение его сына Камбиса; этим кончается I книга. Главным деянием Камбиса было покорение Египта — II книга поэтому целиком

посвящена стране фараонов, она так же замкнута, как и та. Опять перед нами роскошная историческая легенда, обвинившая имена и основателей пирамид, и Сесостриса, и Рампсинита, и стольких других. В III книге говорится о смерти Камбиса, позорном правлении Лже-Смердиса и восстановлении персидского могущества Дарием. Последний в своем стремлении расширить пределы своей и без того огромной державы заставил свои войска мерзнуть в болотах Скифии и чахнуть в песках пограничной с Египтом Ливии — свою IV книгу Геродот посвящает этим двум походам персидского самодержца, а по поводу их — описанию как Скифии, так и завидной цели южного похода, жемчужины Ливии Кирены. Для нас это большое счастье: благодаря Геродоту, мы имеем красноречивое свидетельство о быте русского юга в V в. до Р. Хр., т. е. для такой эпохи, когда весь Запад Европы, кроме Италии, еще покрыт густым, непроницаемым для исследователя туманом.

И вот, наконец, мы подошли к порогу греко-персидской войны: неудачный скифский поход Дария повел косвенно к бедственному восстанию Ионии против него, которое составляет главное содержание V книги. Письмо становится размашистее: в VI книге главенствует Марафон, в VII — Фермопилы, в VIII — Саламин, в IX — Платеи; до 478 г. — года основания Морского союза Афин — довел Геродот свое повествование.

Мы указали его магистраль; но Геродот далеко не строго ее придерживался. В ней ведь нет места для истории Греции до персидских войн: Геродот дает, однако, и ее, но урывками, в отступлениях, и она у него рассеяна по всему его сочинению. А для этих отступлений он пользуется каждым случаем, ничуть себя не стесняя. И мы благодарны ему за эту его снисходительность к самому себе: благодаря ей, мы получили такие жемчужины исторической легенды, как рассказы о Кипселе и Периандре в Коринфе, о Писистрате и его сыновьях, и много других... Да, исторической легенды: Геродот не претендует на историческую достоверность своего повествования; он сам очень мило оговаривается, что считает себя обязанным все пересказать, что он слышал, но не считает себя обязанным всему верить. Настоящих чудес, он, впрочем, не признает: у него Ги-

гес не обладает перстнем-невидимкой и Аполлон не извлекает Креза из горящего костра; подобно Гекатею, и он рационализирует. Но перста божьего он не отрицает: Аполлон всеведущ, и его дельфийский оракул всегда правильно предсказывает события, хотя и далеко не всегда недвусмысленно. И рядом с этим божьим промыслом стоит воля человека, часто неразумная, но всегда действенная; других двигателей исторического становления, незримых и могучих законов развития, Геродот не знает. Их обнаружение было делом позднейшей эволюции исторических наук, *поныне* еще не законченной.

Вполнойгармониисэтимпониманиемстоитистильнашего историка, это воскрешенное на почве прозы «эпическое раздолье» Гомера. Древние называли его «нанизывающим стилем» (*lexis eîrotene*), *в отличие от позднейшей периодизации; действительно, это настоящий стиль непринужденного беззаботного рассказчика, какой мы знаем из народных сказок и легенд, синтаксическая сочиненность предложений при очень скромной подчиненности. Так все сходилась для того, чтобы дать нам в историческом труде Геродота одну из самых утешительных книг человечества; и благо тому, кто может ее читать в подлиннике, смакуя в довершение всего и неподражаемую чарующую наивность ионийского диалекта. Но и в переводах и в пересказах она много дает; и можно только жалеть о том, кто хоть в детстве не восторгался повестью о Крезе и Солоне, о перстне Поликрата, о детстве Кира и т. д., которыми мы обязаны именно Геродоту.*

Но выше всех этих поэтических красот та нравственная, с которой я начал свою характеристику, — *гуманность* Геродота, проходящая через всю его историю. Он рассказывал самую славную и в то же время самую справедливую из всех войн, о которых знает история человечества, — и вы не найдете у него ни малейшего хвастовства, ни малейшей нотки презрения к побежденному насильнику-врагу; у него вырывается даже стон сожаления об этой несметной молодежи, которой суждено было обогреть своей кровью поля и моря сражений и бедственные пути отступления. В этом Геродот дал великую науку всему позднему человечеству, науку, им еще далеко не усвоенную.

§ 32. Фукидид. — Анализ его «Пелопоннесской войны». — Историческая критика. — Речи. — Стиль

Переход Геродота в Афины имел помимо личного и принципиальное значение: с ним и историография перешла в тамошний центр эллинской культуры. Легенда повествует, что когда галикарнассский гость читал в городе Перикла выдержки из своего исторического сочинения, то среди его слушателей один юноша следил за его рассказом с особенно блестящими глазами; что обрадованный лектор обратил свое внимание на его восторг и, пожимая руку его отцу, высказал ему свое убеждение в великой будущности его сына на поприще науки. Этим юношей был *Фукидид* (около 460–400); с ним *аттическое наречие сменяет ионийское как язык историографии и прозы вообще*, по крайней мере в ее руководящих направлениях.

По своему происхождению Фукидид принадлежал к верхам афинского общества: отсюда его и честь и несчастье во внешней жизни, но отсюда также и возможность для него собрать наилучшие сведения о предмете его историографической деятельности — *Пелопоннесской войне*. Мы видим его стратегом в 424 г.; это было как раз тогда, когда даровитый спартанский царь Брасид перенес войну во Фракию, чтобы, отняв у афинян ее приморскую кайму, нанести им сокрушительный удар. Стратегу Фукидиду было поручено предупредить захват Брасидом важной афинской колонии Амфиполя на Стримоне; это ему не удалось — и эта неудача имела последствием его изгнание, из которого он был возвращен лишь через двадцать с лишком лет, уже по окончании великой войны. Он провел его во Фракии, где он владел богатыми золотыми приисками. Своим положением вне Афин он воспользовался, чтобы общаться с представителями также и других, даже враждебных Афинам государств, отовсюду собирая сведения о войне. Разноречивые показания он подверг строгому разбору, решая дело там, где оно казалось ему ясным, противопоставляя друг другу противоречащие мнения там, где они друг друга уравнивали. В отличие от Геродота он не сообщает ничего

такого, чему не верит сам; если его предшественник по праву получил прозвище «отца истории», то Фукидид с еще большим правом слышет отцом исторической критики. И не только отцом, но и учителем: один из величайших историков-критиков недавнего прошлого Леопольд Ранке с гордостью называл себя учеником Фукидида.

Его замечательное сочинение, разделенное впоследствии на восемь книг, не доводит нас до конца братоубийственной войны: оно обрывается на 411 г., на сравнительно незначительном событии. Это обстоятельство вместе с незаконченностью последней, восьмой книги заставляет нас предположить, что смерть не дала историку кончить задуманный им труд.

Обращаясь к его *содержанию*, мы должны ради него изложить несколько подробнее ход Пелопоннесской войны, лишь вкратце охарактеризованный выше в историческом обзоре. Совершенно правильно Фукидид — и уже это одно свидетельствует о его серьезном взгляде на историю — проводит разницу между внешним *поводом* к войне и ее внутренней *причиной*. Первый он усматривает в предшествовавшей местной войне Коринфа с его строптивой колонией Коркирой и обращении последней за помощью в Афины, в крутых мерах Перикла против дорической соседки его родины Мегары и некоторых других событиях, которые он и рассказывает; но истинной причиной была, по его мнению, затаенная вражда Коринфа против его счастливой соперницы на морях. Чтобы обосновать эту вражду, Фукидид дает краткую историю развития афинского могущества в так называемое пятидесятилетие между освободительной и Пелопоннесской войнами и этим заодно заполняет промежуток между концом подробного изложения Геродота и началом своего собственного. Все сказанное составляет содержание *первой книги*.

Следующие три (II–IV) посвящены первому десятилетию междуэллинской войны, носящему — от ведшего ее спартанского царя — имя *Архидамовой* и законченному так называемым *миром Никия*, который многие считали тогда окончательным. Под умелым руководством Перикла

развертываются без яркого блеска, но верно и надежно ее первые события; сам руководитель произносит в честь первых жертв свою замечательную *надгробную речь*, посвященную характеристике идеалов истинной демократии, витавших перед его очами и забытых его преемниками. Но вот в дело вмешивается новая сила, которой никто в расчет принять не мог: в Афинах разражается *чума*, она уносит среди других и главную надежду народа, самого Перикла. Его место занимает демократ-радикал *Клеон*; политику нового вождя характеризуют, с одной стороны, крутые меры против аристократии и состоятельных классов, а также и против склонных к отложению союзников, с другой — непримиримость по отношению к пелопоннесцам и в то же время стремление к ярким, действующим на воображение успехам. Крутость к союзникам проявляется в трагедии отложившегося и покоренного Лесбоса; в афинском народном собрании разыгрывается достопамятный «агон» между Клеоном и его противником, благородным Диодотом, в котором последний победоносно клеймит политический террор как меру не только жестокую, но и близорукую и нелепую. Яркость внешних успехов сказывается в удачной экспедиции Демосфена Старшего против мессенского Пилоса, завершенной Клеоном, — мы видим смелого демагога на вершине его славы. Но недолго продержался он там: следуя афинскому примеру, спартанец Брасид переносит войну в подвластную Афинам эллино-фракийскую территорию, отторгает у них одну ее колонию за другой, грозит разрушить их могущество — необходимо самому пилосскому герою выступить против него. Под стенами Амфиполя происходит сражение между Брасидом и Клеоном; оба в нем гибнут. Тогда в обоих государствах берут верх партии мира; в Афинах таковая возглавлялась благородным *Никием*. И мир заключается — мир, справедливо носящий его имя.

После его описания Фукидид сложил перо: он считал войну, а с ней и свою задачу конченными. Но он ошибался: Спарта оказалась бессильной заставить своих союзников исполнить условия мира, а в Афинах мучил народ блестящий и честолюбивый *Алкивиад*, желавший войны как поприща для своей кипучей деятельности. Описанию этих смут, внешних и вну-

тренних, посвящена *пятая* книга, скромный пролог к потрясающей трагедии следующих двух.

Действительно, их содержание — *сицилийская экспедиция* Афин (414–412), смелая мечта Алкивиада выступить на греческом Западе заступником тамошних ионийских колоний, свергнуть гегемонию дорических Сиракуз и, прибавив к силам Морского союза в Архипелаге силы также и этого Запада, нанести пелопоннесцам сокрушительный удар. Мечта эта не была неисполнима; но исполнить ее мог только ее творец. Между тем его афинские враги совершили худшее, что они могли придумать: уже дав ему с флотом отплыть, они возбудили против него народ по поводу одного загадочного религиозного преступления и добились его отозвания. Алкивиад вернулся, но не в Афины, а в Спарту; здесь он, пылая жаждой мести, склонил ее нерешительного царя принять участие в обороне соплеменных Сиракуз против его, Алкивиада, собственной родины. Афины напрягли свои последние силы, чтобы взять упорно сопротивляющуюся столицу Сицилии, — напрасно: они были разбиты, их вожди Никий и Демосфен погибли, их флот был разрушен, их войско отчасти истреблено, отчасти отправлено на каторжные работы в ужасные сиракузские каменоломни.

Истощенные до последней степени Афины должны были у себя дома вынести последний акт великой войны; мы называем его *Декелейской войной*, ввиду того что спартанцы — по совету все того же Алкивиада — пользовались в нем как опорой своих действий занятым ими аттическим городом Декелей в теснине между Пентеликоном и Парнетом. Как уже было сказано, Фукидид не успел обнять ее всю: в своей VIII книге он описывает только ее первые годы, сосредоточивая свой интерес — за что мы ему очень благодарны — на неудавшемся аристократическом заговоре 411 г.

Таково распределение материала в сочинении афинского историка: введение (I книга), Архидамова война (II–IV книги), мир Никия и его последствия (V книга), сицилийская экспедиция (VI–VII книги) и неоконченная Декелейская война (VIII книга).

По своему духу оно представляет нам афинскую историографию сразу в ее зените. Переходя от Геродота к Фукидиду, чувствуешь сразу после мягкого, душистого ветерка легенды резкое дуновение деловитой действительности. Конечно, никто не скажет, чтобы он удовлетворял всем требованиям современности: описание внешних событий и у него преобладает над характеристикой вызвавших их культурных и экономических факторов. Но не следует забывать, как недавно было поставлено само требование включения этих факторов в политическую историю; приняв в себя Фукидида, мы, естественно, пошли и дальше его. Если же сравнивать его историзм с тем, который был до него, то можно будет со справедливостью сказать: ни один историк в мире силою своего личного гения не совершил такого могучего шага вперед, как он.

Наивность Геродота преодолена окончательно, перст божий отсутствует, оракулы если упоминаются, то только для характеристики общественных настроений. Везде строгая деловитость и трезвая критика; но не забывается и справедливость. Фукидид стоит высоко над враждующими партиями и над враждующими государствами: его устами творит свой суд сама история. Этой своей цели он подчинил как удобное орудие и тот элемент своего изложения, который у Геродота был лишь прикрасой, — *речи*. Он охотно выводит двух противников, коринфянина и коркирейца, Клеона и Диодота и т. д.; пусть каждый исчерпывающе приводит основания своего убеждения — и пусть сам читатель решает, кто прав.

На уровне мыслительской глубины Фукидид стоит и его *стиль* — огромная трудность для начинающего, огромное наслаждение для знатока. Каждое слово обдуманно, наполнено содержанием; предложения сплетаются в периоды по законам тяготения, определяемого их взаимной подчиненностью; логика везде выдержана, но прозрачности еще нет, приходится вдумываться в мысль автора, расчленив ее, — и, вдумываясь, постигаешь генезис его мысли, роднишься с его суровой душой. Он требует умственного труда от своих читателей, подобно Пиндару и Эсхилу; но он же, подобно им, сторицей вознаграждает за потраченный труд.

**§ 33. Ксенофонт. — Его универсализм. —
«Греческая история». — «Анабазис». —
«Киропедия». — Стиль**

Когда от Фукидида переходишь к третьему члену классического триумвирата греческих историков, *Ксенофонту* (около 430–350), испытываешь двойное чувство. С одной стороны — известное чувство разочарования: гигантские потуги Фукидида оставлены, его вещее глубокомыслие уступает место общечеловеческому здравому смыслу. Но с другой стороны — и чувство облегчения: перед нами ласковая натура, немногого от нас требующая и все-таки дающая немало.

Был ли вообще Ксенофонт историком? Так спрашивают специалисты соответственной науки в тоне, подсказывающем отрицательный ответ. Был ли он философом?.. Этого вопроса, пожалуй, даже и не ставят, считая ответ на него предрешенным в отрицательном смысле. Был ли он вообще чем-нибудь? Ничем специально, скажет справедливый судья, ибо он был всем — и прежде всего человеком практической деятельности, хозяином и воином, финансистом и политиком, но в то же время и учеником Сократа, преданным и верным, ценившим его беседы не как закалку для собственного метафизического мышления, подобно великому Платону, а как школу жизни. В богов он верил и испросил благословение дельфийского оракула для своего участия в походе персидского царевича Кира Младшего против его брата, царя Артаксеркса, увлекшем помимо него много греческих охотников (с 401 г.); это участие лишило его возможности быть свидетелем смерти своего учителя (399 г.), но и вообще отчуждило его от его родины. Греческое войско Кира после своего смелого возвращения из Месопотамии через всю Малую Азию в Ионию — возвращения, руководить которым пришлось самому Ксенофонту, — присоединилось к спартанскому царю Агесилаю — а Афины тогда были в числе врагов гегемонической Спарты. Ксенофонт, изгнанный из Афин, нашел приют в Спарте. Но возвышение Фив, как мы видели, опять сблизило Афины с их вековой противницей, и когда сын Ксенофонта

пал смертью героя при Мантинее, сражаясь с победоносной ратью Эпаминонда, он стоял не в спартанском, а в афинском строю. Ксенофонт был помилован.

Как видно из сказанного, Ксенофонт был деятелем и писателем уже в IV в., эпохе гегемонии Спарты и возвышения Фив, Агесилая и Эпаминонда. Первого он любил, второго нет; олимпийской объективностью первых двух историков он не обладал. Но эта любовь и нелюбовь основаны скорее на личных, чем на политических моментах: последние вообще отступают на задний план, у Ксенофонта мы уже предвкушаем космополитический индивидуализм вселенской эпохи. В этом знаменательном явлении есть и другая сторона: ошибки и увлечения афинской демократии, свободоубийственные крайности ее свободолюбия породили в IV в. все возрастающее чувство усталости и разочарованности, заставлявшее ждать от сильной руки единоличного властителя избавления от окружающих бед. И в этом отношении середина IV в. уже предвещает вселенскую эпоху.

Из крупных сочинений Ксенофонта три относятся к области историографии. Прежде всего его *«Греческая история»* (*«Hellenika»*) в VII книгах, в которой он сознательно продолжает Фукидида, поднимая нить изложения с того же 411 г., на котором она была выронена его предшественником. В I книге он кончает историю Пелопоннесской войны, во II описывает кровавую власть 30 тиранов и ее свержение Фрасибулом. В этих двух еще витает трагический дух Фукидида: в первой стоит в центре «процесс полководцев», добывших афинянам их последнюю морскую победу и павших затем жертвой обманутого народа. Еще более захватывает трагедия II книги с ее центральным событием, казнью благородного в душе, но слабовольного Ферамена, с ее нарастающим пафосом и конечным разрешением в виде освободительного возвращения Фрасибула; сравнение с параллельным изложением Аристотеля в его *«Афинском государстве»* показывает нам, как мастерски Ксенофонт компоновал эту книгу. В следующих (гегемония Спарты, книга III, возвышение Фив, книги IV–VII до битвы при Мантинее в 362 г. включительно) интерес ослабевает;

все же и здесь за Ксенофонтом остается одна крупная заслуга, умение представить *портреты* руководящих личностей с таким совершенством, как никто до него, — естественное следствие его космополитического индивидуализма.

Его второе семикнижие носит заглавие «Анабазис», относящееся, собственно говоря, только к первой книге, походу Кира Младшего из Ионии в Месопотамию с битвой при Кунаксе включительно, победоносной для его греческого войска и роковой для него; во второй описаны мытарства этого войска до казни его начальников вероломным сатрапом Тиссаферном; в остальных — его возвращение в Ионию среди отовсюду грозящих опасностей под осмотрительным руководством самого Ксенофонта. Свежесть лично пережитого разлита в этом вечно юном произведении, теряющем в сознании современного человека от того, что оно обыкновенно — первая книга, по которой учатся греческому языку; но кто, по примеру Тэна, в зрелом возрасте возьмет ее с полки — тот, тоже по примеру Тэна, не пожалеет о затраченном труде. Конечно, для всемирной истории этот «поход 10 000» лишь незначительное событие: и всё же мы при чтении его описания чувствуем веяние всемирно-исторического духа: он подготавливает другой, решающий «анабазис» — поход Александра Великого.

Вышеупомянутая тоска по сильной руке единоличного властителя заставила Ксенофонта написать идеальный портрет такого в своем историческом романе в VIII книге «*Киропедии*», т. е. «Воспитании Кира» (Старшего); заглавие опять дано по I книге, на деле же сочинение дает всю биографию героя до его смерти. Да, историческом романе: и в этом предваряется вселенская эпоха. Это — роман вплоть до включения любовной истории Абрадата и Панфеи, красиво разнообразящей описание битв и государственных дел. Но в фантастическое содержание этого романа автор сумел влить много жизненной мудрости, он сделался книгой доброго совета для правителей — Цицерон брал ее с собою в провинцию — и образцом таких же нравоучительных романов в будущем, вплоть до «Приключений Телемаха» благородного Фенелона (XVII в.). Это потому, что основная нота этого сочинения — справедливость.

Я вскользь упомянул и о другом, педагогическом значении Ксенофонта: на нем мы обыкновенно изучаем греческий язык. Уже древние признавали образцовость его стиля и любовно сохранили нам все его наследие вплоть до его мелких сочинений, о которых здесь не говорится. Могучая выдержанность Фукидидовой периодизации у него ослаблена, зато в стиль внесена недостающая Фукидиду прозрачность. Эта прозрачность иногда переходит в утомляющее читателя словообилие, но скорее в философских его сочинениях (где оно имело свою особую причину), чем в исторических. Здесь же все ясно и хорошо; и мы не усомнимся признать Ксенофонта представителем беспритязательного стиля, давшим аттической речи краткую свободу, пока ее не заковал в новые прочные цепи его замечательный сподвижник *Исократ*.

§ 34. Феопомп и Эфор. — Прагматическое и риторическое направления. — Общая характеристика греческой историографии

Только что названный Исократ был оратором, и речь о нем будет в IX главе; но могучее влияние его почти 100-летней жизни захватило всю область греческой литературы, и преемники Ксенофонта в историографии писали уже под знаком «исократовского стиля». Это были главным образом оба непосредственных ученика влиятельного учителя, *Феопомп* и *Эфор*, оба — представители третьего и четвертого двадцатилетий IV в., эпохи Филиппа и Александра. Филиппу посвятил Феопомп свое главное сочинение, названное по его имени («*Philippika*» в LVIII книгах); Эфор, точно предчувствуя конец великого периода всемирной истории, первый сделал попытку представить таковую от возвращения Гераклидов и основания дорических государств в Пелопоннесе (этим он, к слову сказать, первый провел четкую грань между мифологическим и историческим периодами греческой истории) почти до самой битвы при Херонее. Впрочем, и у него материально преобладало описание современности: ему он посвятил поло-

вину XXIX книг, из которых состояло его сочинение. Феопомп писал страстно, Эфор скорее вяло; их общий учитель хорошо охарактеризовал манеру того и другого, говоря, что первый нуждается в узде, а второй — в стрекале.

Со времени обоих «исократовцев» идеал греческой историографии двоятся. Мы различаем, во-первых, *прагматическое* (деловое) направление, видящее свою главную задачу в том, чтобы обнаружением внутренней связи событий развить самый процесс исторического становления, и, во-вторых, направление *риторическое*, старающееся путем эффектного сопоставления и окраски фактов, а также и старательно обдуманного, то гладкого, то страстного стиля произвести наиболее сильное впечатление на читателя. Оба направления продолжались во вселенскую эпоху как в греческой, так и в возникшей столетием позже римской историографии; продолжают они и поныне, причем лишь самым выдающимся талантам — Моммзену, Тэнну — удается их в себе совместить. Ближе к исторической истине, конечно, первое направление; но пока Эллада была Элладой, и представители второго понимали, что, как бы они ни были пристрастны в своей политической и частной жизни, на судейском престоле историка они должны служить истине. И мы, кончая этот краткий очерк греческой историографии, должны сильнейшим образом подчеркнуть эту ее исключительную заслугу перед всемирной культурой: она одна, и притом раньше делом, чем словом, выставила обязательное для историка требование, которое позднее Цицерон облек в красивые слова: *nihil falsi audeat, nihil veri non audeat historia*. [Да убоится история какой бы то ни было лжи, да не убоится она какой бы то ни было правды.]



Глава VIII.

ФИЛОСОФИЯ

§ 35. Ионийская философия и трактат. — Анаксимандр. — Анаксимен и Гераклит. — Анаксагор. — Пифагор и его школа. — Софисты

Мы возвращаемся к VI в., к началу отвоевания прозой психологически ей принадлежащих областей литературы. Как из генеалогического эпоса развивается прозаическая историография, так параллельно с этим явлением из эпоса чисто дидактического при наличии удобного писчего материала возникает философская проза. Само собою разумеется, что и это явление происходит среди ионийцев Архипелага, получивших возможность ввоза папируса из Египта: на греческом Западе, как мы видели выше, философия вплоть до V в. остается в ведении поэзии.

Итак, *ионийская философия* — с нее начинается движение греческой философской мысли — примыкает к дидактическому эпосу: как Гесиод в своей «Теогонии» ставил вопрос об исконном начале мирового становления и находил таковое в божественной Земле, так и ионийские философы VI в. доискиваются такого же одушевленного правещества, но в своих ответах расходятся и с ним и между собой. Правда, глава школы, Фалес Милетский, ничего не писал; первым философ-писателем мы должны признать *Анаксимандра*. К нему

восходит древнейшая форма философского сочинения, поучительный *трактат*. Его последователями были *Анаксимен* (тоже Милетский) и *Гераклит* Эфесский; но только последний является для нас яркой литературной личностью.

В настоящем очерке мы мало будем касаться учения перечисляемых философов: это — задача истории греческой философии, а не литературы. Достаточно будет сказать, что в своих поисках одушевленного правещества названные философы обошли круг стихий: после гесиодовской Земли таковым была объявлена вода (Фалес в согласии с Гомером), «неопределенная» прастихия (Анаксимандр), воздух (Анаксимен), огонь (Гераклит); естественным синтезом этого развития был одушевленный четырехстихийный «сфер» Эмпедокла. Доказательства при этом не отличаются еще строгостью метода; хотя мифологическая оболочка Гесиода уже покинута, всё же наши ионийцы были скорее провидцами, чем философами в позднейшем смысле слова, и очень часто у них сравнение, поэтическая картина или притча заменяет доказательство. Но в этой области провидчества *Гераклит* занимает особое место: огонь, его мировое правещество, клокочет в его собственной груди, создавая в его сознании образы поразительной силы и красоты. Для словесного закрепления этих образов он создал свой собственный стиль, нелегкий для читателя (его и называли поэтому «Гераклитом Темным»), но сильный и красочный, которым мы поныне любимся в отрывках, оставшихся нам от его великого творения.

Последним крупным философом ионийцев был *Анаксагор* из Лампсака (в V в.); его переход из Ионии в перикловские Афины имел для философии то же значение, как для истории — переход туда же Геродота. Анаксагор покончил с наивным монизмом своих предшественников, выделив Разум (*Nus*) как особую творческую силу из материи, рассеянной первоначально в бесчисленных «семенах» сущего; его литературный стиль однако, трезвый, но тягучий, представляется скорее регрессом в сравнении с пламенностью Гераклита.

Прежде чем проследить дальнейшее развитие Афин как средоточия философских стремлений Эллады, отметим

зарождение на греческом Западе влиятельной и богатой будущностью школы; это была *пифагорейская*. Ее основатель Пифагор был по происхождению ионийцем, но его деятельность протекала в южноиталийском Кротоне; отсюда его школа распространилась по греческой Италии и Сицилии и дала в V в. и следующих ряд философов-писателей (сам Пифагор, подобно Фалесу, только учил, а не писал). Характерным для этой школы было соединение провидческой философии с религиозным мистицизмом и точной математической наукой; языком ее писателей был — в зависимости от дорической гегемонии на греческом Западе (Тарента в Италии и Сиракуз в Сицилии) — дорический.

Тяга перикловских Афин в области философии сказалась не на одном только Анаксагоре: их политическая свобода, вытекающее из нее значение законодательного собрания и народного суда, а значит, и убедительной *речи* — были неотразимым магнитом для людей, выступавших специалистами (преимущественно политической) мудрости и называвших себя поэтому «*софистами*» (от *sophos* — «мудрый»); это слово было тогда еще почетным, не обидным. Их было много в разных концах Греции: главными были *Протагор* из фракийской Абдеры, *Горгий* из сицилийских Леонтин, *Гиппий* из Элиды и *Продик* с острова Кеоса недалеко от Аттики. Они все были писателями, всё же свою главную силу они видели в учебной деятельности; не согласные в содержании своего учения, они все сходились в том, что выставили *софистический идеал* политически образованного человека, энциклопедически обученного несложному тогда еще круту наук и, главное, способного в убедительной речи внушить свое мнение своим слушателям. Но речь — обоюдоострое оружие: она доказывает и за и против; естественно, что эта обоюдоострость распространилась — не столько у учителей, сколько у учеников — также и на содержание софистического учения, порождая убеждение, что ничего нельзя с достоверностью установить, что все представляется так или иначе в зависимости от умелости самого оратора, от его искусства убедить свою аудиторию. Так возник в философии *скептицизм* — желанный для бойких спорщиков, но без-

отрадный для глубоких и серьезных натур. Правда, с другой стороны, что софисты вместе с этим ядом распространяли и противоядие в виде учения о строгом научном доказательстве; с ними эпоха провидцев прошла, наступила пора философии как науки. За это противоядие и ухватился человек, видевший задачу своей жизни в том, чтобы вывести себя и своих учеников из круговорота софистического скептицизма: этим человеком был первый афинский философ — *Сократ*.

**§ 36. Сократ и диалог. — Школа Сократа. —
Ксенофонт. — Его «Воспоминания о Сократе». —
Его «Домострой». — Антисфен и Аристипп**

Подобно обоим вышеназванным философам-основателям, и Сократ (470–399) только учил, а не писал; и все-таки ему принадлежит одно из первых мест в истории греческой литературы как творцу второго — после трактата — важного типа в философской письменности. Связная речь — слишком соблазнительное поле для неокрепшего ума; трудно избежать заблуждений там, где никто не может прервать и предупредить в зародыше возникновение несостоятельного заключения. Надежнее *беседа*, в которой возражение следует за утверждением и человек имеет возможность подвергнуть ход своего рассуждения постоянному, немедленно вступающему в действие контролю своего собеседника. Сократовское учение происходило поэтому обязательно в форме бесед, в которых сам учитель ограничивался ролью спрашивающего, чтобы вызывать ответы, и возражающего против неправильных ответов. Эти беседы, памятные его ученикам, стали для них образцами в их писательской деятельности; настоящий последователь Сократа писал не единоличные трактаты, а драматические *диалоги*, и само искусство добывания истины посредством очереднойковки молотом разума получило имя *диалектики*. В течение столетия она была горнилом философии, пока Аристотель не создал также и для единоличного мышления формальную школу в виде своей *логики* и не водворил истинно

философского трактата обратно на место, временно занятое диалогом.

Ученики Сократа распадаются на две довольно четко разграниченные группы: одни видели в нем учителя жизни, другие — вождя на пути философских исканий. К первым принадлежали: его ровесник и друг Критон, Алкивиад, Критий; последний был также и писателем, но в еще большей мере был таковым уже знакомый нам *Ксенофонт*. Для его справедливой оценки надо помнить именно это — что он принадлежал к первой, а не ко второй группе, и вовсе не стремился быть творцом в области философского мышления; при этом условии потеряет всякое значение тривиальный вопрос, «понял» ли он, или «не понял» своего великого учителя — он брал у него то, в чем сам нуждался, а именно диалектически обоснованную науку жизни. Защищая его впоследствии от нападений софистически настроенных людей, пытавшихся затмить его посмертную славу, он написал свое главное философское произведение, свои благородные *«Воспоминания о Сократе»* в IV книгах. Начиная со скромной и сдержанной защиты Сократа как гражданина, автор в дальнейшем дает длинный ряд сократовских бесед в том виде, в каком они после многих лет остались в его памяти, — о сыновней и братской любви, о дружбе, о долге гражданина, ремесленника, военачальника и т. д. Это — одна из драгоценнейших книг, оставленных нам древностью; она была признана таковою за все время духовного развития человечества и заслуживает этого признания и поныне. Надо только уметь быть справедливым и помнить, что то, что в наших глазах портит ее впечатление, — ее излишнее подчас многословие и пояснение того, что и без того уже ясно, — было неизбежным последствием стремления именно к *диалектическому* обоснованию нравственных правил при молодости самой диалектической науки.

Кроме *«Воспоминаний»* в атмосферу Сократа нас вводят еще три более мелких сочинения, среди коих первое место принадлежит прелестному *«Домострою»* (*«Oikonomikos»*), довольно длинной сократовской беседе о ведении домашнего хозяйства. Практическая и в то же время гуманная натура Ксе-

нофонта тут выступает во всей ее привлекательности. Хозяйке отводится подобающая роль; перл всего сочинения — передаваемый Сократом рассказ Исхомаха о том, как он научил хозяйству свою совсем еще молоденькую жену.

Переходя ко второй группе учеников Сократа, к философам-специалистам, которые и сами стали у себя на родине основателями влиятельных школ, мы бегло лишь коснемся тех, которые — подобно Евклиду Мегарскому и Федону Элидскому — развили главным образом формальную сторону сократизма, рискуя этим утопить его в новой софистике; подробнее придется остановиться на двух других, могуче, хотя и одно-сторонне захваченных нравственным его содержанием, на Аристиппе и Антисфене, и этим проложить себе путь к величайшему из всех, к Платону. И здесь мы будем иметь в виду не философскую, а литературную сторону дела: это даст нам возможность быть краткими.

Антисфен Афинский в своем стремлении к осуществлению сократовской добродетели дошел до требования возможной беспотребности; это заставило его по отношению к каждому благу жизни ставить вопрос о том, оправдывается ли оно логосом, или же принадлежит к «дыму» (*typhos*), от которого истинный мудрец должен отделаться; а так как ответ давался большею частью в последнем смысле, то возглавляемая Антисфеном «киническая» школа (значение наименования не вполне для нас ясно) получила в значительной степени нигилистический привкус. Она дала замечательного представителя в лице *Диогена Синопского* и сохранила свое значение даже после того как — к началу вселенской эпохи — выделила из себя еще более влиятельную *стоическую* школу. Что касается писательской деятельности Антисфена, очень богатой, то мы о ней мало знаем; писал он преимущественно диалоги, в которых охотно прибегал и к притче, нападая на Прометея, сгустившего будто бы своими ненужными изобретениями мглу отягчающего нас «дыма», и возвеличивая Геракла как неутомимого представителя беспотребной, кинической жизни.

Еще менее знаем мы о писательской деятельности его антипода, изящного *Аристиппа* Киренского, поставившего

наслаждение во главу угла разумной жизни и воспитывавшего в этом направлении свою *киренскую*, или гедоническую (от *hedone* — наслаждение) школу; она была, однако, менее живуча и, выделив из себя к началу вселенской эпохи Эпикура, сама сошла со сцены. Как ученик Сократа, и Аристипп писал диалоги, и притом в довольно большом числе; но скудные отрывки не дают сколько-нибудь ясного представления о них.

**§ 37. Платон. — Академия. — Творчество. —
Прогимназматические диалоги и «Протагор». —
«Федон», «Пир», «Федр», «Горгий», «Государство». —
«Парменид», «Тимей» и «Законы»**

И вот мы достигли зенита не одной только философской мысли Эллады: все лучшее, что создала греческая художественная проза, весь роскошный расцвет зародышей, таившихся в греческой религии, сосредоточены для нас в имени и сочинениях *Платона*, этом источнике вдохновения для всех времен прошлого, вплоть до нашего, и, без сомнения, также для всего будущего человеческого рода.

Платон (427–347) в юности хотел посвятить себя деятельности трагического поэта. Нам говорят, что он сжег свои трагедии, познакомившись на двадцатом году своей жизни с Сократом. На самом деле он переменял только героя своего трагического творчества: таковым стал отныне Логос, которого он отождествил со своим учителем. Болезнь не дала ему быть свидетелем его кончины (399); после нее несправедливый, но понятный гнев возрожденной демократии против питомика Алкивиадов и Критиев заставил и его в числе прочих учеников Сократа покинуть Афины и принять сначала великодушное гостеприимство своего товарища Евклида в Мегаре, а затем и вообще отправиться в путешествия, которые завели его также и на греческий Запад. Знакомство с ним имело для дальнейшей деятельности философа двойное значение: во-первых, оно сблизило его с обеими греко-италийскими фи-

лософскими школами, элеатской и пифагорейской; у первой он позаимствовал учение о двоemiрии и призрачности чувственного мира, у второй — религиозный мистицизм, опирающийся на таинства Орфея, и любовь к математике. Но, во-вторых, оно сблизило его также и с двором сиракузского тирана Дионисия I, где он имел восторженного поклонника в лице его зятя Диона; а о важности этого факта будет сказано тотчас.

Вернувшись в Афины, Платон основал собственную философскую школу в пригородной роще местного «героя» Академа в 387 г.: этот позорный для греческой политики год, укрепивший спартанскую гегемонию ценою отказа от Ионии, был годом славы для греческой мысли как год рождения «Академии», которой суждено было быть ее светочем в продолжение девяти столетий, пока его не потушила насильственная рука императора Юстиниана. Учителем Академии Платон провел вторую половину своей жизни: прервавшие эту деятельность оба его путешествия в Сиракузы (367 и 361 гг.) тоже находились в связи с его философскими стремлениями. Мы видели уже, что разочарование в демократии распространило в Афинах тоску по сильной руке единоличного властителя; Платон был готов приветствовать такового как орудие проведения в жизнь его идеального государства. Это орудие он надеялся найти в молодом сиракузском тиране Дионисии II, унаследовавшем в 368 г. престол своего утрюмого дяди; но легкомысленный юноша так же мало оправдал его надежды, как позднее Нерон надежды Сенеки, и ему пришлось убедиться в том, что его идеальное государство неосуществимо среди людей — каковому убеждению он дал выражение в своем крупнейшем старческом и, вероятно, посмертном сочинении — в «Законах».

Сочинения Платона, драгоценнейшее достояние его школы, сохранились нам в редкостной полноте, в числе 42 диалогов разного объема. В философском отношении они не представляют собою однородной монолитной массы, подобно, например, трактатам Аристотеля: написанные в различные времена на протяжении пятидесяти лет, они дают нам

трагедию Логоса в ее развитии от смелых и пока безрезультатных исканий в его раннюю эпоху через роскошный расцвет его творческого полудня до последних усталых взмахов состарившегося орла в упомянутых только что «Законах». Этого Логоса Платон, как было сказано, отождествил с Сократом; он поэтому является героем всех его диалогов — думается мне, до последнего включительно, где герой — безымянный «афинянин» — потому только не назван его именем, что сценой диалога был Крит, а про Сократа было слишком хорошо известно, что он — если не считать феории на Истм — никогда Афин не покидал.

Мы только что наметили три периода в писательской деятельности Платона. Первый — это период его утренних, *прогимнастических* диалогов. Их герой еще недалеко ушел от исторического Сократа: он более спрашивает своих собеседников и возражает им, чем говорит от себя, вследствие чего поставленный вопрос — о благочестии в «Евтифроне», о мужестве в «Лахете», о скромности (*sophrosyne*) в «Хармиде» — и не находит себе ответа, и интерес сосредоточивается на самом методе спора, на диалектике. Иногда автор дает понять, что он видит возможность положительного решения; так, в «Евтифроне» из завирухи спора сверкает в одном месте, точно вскользь, пророческое слово, что благочестие — это содействие божеству в его работе над человеком; но трагедию «Гиппия Меньшего» мы только тогда поймем, если отнесемся серьезно к ее ужасающему выводу, что грешащий добровольно лучше грешащего невольно, — выводу, против которого возмущается совесть героя, как и наша, но от которого его все-таки оружие Логоса пока еще защитить не в силах. Завершается эта серия утренних диалогов, обычно мелких, крупным «Протагором», в котором выведен самолично собеседником Сократа великий софист перикловской эпохи с его тезисом научимости добродетели — тезисом, принятым впоследствии самим Сократом, но тогда еще казавшимся ему слишком смелым.

Долгий *полдень* жизни философа — примерно от основания Академии до последнего сицилийского путешествия

(387–361) — подарил нам его лучшие также и в художественном смысле диалоги. Таков «Федон», в котором доказательства Сократа в пользу бессмертия души подтверждены, кроме убедительного слова, и величавым делом — ласковой и бесстрашной смертью вдохновенного мудреца под сводами афинской тюрьмы. Таков «Пир», ряд связанных речей соотрапезников в честь Эрота, среди которых возвышается до заоблачных высот рассуждение самого Сократа — точнее, его учительницы, пророчицы Диотимы, — о любви как о стремлении к рождению в красоте с целью достижения бессмертия. Таков «Федр», весь пропитанный светом весеннего солнца и ароматом прибрежного луга, тоже переносящий нас с низин риторики на заоблачные высоты, на этот раз для того, чтобы дать нам созерцать витающие в поднебесье бессмертные идеи, участвовать вместе с бестелесными душами в их горнем ристании, а затем — испытывать все муки низверженных на земную юдоль и благословлять единственное средство их исцеления и нового окрыления, любовь. Таков «Горгий», прочная основа новой, платоновской нравственности, в котором Сократ зыбкому софистическому идеалу своего умного собеседника противопоставляет истинный идеал самодовлеющей добродетели. Такого, наконец, самое крупное сочинение зрелых лет Платона, неисчерпаемое по богатству своих мыслей «Государство» (X книга), возникавшее медленно и не без перерывов, быть может, в течение всего очерченного периода. Спор Сократа со смелым ритором Фрасимахом, утверждавшим много радикальнее, чем степенный при всем его модернизме Горгий, что справедливость — это выгода сильнейшего, заставляет расширить поле беседы: идея справедливости, скрадывающаяся от нашего взора в душе человеческой особи, легче будет обнаружена, если мы постараемся ее отыскать в органической связи этих особей, в государстве. Представим же себе его возникновение — конечно, для удовлетворения насущных нужд основавших его особей. Куда поведет Логос его развитие? К признанию принципа «делай каждый свое дело»; это и есть справедливость. А значит, и пахарь свое, но и воин свое, и правитель свое.

Но как достигнуть, чтобы последние два класса граждан, обнимаемые общим названием «стражей» (*phylakes*), не злоупотребляли своей силой в ущерб производящему? Во-первых, соблюдением условий наилучшей рождаемости (Платон, как и вообще античность, был очень близок стремлениям новейшей «евгеники»); а во-вторых, и воспитанием. Хорошо рожденные и воспитанные стражи поймут, что, живя работою производящих, они должны всецело отдаться своей высокой задаче, довольствуясь лишь самым необходимым из земных благ при строго коммунистическом устройстве, вплоть до общности жен и детей, предоставляя производящим все радости частной собственности и семейной жизни. Из такого идеального государства вследствие несоблюдения указанных условий получаются путем вырождения те, которые мы знаем, — тимократическое (с цензом сановитости), олигархическое (с цензом богатства), демократическое и тираническое; все они так или иначе нарушают основной принцип справедливости, без которого нет равновесия и здоровья ни в государстве, ни в душе особи. Диалог возвращается к точке своего исхода, от политики к этике: он кончается поразительным по провидческой силе «видением Эра» с его откровением тайн потустороннего мира.

Труднее для нас понимание тех диалогов Платона, которыми он обязан *вечеру* своей богатой жизни. Сократ-Логос остается и их героем, но он выслушивает в «*Пармениде*» из уст своего собеседника возражения против учения об идеях, и грандиозная картина создания космоса в «*Тимее*» пишется не им, а его собеседником, приверженцем Пифагора. Последнее же сочинение Платона, его объемистые «*Законы*» (XII книга), дает как бы приноровленное к человеческим силам пересоздание «Государства» в виде конституции основываемой якобы на Крите колонии. Все же и это последнее сочинение Платона очень вознаграждает читателя богатством своих мыслей, особенно в области религии, и можно только завидовать гению, имевшему такой тихий и лучезарный закат.

**§ 38. Платоновский вопрос. — Эволюция
художественной формы. — Собеседники. —
Диалогическая техника. — Рамка. — Мифы. — Стил**

Приведение в систему всего богатого содержания этих диалогов составляет с давних пор заманчивую задачу филологической философии. Вначале старались достигнуть единой, последовательной во всех своих частях системы; это повело, однако, к разрушительной критике, объявившей подложными до трех четвертей платоновского наследия. Ныне от этого пути давно уже отказались; «гармонистический» метод заменен «эволюционным», и если два диалога существенно противоречат друг другу, то мы видим в этом доказательство не подложности того или другого, а лишь происхождения обоих в различные времена. И ныне определение *порядка возникновения* диалогов Платона составляет сущность так называемого «платоновского вопроса»; вполне решенным он еще считаться не может, но относительно главных вех согласие все-таки достигнуто.

Эволюция философской мысли — которой мы здесь заниматься не будем — сопровождалась и эволюцией *художественной формы*; таковой был, как мы уже знаем, диалог, письменное отражение словесного творчества Сократа. Диалог требует *собеседников*; одним из таковых исправно у Платона выведен олицетворенный Логос, Сократ; по имени второго или, если их было несколько, главного из них дается большей частью имя и самому диалогу. И вот эти собеседники в свою очередь делаются предметом эволюции. Вначале они более или менее ярко охарактеризованы; утренние и полуденные диалоги дают нам такие сочные, красочные фигуры, как скромного юношу Хармида, настоящий тип афинского эфеба, гениально повесу Алкивиада (в «Пире»), беззастенчивых риториков-софистов Калликла (в «Горгии») и Фрасимаха и др.; но по мере наступления старости сила характеристики ослабевает, и собеседники последних диалогов — Парменид, Тимей, Филеб, Мегилл, Клиний (последние два в «Законах») — уже не что иное как простые носители мнений, которые вложены им в уста.

Не избег эволюции и самый *диалог*. Он — адекватная форма *ищущего* сократизма; но по мере того как Платон перерастает своего учителя и чувствует себя владельцем той истины, которой тот искал в течение своей жизни, и диалогический принцип отступает на задний план. Он еще сохраняется, но часто, по всей видимости, лишь из пиетета. Логос в сущности выступает единоличным учителем, и его собеседнику остается лишь подчеркивать естественные ферматы в развитии его мыслей своим согласием. Нас эти вставленные «конечно», «безусловно» или (при ведении диалога в первом лице) «он согласился» — зачастую расхолаживают; мы чувствуем, что диалогическая форма, подобно хору в трагедиях, постепенно теряет свой органический смысл и превращается в обузу, долженствующую со временем отпасть. И все же нельзя сказать, чтобы в каком-либо диалоге Платона она была совершенно излишня: если не в самом ходе рассуждения, то в начале беседы она до последних лет Платона сохранила свою жизненность.

Это отчасти зависит от того, что Платон любит заключать свои диалоги в обстановочную *рамку*; и некоторые из них у него так хорошо развиты, что возбуждают самостоятельный интерес как исторические или бытовые сцены. Так, «Хармид» знакомит нас с обстановкой палестры, «Протагор» — с домом Каллия во время бытности у него софистов, «Пир» — с праздничной трапезой благовоспитанных людей, «Федр» — с пригородным ландшафтом на берегу Илисса, а «Федон» освящен тем, что его беседы вставлены в незабвенный рассказ о последних часах и о смерти учителя-мудреца. Желание дать эту рамку как можно полнее и живее имело последствием одну композиционную трудность: так как наши «ремарки» были тогда неупотребительны, то пришлось рассказать рамочную обстановку устами одного из собеседников, а для этого сделать его рассказчиком и всего диалога; это и есть то, что я выше назвал «ведением диалога в первом лице». Дальнейшим последствием было, что реплики пришлось вводить формулами: «сказал он», «сказал я» и т. п. Под конец это Платону надоело, и он в «Феэтете» (или «О знании») заявляет, что делать этого больше не будет — для нас это, к слову сказать, драгоценная

хронологическая веха. Но еще позднее у него и интерес к рамке пропал, и в диалогах вечернего периода собеседники разговаривают уже как бы вне пространства, как святые и ангелы на золотом фоне византийских мозаик.

Но Платон был не только строгим к себе мыслителем, настоящим поклонником Логоса: его поэтическое дарование, поддержанное общением с мистической философией пифагорейцев, сделало его также и *провидцем*, одним из самых вдохновенных в истории человечества, и его имя сияет в истории религии так же ярко, как и в истории светской философии; можно даже сказать, что этому совмещению в себе мыслительской и пророческой души он обязан значительной частью своего обаяния. Логос не запрещает своим избранникам витать в эмпиреях откровения; но он требует, чтобы они отдавали себе отчет в том, когда они покидают твердую почву доказуемого знания. И Платон отдает себе в этом отчет: свои откровения он заключил в свои знаменитые *мифы*, из коих наиболее славится грандиозное «видение Эра» в конце «Государства». Здесь, понятно, диалогическая форма неуместна: «миф» рассказывается одним лицом при благоговейном молчании других.

Такова *композиция* диалогов Платона; остается охарактеризовать их *стиль и язык*. В этом отношении можно сказать, что мы имеем в них полюс, противоположный Фукидиду. Там — крайняя сжатость выражения; здесь, напротив, известное «диалогическое раздолье» (*chysis*), напоминающее эпические времена. Особенно пленяет нас это раздолье в рамочных рассказах, где оно нередко соединяется со сдержанным, но тем более действительным *юмором*; но бывают места, где оно нас и расхолаживает, и начинающего читателя Платона полезно об этом предупредить. Это те места, где философ доказывает свои положения. Нам часто кажется, что эти доказательства ведутся уже слишком обстоятельно и словообильно: Декарт даже в свое время упрекал Платона в излишней многословности. Это значит, однако, упрекать его в том, что он жил до Аристотеля и установления правил логики. Действительно, очень часто там, где позднейший философ ограничился бы простым подчинением вида роду, Платону приходится просторно развивать

эти отношения части к целому; и если у него именитый собеседник на вопрос «что такое красота?» отвечает: «красота — это прекрасная девушка», после чего Сократ пространно объясняет ему разницу между определением и примером, не называя, однако, этих терминов, — то рассудительный критик выведет отсюда только то заключение, что, зная, было очень трудно научно спорить в доаристотелевские времена, когда область понятий, суждений и заключений еще не была разработана; и Платон станет от этого в его глазах не ниже, а выше.

С этим и еще кое с чем надо примириться; тогда достоинства языка Платона откроются его читателям во всем их свете. Он почувствует себя как дома в Афинах сократовской эпохи, среди всех этих искателей, не знающих лучшего наслаждения, как разговор с друзьями о высших вопросах жизни, в этом гуманном обществе друзей красоты и истины и прежде всего — в обществе самого героя, бесстрашно и безоговорочно в своем стремлении к добру и правде разрывавшего тенета ложных мнений и соблюдавшего верность Логосу до самой своей смерти.

§ 39. Природа. — Демокрит. — Гиппократ

Сократ, говорит Цицерон, свел философию с неба на землю и поселил ее в сердцах людей; но в людях, продолжаем мы, она нашла красоту и на крылах любви — в лице Платона — вернулась в свою небесную обитель. Пути этого нисхождения и восхождения проложены исключительно между небом и человеческой душой; прочая природа к ним непричастна. «Деревья меня ничему научить не могут, а только люди», — говаривал Сократ в оправдание своего пристрастия к городу... Правда, этими людьми были афиняне, и поэтому осуждать его нельзя. А Платон, хотя чувствовал и любил природу, как показывает его «Федр», все же не делал ее предметом своих изысканий.

Эта односторонность была и необходима, и плодотворна; все же в таинственной глубине ионийской философии скрывались и такие зародыши, которые в своем развитии должны были повести к изучению также и окружающей человеческую

душу природы. Завершителями ионийской философии еще в V в. были двое, оба писавшие по-ионийски, хотя ионийцем по происхождению был только один: Демокрит и Гиппократ.

Демокрит из Абдеры (около 460–360) в другом смысле свел философию с неба на землю: допустив, что мир возник из механического сцепления разнovidных атомов безо всякого участия какого-либо «разума», он затем обратился к изучению этого мира в окружающей его природе и стал, таким образом, первым натуралистом-эмпириком в Греции (его главное сочинение — «Великий распорядок», *«Megas diakosmos»*). А так как была опасность, что человек падет духом, чувствуя себя игрой атомов в обезбоженном мире, то он посвятил ему свое замечательное этическое сочинение «О благодущии» (*«Peri enthymies»*), подавая и сам пример такого благодуще-но-ласкового, бесстрастного настроения, почему потомки и прозвали его — в противоположность к негодующему Гераклиту — «смеющимся философом». Писал он много и прекрасно; отрывки его сочинений доказывают нам, что если бы не слепота последующих поколений, отвергших его в одностороннем увлечении его великим антиподом, то нам пришлось бы отнестись к обоим с одинаковым вниманием. Теперь же приходится лишь сожалеть о невозместимой утрате и, хоть мысленно сопоставляя Демокрита с Платоном, напоминать читателю, что не только пламенный идеализм, но и дополняющий его трезвый реализм были законными сынами эллинской мысли.

Среднее место между окружающей природой и человеческой душой занимает бренное обиталище последней, тело: его изучает первоначально медицина, наука практическая, лишь с течением времени пришедшая к сознанию своей теоретической основы, физиологии. Она существовала с тех пор, как человек себя помнит; и мы удивляемся не столько тому, что ее знает и Гомер, сколько тому, что она имеет у него совершенно рациональный, мирской характер. Позднее этот характер изменился; Аполлон силою исторг мать Асклепия из объятий смертного мужа и наложил на его науку свой отпечаток: врачи Асклеиады были жрецами, и лечение, у них практиковавшееся, было религиозным врачеванием. Но вот в V в. один из них

дает своей науке обратное направление и становится родоначальником рациональной медицины; это был *Гиппократ* из Коса, современник Демокрита. Будучи родом из дорического центра культа Асклепия и со временем главой тамошней школы врачей, Гиппократ тем не менее, подобно Геродоту и по той же причине, писал по-ионийски, и его примеру последовали его прямые и косвенные ученики, трудами которых составилось еще в V и IV вв. сохраненное нам по практическим соображениям «*Corpus Hippocrateum*» из 72 сочинений. Лишь очень немногие из них принадлежат самому основателю, в том числе интересное климатологическое сочинение «О воздухе, воде и местоположении», затем «Эпидемии» (каковое заглавие отнюдь не соответствует по значению нашему слову «эпидемия», а означает «приезды» — понимай, врача — в такие-то города для лечения его обитателей) и в особенности красноречивый протест против медицинского суеверия «О священной болезни» (т. е. падучей).

Платон был идеалистическим тезисом, Демокрит — материалистическим антитезисом греческой философской мысли; их синтезом стал *Аристотель*, северянин, подобно Демокриту, но в то же время афинянин по месту жительства и ученик Платона.

§ 40. Аристотель. — Ликей. — Литературное наследие. —

1) Материалы, «О государстве афинском». —

2) Акроаматические курсы: логика, природоведение, этика, теория словесности. — 3) Экзотерические сочинения, перипатетический диалог, «*Protreptikos*»

Аристотель (384–322) был родом из Стагиры, ионийской колонии в прибрежной эллинской кайме Македонии; это местоположение его родины определило отношения его рода к македонскому двору, которые отразились и на его собственной судьбе. Сын интеллигентной семьи, он в 367 г. был отправлен отцом в тогдашний центр умственной культуры Афины. Там

существовали тогда две соперничающие высшие школы: Академия Платона и не менее влиятельная риторическая школа Исократ, которой нам придется заняться в следующей главе, рассадник образования в духе выше охарактеризованного «софистического идеала». Но приезд Аристотеля совпал со вторым сицилийским путешествием Платона; поневоле пришлось Аристотелю удовольствоваться Исократом. По возвращении Платона он перешел к нему, но все же успел вынести из школы Исократ разносторонний научный интерес, а также и более ласковое мнение о риторике. По смерти Платона (347 г.) Аристотель покинул Афины; пять лет спустя Филипп Македонский, продолжая традиционные отношения своего рода к роду Аристотеля, призвал его в свою столицу и сделал его воспитателем своего 14-летнего сына Александра; так-то Аристотелю удалось то, в чем потерпел неудачу Платон. Семь лет (342–335) продолжалась эта его воспитательская деятельность; когда Александр, унаследовав престол своего отца, начал свой достопамятный поход в Азию, Аристотель вернулся в Афины и основал там свою школу в роще городского храма Аполлона Ликейского (т. е. Светозарного), знаменитый *Ликей*, имя которого поныне живет в заграничных и наших «лицах». Днем он читал лекции своим ученикам в тенистых аллеях («перипатах») ликейской рощи, отчего и самая школа получила название «перипатетической»; вечером, когда афиняне были свободны от работ, он читал желающим там же и популярные курсы. Отсюда деление его учебной работы на эзотерическую (или акроаматическую) для специалистов и экзотерическую для широкой публики — деление, отразившееся также и на его писательской деятельности. В 323 г. антимакедонское движение, охватившее Афины после смерти его ученика Александра, изгнало его оттуда; вскоре затем он умер.

Его огромное наследие распадается на следующие части:

1). *Материалы* для его акроаматических курсов по разным областям знания. В этом отношении трудолюбие и организаторский талант Аристотеля были поразительны: отчасти собственной работой, отчасти через своих учеников он, прежде чем приступить к выработке курса, собирает все, могущее слу-

жить ему основой. Так, его «Политика» построена на своде государственного права греческих городов и части иностранных в 158 книгах, по числу изученных государств, в придачу к которым он издал еще обширное сочинение «О варварских законах», а его ближайший ученик и друг Теофраст — свое собрание «Законов» в 24 книгах. Тому же Теофрасту он поручил составить как подкладку для его «Этики» объемистое сочинение «О характерах» (из которого нам сохранилось краткое извлечение); как подкладку для «Физики» — свод «Физических теорий» его предшественников (18 книг) и так далее; мы вряд ли ошибемся, определяя примерно в 1000 книг совокупность плодов этой ученой работы Аристотеля и его школы. Нам от нее ничего не осталось, кроме возвращенной нам не так давно египетскими песками книги «О государстве афинском», части упомянутого на первом месте исполинского сочинения «О государствах».

2). *Акроаматические курсы*, построенные на только что охарактеризованных материалах. Это и есть то, что нам от Аристотеля сохранено, на чем мы основываем свое суждение о нем как о писателе, — очень против его воли, так как он этих курсов даже и не издавал; издали их его ученики уже после его смерти. И за это спасибо им: они дали и древнему и новому миру его главного учителя. Бросим беглый взор на это наследие — оно ближайшим образом интересует философию, а не литературу. Мы различаем в нем опять-таки следующие части:

а) курсы *по логике* и теории мышления, составляющие, вместе взятые, его «органон», т. е. «орудие», или «инструмент» мыслительской работы; главные из них — «Категории» (о понятиях), «Об истолковании» (о суждениях) и «Аналитики» (о заключениях). В этих трех сочинениях он дал логике ее классическую форму, в которой она существует поныне, и довел ее — по крайней мере в ее дедуктивной половине — до совершенства. Это — школа мышления всех последующих поколений в древнюю, средневековую и новую эпоху;

б) курсы *по природоведению*, главным образом *по зоологии* (описательная в 10 книгах и приложения к ней биологического характера всего тоже в 10 книгах; *ботанику* дополнил вышеназванный Теофраст в обоих своих сочинениях, и вместе

взятые, эти перипатетические труды господствовали в науке вплоть до XVIII в.); *физике* (в 8 книгах; не физика в нашем смысле, а сочинение о принципах бытия, понимаемого как движение, с приложениями по уранологии и метеорологии, всего в 10 книгах); *метафизике* (в 14 книгах, первоначально безымянных и получивших свое название оттого, что их в первом издании поместили «после физики»), и *психологии* («О душе» в 3 книгах с приложением);

в) курсы *по этике*, обнимающие, кроме собственно *этики*, сохраненной нам в трех изводах (из коих наиболее подлинный — так называемая «Никомахова этика» в 10 книгах), еще и *политику* в 10 книгах;

г) курсы *по теории словесности*, обнимающие только два небольших по объему, но опирающихся на очень обширные материалы сочинения — «*Риторику*» (в 3 книгах) и знаменитую «*Поэтику*» (в 2 книгах, из коих вторая не сохранилась).

Этот сухой перечень приводится только для того, чтобы дать читателю представление о разветвленности научной деятельности Аристотеля; даже самая краткая передача содержания каждого из названных сочинений потребовала бы слишком много места. Читаются они нелегко: у автора своя выработанная философская терминология (которой у Платона почти еще нет), и знать ее нужно приступающему к чтению; стиль тяжел и деловит без малейших притязаний на изящество; в композиции встречаются скачки и повторения. Одним словом, Аристотель оставил потомству в своих акроаматических сочинениях гигантское по содержанию наследие, никем не превзойденное по сказавшейся в нем силе духа; но адекватной формы этому содержанию он не нашел, да и не искал.

3). Судить о литературном таланте Аристотеля по только что названным сочинениям было бы так же справедливо, как составить себе соответствующее суждение о профессоре русского университета по его изданным его студентами «Запискам». Древность знала другую серию произведений Аристотеля (не говоря о поэзии, в которой он изредка дилеттировал); и по ней она говорила о «золотом потоке» его речи. Это были его «*Диалоги*», примыкавшие к его экзотерической

деятельности. В них он отдал свою дань уважения своему учителю Платону; но, заимствуя у него форму, ставшую благодаря ему классической, он ее видоизменил. Увековеченный Платоном *сократический диалог* отличается своей неприужденностью и отсутствием строгой композиции; именно такую строгую композицию дал ему Аристотель в созданном им *перипатетическом диалоге*. Здесь прежде всего в рамочном рассказе намечается предмет спора; среди собеседников один берется отстаивать одно мнение, другой — противоположное ему; третий, выслушав обоих, произносит свой приговор — конечно, согласный с убеждением самого автора (*thesis, anti-thesis* и *he areskusa*, т. е. «одобряемое» автором мнение). Этот перипатетический диалог стал впоследствии не менее влиятельным, чем сократический: его усвоил не только Цицерон, но и в новые времена, например, английский философ Юм. Мы же не без интереса узнаем в нем знакомую нам форму — «агона» Еврипида и Аристофана. Так-то и здесь проза отвоевывает обратно захваченную у нее поэзией форму.

Среди диалогов Аристотеля один пользовался особой славой; это был его *«Protreptikós»* (т. е. «увещание» заниматься философией). Цицерон подражал ему в своем тоже не сохранившемся *«Hortensius»*, и этим подражанием он покорила душу великого Августина и, по его собственному признанию, отвлек его от мирской суеты и направил на тот путь серьезных исканий, на котором он со временем нашел Христа.

Воспитатель Александра Великого знаменует собой конец того великого и творческого периода греческой литературы, в начале которого стоит Гомер: разнообразные струи, истекающие из чающей души древнего аэда, создав многочисленные типы греческой словесности эпохи независимости, воссоединяются, точно в великом бассейне, во всеобъемлющем сознании Аристотеля.

Но к этим струям относится также одна, которая, сравнительно поздно спустившись с холма поэзии в равнину прозы, еще не была предметом нашего изложения. Эта последняя струя — *красноречие*; ему мы посвятим последнюю описательную главу нашего труда.



Глава IX.

КРАСНОРЕЧИЕ

**§ 41. Речи в поэзии. — Начала прозаического
красноречия: красноречие эпидиктическое. —
Фрасимах и Горгий. — Судебное красноречие
и логография, Антифонт и Лисий.**

Греческое красноречие так же исконно, как и греческая поэзия: мы уже имели случай убедиться в его исключительном значении для гомеровского эпоса. «Оставим в стороне, — говорит Квинтилиан, — его хвалебные слова, увещания, утешения: возьмем девятую песнь, содержащую посольство к Ахиллу, или первую, ссору вождей, или обоснованные предложения во второй — разве не найдем мы в них в полном развитии теории судебных и совещательных речей?» В лирике и это искусство, подобно искусству композиции и характеристики вообще, идет на убыль; но продолжительность лирики трагедия опять доводит его до прежнего и еще высшего совершенства, и тот же Квинтилиан, отдавая пальму первенства среди трагических поэтов — со своей ораторской точки зрения — Еврипиду, объясняет это тем, что он, Еврипид, «много полезнее для будущих деятелей трибуны: и своим стилем он более приближается к ораторскому, и обилен изречениями, и в заимствованной у философов мудрости почти равен им самим, и в искусстве доказательства и опровержения не ниже любого судебного витии; но его главная сила —

в выражении аффектов, особенно тех, которые возбуждают жалость слушателей».

Конечно, разница велика между изукрашенной поэтической речью и той, которая, раздаваясь в действительном народном собрании или суде, черпает силу своего интереса из интереса самого дела, которому она служит. Раз, однако, и совещательные собрания, и состязательные суды с незапамятных времен существовали в Греции, то должно было существовать и соответственное красноречие. Но его образцы не сохранялись: раз действие было достигнуто, произведшая его речь предавалась забвению, и сам Фемистокл завещал потомству только славу о своем красноречии, но ни одной действительно произнесенной речи. Если же человек признавал за тем, что он имел сказать, интерес выше преходящего, то ему оставалось только заимствовать средства увековечения у поэзии: так поступил Солон, побуждая народ к стойкой борьбе за Саламин:

Вестником сам прихожу я с желанных берегов Саламина,
Вместо же речи несу слова усладу вам — песнь.

Но около середины V в., когда проза успела уже отвоевать у поэзии все захваченные последней области ее психологической территории, Афины провели у себя реформу, которая по своему смыслу сводилась к захвату прозой части психологической территории поэзии и была зародышем полного ее поглощения, состоявшегося во вселенскую эпоху. А именно: было постановлено, чтобы на годичном празднике поминок павших в бою особо заслуженный гражданин выступал с хвалебной речью в их честь. Это не было ни политическим, ни судебным красноречием — те остались заклеяменными печатью преходящести. Это было новое, *эпидиктическое* (т. е. торжественное, парадное) красноречие; оратор становился на место лирического поэта с его хором и запевадой; *речь сменила прежний симонидовский френ*.

И такая речь, ввиду своего непреходящего интереса, допускалась к изданию; так красноречие вошло в литерату-

ру как третья, по возрасту младшая отрасль художественной прозы.

Тем временем в Сицилии, где итальянский юридический гений столкнулся с греческим споролюбием, появились учителя *судебного* красноречия, выработавшие теорию как композиции, так и стиля; выходец этой школы, знакомый нам уже софист *Горгий* из Леонтин, в 427 г. приехал в Афины послом от своего государства. Нельзя сказать, чтобы он явился туда первым теоретически образованным оратором: за несколько лет до него прибыл с другого конца эллинского мира софист и ритор *Фрасимах* из Халкедона (на Босфоре), интересная личность, красочный портрет которой нам оставил Платон в I книге своего «Государства». Подвизаясь в эпидиктическом красноречии, Фрасимах ввел в его торжественную прозу новый элемент — *ритм*. Этим он сблизил ее с поэзией — вполне естественно, так как эта проза, как мы видели, заняла место поэзии, а именно лирики. Горгий и со своей стороны внес в художественную прозу новый элемент — *фигуры*. Их было главным образом три: 1) антитеза, противопоставление контрастирующих членов периода, 2) исокол, приблизительно равный размер параллельных или тоже контрастирующих членов, 3) *homoioteleuton*, их одинаковое окончание, т. е. рифма. О сущности и действии этих фигур может дать представление следующее заключение из поминальной речи Горгия: «Свидетелями этого они воздвигли трофеи над врагами, Зевсу на украшение, себе же на прославление; они не были незнакомы ни с дарованной от природы доблестью, ни с дозволенной от закона любовью, ни с бранным спором, ни с ясным миром; были благочестивы перед богами своей праведностью и почтительны перед родителями своей преданностью, справедливы перед согражданами своей скромностью и честны перед друзьями своей верностью» и т. д. Люди старого закала смеялись над этими прикрасами, но главная масса интеллигентной публики была от них в восторге, и даже Фукидид в своих речах поддался обаянию сицилийского чародея, а через Агафона, младшего современника Еврипида, его новшества попали и

в трагедию, готовя ее метаморфозу в IV в. Вообще школа Фрасимаха и Горгия оказалась живуча: то оттесняемая, то торжествующая, она пережила всю античность и к концу вселенской эпохи выделила из себя новую поэзию — ту, которою мы пользуемся поныне, основанную на ритме, равночленности и ритме.

Всё же серьезные деятели трибуны не сразу воспользовались этими нововведениями. Вообще надо знать, что судебное красноречие в Афинах было связано условиями, которых не знало римское: представительство сторон не допускалось, каждый должен был говорить за себя и лишь в ограниченной мере мог прибегать к помощи так называемого «синегора», т. е. товарища по речи. Пока все были одинаково неискусны, большой беды тут не было; но когда — особенно в роли обвинителей от имени государства — стали выступать ораторами вышколенные люди, так называемые сикофанты, разница стала слишком очевидной. Это положение дел заставило многих прибегать к услугам тоже вышколенных ораторов: не имея права выступать от их имени на суде, подобно римским *patroni* и нашим поверенным, они писали для них речи, и те их заучивали; так произошло сословие «речеписателей», *логографов* (которых не следует смешивать со старинными логографами-историками, тогда уже переведшимися). Появилась *запись* судебной речи, а от записи до издания был только один шаг. Он был совершен во вторую половину Пелопоннесской войны: первым афинским оратором на почве судебного красноречия был аристократ *Антифонт*, от которого нам сохранено несколько речей. Он был замешан в аристократическом перевороте 411 г., что и повело к его казни; тогда пришлось ему, защищавшему многих, защищаться и самому. От этой его лебединой песни «О государственном перевороте» нам недавно был возвращен довольно крупный отрывок; приходится, однако, согласиться, что за других он сражался не только успешнее, но и лучше, чем за себя.

Эти начала судебного красноречия были еще очень неискусны: Антифонт не только гнушается новшеств риторической школы, он попросту не умеет komponировать, отделять

доказательства от изложения. Недалеко в этом отношении зашел и лучший из его непосредственных преемников, оратор демократической реставрации Фрасибула *Лисий*; если же его речи нас тем не менее сильно пленяют, то этому причиной их непринужденность и непосредственность, а затем и умение автора вчувствоваться в положение говорящего — будь то солдат-инвалид, или содержатель игорного притона, или обманутый муж, — и заставлять его говорить подходящим к нему языком. Лисий был очень плодовитым логографом, оставившим много сотен речей; сохранные нам наполняют собой небольшой томик.

Но пока Лисий не столько говорил, сколько писал, готовился к своей обширной деятельности человек, занявший исключительное положение не только в ораторском искусстве, но и во всей литературе IV в. Это был *Исократ*.

§ 42. Деятельность Исократа. — Его эпидиктические речи, их панэллинизм

Исократ Афинский (436–338) своей почти столетней жизнью заполняет всю вторую половину аттического периода; не как оратор однако — по слабости голоса он публично не выступал, — а как чрезвычайно влиятельный учитель ораторского искусства и словесного стиля вообще. Ученик Горгия, он унаследовал от него широкое понимание задач риторики в духе того «софистического идеала», о котором речь была выше; основанная им в Афинах школа риторики проповедовала именно этот идеал в противоположность к Академии Платона, позднее и к Ликею Аристотеля: таким образом, спор между софистикой и сократизмом, о котором свидетельствуют диалоги Платона, перекинулся и в IV в. Ему не суждено было найти и в нем свое разрешение: во вселенскую эпоху он разгорелся вновь и горел до конца античной культуры.

Унаследовав ритм Фрасимаха, фигуральность Горгия, прибавив от себя новую поэтическую тонкость, недопустимость

зияния¹, и осветив все эти особенности дикции прозрачностью периодизации своего современника Ксенофонта, Исократ поднял аттическую речь как таковую на недостижимую до тех пор высоту; и если бы внешняя красота решала вопрос о достоинстве писателя, то несомненно, что пришлось бы поставить Исократа выше и Фукидида и Платона. Но в деле стилистического обучения на первом плане стоит именно форма, и поэтому неудивительно, что школа Исократа стала чрезвычайно влиятельна. Не одно только красноречие испытало на себе его обаяние: Феопомп и Эфор перенесли его принципы в историографию, Феодект и Астидамант — даже в трагедию; вселенская эпоха вначале пыталась было уклониться от его путей, но затем — в так называемой аттицистической реакции — к ним вернулась, и исократизм стал в ней синонимом стиля вообще.

Воспитательская деятельность Исократа не ограничилась однако учебной работой в его школе; той же цели служат и его речи. Мы не говорим здесь, конечно, о его логографических опытах, относящихся к первому десятилетию IV в.; скорее относятся сюда его увещательные речи, особенно те, которые имеют своим адресатом кипрского царя Никокла, — энкомии в прозе этического содержания, знаменующие собою завоевание прозой всей этой области лирики, созданной последним триумвиратом хорической мелики. Все же самую замечательную частью Исократова наследия были его крупные эпидиктические речи, в которых мы должны признать одновременно и образцы его стиля и выражение его политических убеждений. Последние могут быть сосредоточены в одном слове: *панэллизм*. Позорный мир Анталкида, отдавший Ионию персам, усилил это чувство в сердцах всех благородных эллинов, и в этом отношении Исократ никогда не изменял себе; но его представления о путях, могущих повести к осуществле-

¹ Оно имеется, например, в стихе «Еще одно, последнее сказанье» между первым и вторым словом, и притом в очень резкой форме: за заключительным гласным первого следует начальный гласный второго, не давая устам сомкнуться — отсюда название. Мы в нем пока изъяна не чувствуем, но в этом виновато только наше варварское ухо, и можно быть почти уверенным, что более чуткие поколения станут его избегать и у нас.

нию заветной цели, менялись в зависимости от политического положения Эллады. В столетнюю годовщину Саламинской битвы, накануне основания второго морского союза под главенством Афин при наличии спартанской гегемонии, он мечтал о возобновлении того афино-спартанского дуализма, под знаком которого Эллада одержала свои славные победы в освободительной войне. Он представляет себя оратором во всеэллинском торжественном собрании (*panegyris*); перед ним он отстаивает свою любимую мечту: Афины во главе морских, Спарта во главе сухопутных сил Эллады для общих действий против врагов за поработленную Ионию. Заглавие этой знаменитой речи — «*Panegyrikós*» — закрепило этот термин за прозаической энкомией. В дальнейшем развитии событий сокрушение спартанской гегемонии Фивами и распадение морского союза Афин разрушили эту красивую мечту: Исократ поддался тому настроению, о котором речь была выше, тоске по сильной единоличной власти. Ее носителя он видел в единственном человеке, который действительно был способен стать таковым, — в Филиппе Македонском. В видах осуществления своего панэллинского идеала он, девяностолетний старец, приглашал этого рокового человека взять на себя предводительство Элладой для общей борьбы за Ионию. Но он продолжал мечтать о мирном объединении эллинов; кровавое осуществление македонской гегемонии ценой независимости Эллады в битве при Херонее (338 г.) было для него жестоким разочарованием, настолько жестоким, что он его не перенес. В том же 338 г. Исократ насильственно рассек, девяносто восьми лет от роду, слишком длинную нить своей жизни.

**§ 43. Аттический триумвират. — Демосфен. —
Его политическая деятельность. —
Политическое красноречие**

Трагические события, о которых речь была только что, дали Афинам тот великий триумвират, в котором аттическое ораторское искусство достигло своего зенита: *Демосфена, Эсхина*

и *Гиперида*. В их лице за эпидиктическим и судебным красноречием также и *политическое* стало достоянием литературы.

Из них *Демосфен* (384–322) был младшим; все же нам надо с него начать, так как он вынес на своих могучих плечах всю страду последней борьбы Афин и Эллады за свою независимость, и его речи остались нам незабвенными вехами этой борьбы. Не к ней его готовил его отец, богатый собственник оружейного завода; но Демосфен его еще в детстве потерял, а так как его опекуны своим недобросовестным ведением дел растратили его наследство, то его ранняя молодость протекла в стараниях приобрести нужные силы, чтобы по достижении совершеннолетия привлечь их к ответственности. Для этого ему пришлось — ввиду недопустимости в Афинах представительства сторон — стать оратором самому и с этой целью переломить свою природу, мало приспособлявшую его к этой деятельности. Ему действительно удалось выиграть процесс, но много получить обратно он не мог; оставшись небогатым молодым человеком, он воспользовался приобретенным ораторским знанием и навыком, чтобы в качестве логографа несколько увеличить свои скудные доходы. Иногда ему удавалось выступать и синегором и этим также и лично заявлять себя перед народом; чем далее, тем более процессы, в которых ему приходилось принимать участие, стали носить политический характер; попадались и такие, в которых он как представитель государственных интересов мог выступать самостоятельно. Так росла ораторская сила Демосфена: от логографии до синегории, от синегории до личной политико-судебной деятельности. Он был уже во всеоружии этой своей силы, когда в 351 г. Филипп, сбросив личину, выступил открыто врагом Эллады, начав *Олинфскую войну*.

В этом году и Демосфен выступил открыто против него в своей *первой «Филлиппике»* (этот термин стал благодаря ему нарицательным), за которой последовали его три *«Олинфские речи»*; для нас это — так как Демосфен счел полезным для дела издать их — первые в истории красноречия образцы чисто политических речей. Выше было сказано, с какими трудностями внутреннеполитического характера пришлось бо-

ротья Демосфену; половинчатое исполнение предложенных им мер повело к тому, что Афины проиграли войну. Филипп предложил им тогда мир, и сам Демосфен не мог не признать его необходимости; но отправленное Афинами посольство с Филократом во главе и Эсхином и Демосфеном в своем составе — в силу ли предательства некоторых его членов или по неловкости — заключило этот «Филократов мир» (346 г.) на столь невыгодных для Афин условиях, что Гиперид с Демосфеном сочли нужным привлечь главных послов к ответственности за «недобросовестное посольство», причем Гиперид, как старший, направил стрелы своего обвинения против Филократа, а Демосфен — против Эсхина. Филократ был осужден, Эсхин только благодаря заступничеству влиятельных друзей избежал той же участи. Нам от этого замечательного поединка осталась пара речей, очень объемистых, обоих противников под заглавием «О недобросовестном посольстве» («*Peri parapresbeias*») да еще в виде пролога к ней речь Эсхина против Тимарха, товарища Демосфена по обвинению, против которого ловкий делец повел встречное обвинение в безнравственности. Этот ход ему, к слову сказать, удался, и его последствием была отсрочка главного процесса на три года.

Мир Филократа был худым миром; Филипп продолжал свою коварную политику против Эллады, Демосфен — свои меры предосторожности на случай столкновения, о котором он и предупреждал своих сограждан в ряде последовательных «Филиппик». Но и Эсхин, нравственно заклеянный Демосфеном, продолжал орудовать в пользу македонского царя. Последствием его политики был открытый разрыв в 340 г.; Демосфен одержал вслед за тем свою величайшую ораторскую победу, склонив Фивы к союзу с Афинами, но сил обоих государств оказалось мало против полчищ северного врага, и битва при Херонее (338 г.) разрушила вместе с независимостью Эллады и дело жизни Демосфена.

Пришлось начинать сызнова. Граждане подтвердили свое доверие к Демосфену, поручив ему произнести надгробную речь в честь херонейских героев и избрав его в комиссию по укреплению афинских городских стен; Демосфен исполнил

с блеском оба поручения, причем самоотверженно влил свои частные средства в государственную казну для возможно лучшего исполнения второго. За эту заслугу его товарищ по партии Ктесифонт предложил увенчать его гражданским венком. В предложении были некоторые формальные неправильности: за них жадно уцепился злопамятный Эсхин, чтобы под видом обвинения Ктесифонта опорочить самого Демосфена и его патриотическую политику. Демосфен принял вызов; вся Эллада с напряжением следила за этим вторым поединком обоих способнейших ее ораторов. Много раз отложенный, он состоялся в 330 г. и оправдал все ожидания. Его смысл заключался, конечно, не в личности Ктесифонта, а в суде над обоими политическими направлениями, патриотическим и малодушно предательским. Оба оратора превзошли себя — об этом и мы можем судить, так как обе речи, и Эскина *«Против Ктесифонта»* и Демосфена *«О венке»*, нам сохранены. Но победила правда: обвинитель Эсхин, не получив даже одной пятой голосов, был признан клеветником и должен был покинуть Афины.

Процесс о венке — вершина жизни Демосфена; тем ужаснее было его падение вскоре затем, связанное со скандальным делом Гарпала, казначея Александра Великого. Этот человек бежал с царской казной в Афины. По требованию Демосфена казна была опечатана; вскоре, однако, распространился слух, что в ней есть недочеты, и подозрение пало на Демосфена: в председатели следственной комиссии был избран Гиперид, раньше друг и союзник Демосфена. Последний не отрицал, что он часть опечатанной суммы употребил на государственные нужды — и, разумеется, мы должны ему верить: психологически невозможно, чтобы человек, не пожалевший своего частного имущества ради государства, на склоне своих лет польстился на чужое ради собственных интересов. Но суд исключил вопрос о назначении взятой суммы и, признав факт растраты, присудил Демосфена к уплате штрафа, превышавшего его средства. Пришлось и ему отправиться в изгнание. Смерть Александра Великого повела, как мы уже знаем, к антимакедонской реакции в Афинах, роковой для Аристотеля,

но благотельной для Демосфена: он с честью был вызван обратно и руководил делом восстания Эллады против Македонии. Оно быстро потерпело крушение, и победоносный преемник Александра Антипатр потребовал выдачи обоих вождей патриотической партии, Гиперида и Демосфена. Оба бежали; Гиперида варвар настиг и замучил, Демосфен избег той же участи только тем, что принял яд, который он всегда носил при себе (322 г.).

**§ 44. Литературное наследие триумvirата. —
Его оценка. — Эсхин и родосский стиль. —
Гиперид. — Демосфен**

В предыдущем отделе мы ознакомились, поскольку это было нужно, с главными моментами общественной и ораторской деятельности всех трех крупнейших представителей аттического красноречия; остается теперь разобраться в их наследии. Оставленное *Эхином* ограничивается упомянутыми тремя речами «За Тимарха» и «О недобросовестном посольстве» в 343 г. и «Против Ктесифонта» в 330 г. О *Гипериде* мы до середины прошлого века не могли судить по собственному знакомству; но с тех пор египетские папирусы возвратили нам, хотя и не в полной сохранности, последовательно шесть его речей, в том числе и ту, которую он произнес в процессе по поводу Гарпаловых денег. Все же это — очень незначительное число в сравнении с тем — 77, — которое было в руках древних читателей. Лучше всего обстоит дело с Демосфеном; правда, в числе сохранных под его именем речей немало подложных, но даже если согласиться с самыми придиричвыми критиками, все-таки остается тридцать три несомненных его речи, и среди них две объемистые против Эскина.

А теперь отвлечемся от нашей нравственно-политической оценки этих ораторов как общественных деятелей; отнесемся к ним исключительно с ораторской точки зрения. Правда, эта точка зрения может показаться довольно бесплодной: у нас в России они все три одинаково заброшены, и нам как-то

странно даже бывает узнавать, что великие ораторы английского парламента вроде Брума (*Brougham*), Питта, Кэннинга изощряли свой талант чтением греческих ораторов. И все же необходимо, имея в виду будущее и возлагаемые на него надежды, поставить вопрос именно так.

И ответом будет: из названных трех ораторов по всему способу выражаться к нам наиболее близок *Эсхин*. Он ясно и красиво рассказывает, умело подчеркивает выгодные для него пункты, он убедительно доказывает и опровергает, он в меру цветист и особенно хорошо умеет возбудить у своих слушателей и читателей аффекты сочувствия и гнева.

Кто хорошо знаком с Цицероном, тому *Эсхин* напомнит именно его — и это неудивительно. Мы видели выше, что после неудачного для него исхода процесса о венке он покинул Афины; теперь нужно прибавить, что он удалился на остров Родос и там в качестве поселенца основал школу ораторского искусства; будучи на пять лет старше Демосфена и ровесником Гиперида, он на восемь лет пережил обоих (389–314) и умер там же, успев в течение шестнадцати лет своего схолархата поставить прочно свое новое дело в своей новой родине. Этим он отчасти искупил грехи своей афинской жизни: надобно знать, что в течение первых столетий вселенской эпохи Родос был своего рода Венецией, единственной действительно независимой греческой республикой с могучим флотом, и что здесь и только здесь нашло себе пристанище политическое красноречие. Стиль *Эсхина* продолжался здесь под именем *родосского стиля*; его последним представителем был в I в. до Р. Хр. знаменитый Молон Родосский, а его учеником был Цицерон.

Гиперид на нас особого впечатления не производит. Древние его любили за его естественное изящество (*charis*) и, действительно несколько странное у политического оратора, тем более греческого, бесстрашие; нас все это мало согревает, и мы в сущности следуем только античной традиции, считаясь с Гиперидом как с равноправным членом триумvirата. Его осязательный интерес для нас заключается в его материальной стороне как источника политического и правового быта Афин филипповской эпохи.

И вот, наконец, *Демосфен*, этот синоним античного красноречия вообще. Спрашивается, почему знакомство с ним современного человека, особенно русского, почти неизменно сопровождается разочарованием? Ответ подсказывает нам знаменитое, непере译имое слово Цицерона о главной прелести его слова: «*Demosthenis non tam vibrarent fulmina illa, nisi numeris* (ритм) *contorta ferrentur*». Итак, чтобы оценить Демосфена, надо читать его в подлиннике, а не в переводе; и не только в подлиннике, но и громко, ухом, а не глазами; и не только громко, но и с соблюдением количества слогов. Кто этого не может, тот лишает себя многого, но не всего: остается та сила, которую греческие критики называли *deinotes*, сдержанная страсть, глухо клокочущая в тисках его сжатого стиля; остается благородное политическое и нравственное негодование, приправленное сильным придатком северной угрюмости, заставляющим нас вспомнить о том, что его мать была нашей землячкой — уроженкой Скифии; остается, наконец, тот интерес, который неразрывно связан с его личностью.

О нем несколько заключительных слов. В труде Ксенофонта, последнего члена классического триумvirата историков, мы читаем греческую и афинскую историю до Мантинеи (362 г.): для филипповской эпохи у нас непроизводного исторического источника нет. Вот тут-то и сказывается важность Демосфена. В нем трагическая борьба Эллады за свою независимость нашла своего если не беспристрастного — этого нельзя было требовать от борца, — то всегда живого и действительно выразителя. Геродот и Демосфен — они относятся друг к другу, как Марафон и Херонея, как утро и вечер; и нам трудно поверить, что только одно столетие отделяет наивного жизнерадостного ионийца от этого последнего носителя афинской свободы, с его челом, изборожденным морщинами забот, с его добытым тяжелыми жизненными опытами умом — тем умом, о котором в эпиграмме под его статуей сказано:

Если б имел, Демосфен, ты уму равномошную силу.
Не был бы властным главой вождь македонский у нас.



Глава X.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 45. Литературные типы. —

**Качественное богатство греческой литературы. —
Ее количественное богатство. — То, что нам осталось**

Наш путь пройден; если мы оглянемся назад — что мы увидим? Во введении, указывая на значение для нас греческой литературы, я сказал, что все литературные типы, которыми мы пользуемся ныне, завещаны нам Элладой: оправдалось ли это заявление?

Попытаемся отдать себе отчет в том, какие литературные типы вообще были созданы в течение разобранного периода, ограничиваясь главными и не входя в рассмотрение разновидностей. Прежде всего эпос, как героический, так и дидактический, не считая «героикокомического»: два ныне вымерших типа, и не только ныне, но уже в Греции, начиная с V в. Затем лирика, как субъективная (элегия, ямбография, сатира с басней, монодическая мелика), так и объективная; последняя у нас считается вымершей, если не принимать во внимание редких торжественных кантат, но первая процветает более чем когда-либо; не забудем и объективно-субъективной баллады. Затем трагедия с невозродимой сатирической драмой; правда, это — трагедия героическая, соответствующая нашей исторической, но и другой ее, ныне преобладающий тип, бытовой, имелся в

серьезной отрасли греческой комедии нравов, единственном возродимом и действительно возрожденном ее типе, сменившем окончательно погибшую политическую комедию. Такова поэзия; в прозе мы отметили историографию в обоих ее типах, прагматическом и риторическом, с прибавлением к последнему и исторического романа; затем философию, тоже в двух типах, трактате и диалоге, из коих второй, как он ни редок ныне, все-таки, как показывает блестящий пример Вл. Соловьева, не может считаться умершим; при этом следует помнить, что философия того времени, как было в свое время замечено, содержит в себе и научное писательство вообще. Наконец, красноречие, как эпидиктическое, включившее в себя со времен Исократы и публицистику, так и политическое и судебное. Этот краткий обзор, ограничившийся самым главным, покажет читателю, что мы откинули довольно много типов, созданных греческой литературой; но прибавили ли мы хоть один свой?

Непосвященный читатель, пожалуй, сразу ответит: целых два и притом основных — роман и повесть. Но это будет заблуждением. Конечно, исторический роман Ксенофонта не может считаться представителем романа вообще — но ведь мы не прошли еще полного пути развития греческой литературы, а только первую его половину, до потери независимости, — вторая, вселенская половина осталась вне пределов нашего очерка. А она тоже кое-что создала — и вот, между прочим, роман и повесть. Нет, наше заявление оправданно: греческая литература подлинно создала все типы, которыми мы пользуемся поныне.

Таково качество; поговорим и о количестве. Когда — мы тут немного заглядываем вперед — первый Птолемей, основывая свою библиотеку при александрийском Музее, спросил своего вдохновителя в этом великом деле — афинянина Деметрия Фалерского, ученика Аристотеля, — сколько книг он рассчитывает для нее собрать, тот, подумав, ответил: около двухсот тысяч. На самом деле, когда план был осуществлен, было собрано не двести, а без малого пятьсот тысяч книг.

Вот, значит, общий итог литературной работы Эллады за эпоху независимости. Конечно, античная книга много меньше

нашей: наш нормальный том (например, Тойбнеровской библиотеки) обнимает около 5 книг. Итак, сто тысяч томов; на их расстановку потребовалось, по-видимому, несколько зал. И если читатель припомнит сказанное о киклическом эпосе, о хорической мелике, о трагедии и о комедии и примет во внимание неполноту наших сведений, особенно о внеафинских писателях аттического периода, то это число не покажется ему преувеличенным и он не станет искать его объяснения в неправдоподобной гипотезе, будто в него вошли также и дублеты.

А что нам осталось от этого богатства? Сосчитать нетрудно: две гомеровских эпопеи с гимнами, тощий томик Гесиода, еще более тощий — Феогида, несколько более объемистый — Пиндара, сорок четыре драмы (трагедии и комедии), Геродот в двух, Фукидид в стольких же, Ксенофонт в четырех томах, Платон в шести, Аристотель в семи, Гиппократ в шести, да еще ораторы тоже в шести; всех их удобно можно разместить на одной книжной полке. Да, такова культурная работа эпохи по обе стороны 600 г. по Р. Хр.: от ряда зал, отведенного под сокровищницу классической греческой литературы, она сумела спасти всего одну полку.

Это следует твердо помнить, когда говоришь о древнегреческой литературе и условиях ее изучения.

§ 46. Возмещение утраченного. — Отрывки, свидетельства, традиция. — Важность филологической работы. — Филология, история и художественное чутье

И этот жалкий остаток, спросит меня читатель, дал вам материал для всей вашей книжки под гордым названием «Древнегреческая литература»?

Во-первых, отвечу, я был скромн, удовлетвоавшись 180 страницами¹: другим для той же темы понадобился бы ряд

¹ Автор имеет в виду объем книжки 1919 года «Древнегреческая литература. Общй очерк». (Прим. сост.)

томов. А во-вторых — нет, конечно, нет. Достаточно будет напомнить читателю ряд имен писателей, о которых у нас была речь выше и которые не нашли себе места в спасенном ковчеге. И этот ответ, естественно, возбудит дальнейший вопрос: как же можно было о них говорить, раз их нет?

Вот в том-то и дело, что их не совсем нет. Во-первых, в цитатах позднейших авторов сохранены «отрывки» утерянных писателей, не говоря о тех, которых нам в более или менее бедственной сохранности возвращают египетские пески, — о них не раз была речь в нашем очерке. Во-вторых, мы судим о них косвенно по *свидетельствам* тех позднейших писателей, которые еще могли их читать. И в-третьих и главным образом, их *традиция* сохранена как в римских переделках, так и в заимствованиях тех же позднейших писателей; так, о памятниках новоаттической комедии мы судим по переделкам Плавта и Теренция, так, историческая традиция неуцелевшего Эфора сохранена нам у пользовавшегося им как источником современника императора Августа историка Диодора Сицилийского.

Да, отрывки, свидетельства, традиция — вот тот материал, которым мы пользуемся при посильном восстановлении погибшего: традиция дает нам представление о содержании, отрывки — о форме, а свидетельства, контролируемые с помощью первых двух орудий, служат в свою очередь и для контроля нашего собственного суждения. И в этом заключается — помимо ее самобытного значения, которое очень велико, — также и производное значение вселенской эпохи античной литературы в ее как римской, так и греческой половинах: от нее сохранено гораздо больше памятников, чем от той ранней, и из нее мы добываем только что указанные сведения также о потерянных представителях этой последней.

Но пусть читатель не представляет себе этой работы легкой — напротив, она очень и очень трудна, требуя от работника кропотливейших изысканий, с лупой в руке. А для этой работы одного литературно-исторического дарования и умения мало, даже при наличности и основательного знания греческого языка: требуется серьезная *филологическая* школа. Я выше привел суждение Тэна о сравнительном «парадигматическом»

значении греческой и английской литератур и о причинах, заставивших его отдать предпочтение второй; теперь читатель видит, насколько он был прав. В пределах английской литературы он, при всей ее необозримости, мог, сидя в библиотеке, получать сочинения ее главных представителей том за томом и с тем чутьем, которое требуется для этого дела и которым он обладал в высокой степени, делать себе те выписки и заметки, которые послужили основанием для его столь же поучительного, сколь и чарующего сочинения; но что он стал бы делать с греческой литературой, даже если бы он читал по-гречески так же легко, как и по-английски? «Дайте мне Стасина, Стесихора, Фриниха, Евполида, Протагора, Эфора!»? Да, как же! Ищите их. А без них, на основании одной вышеуказанной полки сохранных авторов, истории греческой литературы не напишешь. А чтобы вызвать их тени из всеприемлющей обители Аида, для этого недостаточно быть историком литературы; надобно быть *филологом*. Непосвященный читатель не всегда отдает себе отчет в том, чего ради мы, филологи, существуем на земле; надеюсь, что сказанное даст ему возможность хоть частично ответить на этот вопрос.

Но, спешу прибавить, недостаточно также быть филологом. Назначение филологии — скромное, служебное: она доставляет историку греческой литературы материалы для исполнения его задачи, не более. Обработать эти материалы, оживить их духом художественности и эволюционизма, извлечь из них действительную *историю* греческой литературы как проявления *художественного* гения Эллады — это может только тот, чья душа запечатлена печатью тех дарований, которые заключаются в подчеркнутых словах. И в этом заключается трудность той задачи, о которой здесь идет речь: ее исполнитель должен совмещать в себе и филолога, и историка, и художника.

Именно совмещать: прошу не думать, будто здесь возможно деление труда, будто историку-художнику, желающему уберечь свои белые ручки от терний филологической работы, дозволено пользоваться ее готовыми результатами, претворяя их в своем историко-художественном сознании. Смею уверить,

что из этой попытки вторично родить чужое детище ничего не выйдет: чудо Семелы неповторимо. Да за эту задачу и не возьмется истинный историк-художник, как не взялся за нее Тэн. Нет, прежде всего надо быть филологом; и если таковому Бог дал художественное чутье — пусть он еще изошрит свою критику изучением новейших нефрагментарных литератур и руководящих исторических и теоретических сочинений о них. Тогда он будет подготовлен к своей задаче.

§ 47. Древняя и новая литературы. — Возрождения

Это изучение желательно еще с другой точки зрения.

Выше было указано на то, что античная литература была и плоскостью исхода, и вдохновительницей для новейшей, которая, таким образом, и продолжала ее, как всякий более поздний период при нормальных условиях продолжает более ранний, и, повторно оплодотворяя себя ею в различные эпохи «возрождений», поднималась на всё высшие и высшие ступени своего развития. Отсюда следует, что в *новейшей литературе заключена античная* — но, конечно, не как драгоценность в футляре, не как состав в механической смеси, а чем она сама совершеннее, тем в более тесном и интимном соединении. Грубо ошибался бы тот, кто бы стал ограничивать участие древней литературы в новой теми произведениями последней, в которых встречаются античные имена: для «Федры» Расина, конечно, нетрудно установить зависимость от «Ипполита» Еврипида, но это — наименьшая часть задачи: у Шиллера первое серьезное знакомство с античной трагедией выразилось в том, что он написал «Дон-Карлоса», в котором нет ни одного античного имени. Нет, кто хочет действительно распознать античное зерно в новейшей литературе, тот должен, во-первых, основательно знать античную, а во-вторых, иметь также солидное представление о процессе становления новейшей как в ее целом, так и в ее отдельных представителях.

Достаточно ли этим обоснована важность того совместительства, о котором здесь идет речь? Риска вызвать протесты,

я скажу напрямик: всякое изложение явлений новейшей литературы, не обращающее внимания на ее античные корни, будет либо половинчатым исполнением задачи, либо праздной болтовней; всякий историк новейшей литературы, не вносящий в свою научную работу основательного знакомства с античной, будет беспомощен перед ее трудностями. Если вы хотите понять данного писателя, вы должны быть знакомы с той пищей, которой он вскормил свою душу. Не возражайте мне, что Пушкин, например, читал очень мало античных произведений: зато те, которых он читал, в свою очередь прочли таковых немало. Влияние было косвенным, но оно было.

Само же исполнение задачи, предполагаемой здесь, может идти в двух противоположных друг другу направлениях. Во-первых, мы можем исходить из данной области или данного явления новейшей литературы и поставить вопрос об античных факторах, сказавшихся в его становлении: так Холевиус написал двухтомную «Историю немецкой поэзии в ее античных элементах», так недавно Маас выпустил объемистую книгу под заглавием «Гете и античность». Но, во-вторых, можно исходить из данного античного автора и проследить его влияние на представителей новейшей литературы в различные эпохи ее развития. Так, Патен в своих «Этюдах о греческих трагиках» поставил себе целью проследить влияние греческих трагиков преимущественно на французскую классическую трагедию; книга вышла добросовестная, полезная, но односторонняя — из нее читатель не узнает, как повлияла «Антигона» Софокла на все духовное построение вышеназванного шиллеровского «Дон-Карлоса». Иначе и шире понял свою задачу я в своем этюде о «Цицероне в истории европейской культуры», разросшемся в третьем немецком издании (1912) в целую объемистую книгу; думаю, что мой путь был правильнее. После этой книги появились родственные ей по методу о Гомере (Финзлера), Аристофане (Зюсса) и др.; вообще же это — непочатый угол. А кто раз приучил себя распознавать древнее в новом, понимать все тысячи нитей, связывающих античную письменность с нашей, перед тем и вышеназванная, единственно уцелевшая книжная полка из огромной

александрийской библиотеки предстанет в новом, ослепительно ярком освещении. Это уже не отдельные литературные особи, хотя бы и связанные между собою узами развития: это — патриархи, стоящие каждый во главе многочисленного потомства в длинном ряде нисходящих поколений. Правда, эту честь с ними разделяют и некоторые из погибших: мы видели, Менандр не самолично призвал к жизни новейшую комедию, а через своих римских подражателей; красноречивыми устами Цицерона часто обращались к душам новых людей несохраненные греческие философы, ученики Платона; и в той великой культурной работе, которую чародей Овидий произвел в плодородной почве средневековой интеллигенции, его александрийские образцы могут приписать себе немалую долю. Это надо было прибавить в интересах истины: сущность дела остается той же.

А в чем эта сущность, это станет ясно читателю, если он придет к сознанию, что те периоды западноевропейской литературы, в которых она испытала наиболее сильное воздействие античности — не как подражательница, а как претворительница, — принадлежат именно к ее наиболее творческим периодам; а если он далее вспомнит, что русская литература еще почти не испытала на себе ее непосредственного воздействия...

Я несколько выше подсказал читателю *частичный* ответ на вопрос, на чем мы, филологи, основываем свое право на существование в современном обществе; могу ли я надеяться, что эти мои последние соображения дадут ему материал для другого, если не исчерпывающего, то более полного? Нет, господа, погодите нас истреблять: дайте нам время влить в вашу литературу здоровую кровь жизнерадостного и трудорадостного подъема, в котором она так нуждается. Не трогайте нас до тех пор; а потом...

А потом вы этого и сами не пожелаете.



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРИОДЫ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ	ПОЭЗИЯ	ПРОЗА
До 1000 г. до Р. Х.	Основание дорических государств в Пелопоннесе. Колонизация малоазийского побережья	<i>Древнейшая лирика</i> Обрядовая песня. Рабочая песня	<i>Древнейшая проза</i> Мифы, саги. Практические и нравственные наставления. Пословицы. Басни
X и IX вв. (1000–800)	Продолжение колонизационного движения. Гегемония Аргоса в Пелопоннесе. Постепенная аристократизация. Законодательство Ликурга	<i>Эпос</i> Древнейшая (эолийская) форма «Илиады» и «Одиссеи». Их ионизация и развитие. Эпоха аэдов	
VIII в. (799–700)	776. Начало олимпиад. 743–724. Первая Мессенская война. Колонизация Сицилии и южной Италии. Начало Лелантской войны	<i>Эпос</i> Завершение «Илиады». Киклический эпос. Завершение «Одиссеи». Гесиод	Древнейшие летописи

ПЕРИОДЫ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ	ПОЭЗИЯ	ПРОЗА
VII век 1-я поло- вина (699–650)	Конец Лелантской войны. Возвыше- ние Лидии (Гигес). Власть Лидии над Ионией. Поход ким- мерийцев	<i>Эпос</i> Киклический эпос. Генеалогиче- ский и дидак- тический эпос. Гомерические гимны. Эпоха рапсодов. <i>Лирика</i> Элегия: Каллин, Архилох. Ямбо- графия: Архилох. Хорическая ме- лика: Алкман	
VII век 2-я поло- вина (649–600)	645–628. Вторая Мессенская война. Падение Аргоса и спартано-дель- фийская гегемония. Периандр в Коринфе. Война за Саламин. Ионийцы в Египте (Навкратида)	<i>Эпос</i> Развитие и вырождение. <i>Лирика</i> Элегия: Тиртей, Мимнерм, Со- лон. Хорическая мелика: Стеси- хор, Арион	
VI век 1-я поло- вина (599–550)	594. Законодатель- ство Солона. Питтак на Лесбосе. 560. Начало тирании Писистрата в Афинах	<i>Лирика</i> Элегия: Солон. Ямбография: Симонид Стар- ший. Моноди- ческая мелика: Алкей, Сафо	Ферекид Старший. <i>Философия</i> (Фалес.) Анаксимандр
VI век 2-я поло- вина (549–500)	546. Победа Кира над Крезом. Захват Ионии персами; переселение теосцев в Абдеру. Поликрат на Самосе.	<i>Эпос</i> Философский эпос: Ксенофан. <i>Лирика</i> Элегия: Феогнид.	<i>Басня</i> Эзоп. <i>Философия</i> Анаксимен. (Пифагор.)

ПЕРИОДЫ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ	ПОЭЗИЯ	ПРОЗА
VI век 2-я поло- вина (549–500)	510. Изгнание Писи- стратидов и Клисфен. 500. Ионийское вос- стание	Эпиграмма: Фокилид. Ямбография: Гиппонакт. Монодическая мелика: Анакреонт. Хорическая мелика: Ивик, Симонид Младший. <i>Трагедия</i> Феспид, Пратин, Фриних	<i>История</i> Старшие логографы: Гекатей
V век 1-я чет- верть (499–475). Эпоха освободи- тельной войны	490. Марафон. 480. Фермопилы и Саламин. 479. Платей. Микала и освобождение Ионии. 478. Основание делосского союза и морской гегемонии Афин	<i>Эпос</i> Философский эпос: Парменид. <i>Лирика</i> Хорическая мелика: Симо- нид Младший. Пиндар. <i>Трагедия</i> Фриних, Эсхил. <i>Комедия</i> Эпихарм	<i>Философия</i> Гераклит. <i>История</i> Старшие логографы: Гекатей
V век 2-я чет- верть (474–450). Эпоха Ки- мона	Развитие делосско- го союза и морской гегемонии Афин. Спартанофильская политика Кимона	<i>Эпос</i> Философский эпос: Эмпедокл. <i>Лирика</i> Хорическая мелика: Пиндар, Вакхилид. <i>Трагедия</i> Эсхил, Софокл	<i>История</i> Младшие логографы: Ферекид Младший

ПЕРИОДЫ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ	ПОЭЗИЯ	ПРОЗА
V век 3-я чет- верть (449–425). Эпоха Пе- рикла	Смерть Кимона. Начало Пелопоннес- ской войны. Смерть Перикла	<i>Трагедия</i> Софокл. Еврипид. <i>Комедия</i> Кратин	<i>Философия</i> Анаксагор, софисты, Демокрит. <i>История</i> Младшие логографы: Гелланик, Геродот
V век 4-я чет- верть (424–400). Эпоха Пелопон- несской войны	421. Мир Никия. 404. Эгоспотамос; ко- нец войны и морской гегемонии Афин	<i>Трагедия</i> Софокл, Еврипид. <i>Комедия</i> Евполид, Аристофан	<i>Философия</i> <i>и наука</i> (Сократ.) Гиппократ. <i>История</i> Фукидид. <i>Красноречие</i> Фрасимах, Горгий, Антифонт
IV век 1-е 20-ле- тие (399–380). Вторая гегемония Спарты	Коринфская война. 387. Анталкидов мир и вторичное подчи- нение Ионии персам	<i>Лирика</i> Элегия: Анти- мах. Хорическая ме- лика: Тимофей. <i>Комедия</i> Аристофан. Среднеаттиче- ский период: Антифан	<i>Философия</i> Антисфен, Аристипп, Платон. 387. Основа- ние Акаде- мии. <i>Красноречие</i> Лисий. Исократ
IV век 2-е 20-летие (379–360). Эпоха Эпа- минонда	Возвышение Фив. Основание второ- го морского союза Афин. 362. Мантинея и смерть Эпаминонда	<i>Комедия</i> Среднеаттиче- ский период: Антифан, Анак- сандрид	<i>Философия</i> Платон. <i>История</i> Ксенофонт. <i>Красноречие</i> Исократ

ПЕРИОДЫ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ	ПОЭЗИЯ	ПРОЗА
IV век 3-е 20-летие (359–340). Эпоха Филиппа Македон- ского	Распадение второго морского союза. Бес- силие Спарты, Афин и Фив. 345. Филократов мир	<i>Трагедия</i> Феодект, Астидамант. <i>Комедия</i> Среднеаттиче- ский период: Антифан, Анаксандрид, Алексид	<i>Философия</i> Платон, Аристотель. <i>История</i> Феопомп. Эфор. <i>Красноречие</i> Исократ, Эсхин, Гиперид, Демосфен
IV век 4-е 20-летие (339–320). Эпоха Алексан- дра Вели- кого	338. Херонея. 336–332. Александр Великий	<i>Комедия</i> Среднеаттиче- ский период: Анаксандрид, Алексид. Начало ново- аттического периода: Филемон, Менандр	<i>Философия</i> Аристотель, Феофраст. <i>Красноречие</i> Эсхин, Гиперид, Демосфен



ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Из рецензии А. Малеина

Один из наилучших не только у нас, но и на Западе истолкователей античности, без малого сорок лет блестяще работающий на ее ниве, делится в настоящей книжке с широкими кругами читателей результатами своих упорных трудов. Излишне поэтому распространяться, сколько тут можно найти остроумных и метких наблюдений, блестящих и глубоких мыслей. Для большей обозримости содержания автор излагает отдельно историю поэзии и прозы, кончая первый свой обзор Менандром, а второй Аристотелем и Демосфеном...

Пометку же «часть первая» Ф. Ф. Зелинский объясняет так: долгодетный опыт научил его тому, что давать в руки читателю один только общий очерк «без иллюстрирующих образцов — неправильный и бесплодный прием». Поэтому он собрал в отдельной книжке образцы поэзии, поясняющие первые семь глав очерка. Такое дробление предпринято «по практическим соображениям». Автор не поясняет, к сожалению, в чем они заключаются, так как на первый взгляд кажется, что практика подсказывала бы как раз обратное, т. е. включение образцов в самый текст. Во-первых, что касается содержания, то автор сам говорит о «теснейшей» связи между очерком и образцами, а затем при разного рода несовершенствах нашей современной книготорговли такое дробление, да еще с возможностью продажи каждой части отдельно, легко приведет к тому, что первая часть разойдется быстрее второй, которая вряд ли найдет себе много сбыта без своей подруги.

Но устранение этих неудобств зависит исключительно от воли читателей, а в книжке есть и другой недостаток, в котором не повинны ни они, ни автор, а, как любили выразиться в старину, «независящие обстоятельства». Разумеется, почтенный исследователь мог бы дать гораздо больше, и, кажется, книжка была задумана вначале гораздо шире, но потом «независящие обстоятельства», вероятно, в виде установления определенных размеров, их же не преидеши, привела к тому, что последующие главы пришлось сокращать. Отсюда получилась некоторая неравномерность. Так, послегомеровскому эпосу уделено больше места, чем всей истории, да и вообще проза изложена гораздо короче, чем поэзия. Хотелось бы сделать еще одно замечание по поводу прекрасной заключительной главы, где автор так живо и увлекательно говорит о взаимоотношении античной и новейших литератур. «Русская литература, — читаем здесь, — еще почти не испытала на себе ее (античности) непосредственного воздействия». Как хотелось бы видеть указания на это воздействие, сделанные столь авторитетным исследователем. Уверены, что книжка от этого много, много выиграла бы. В заключение позволим себе горячо рекомендовать труд вниманию тех, для кого, по-видимому, назначал его главным образом и сам автор, именно нашего молодого поколения.

Источник текста:

БИРЮЧ Петроградских

Государственных театров. — 1921. —

Сб. II. С. 336–337.

2. Из рецензии В. Брюсова

Имя автора достаточно ручается, что очерк древнегреческой литературы написан с огромными знаниями и с большой любовью к вопросу, а также ярко и живо, ибо таковы все вообще работы Ф. Ф. Зелинского в области античной древности. Автор обладает редким умением излагать популярно и занимательно, не поступаясь научностью, увлекать читателя, сооб-

щая ему, казалось бы, самый сухой материал, и делать доступным для широких кругов последние открытия филологии.

Все эти достоинства налицо в книге Ф. Зелинского, и знакомство с нею нельзя не рекомендовать всем, желающим расширить и обосновать свои знания по истории всеобщей литературы и культуры.

Тем не менее, изложение Ф. Зелинского, конечно, не бесспорно. Прежде всего — автор настолько ярко выраженная индивидуальность, что он не может не вносить своих личных взглядов и в популярный очерк. Даваемые в нем характеристики отдельных явлений, отдельных писателей нередко не совпадают с общими суждениями и в той или иной мере субъективны, и читателю приходится это иметь в виду. Впрочем, мы эту особенность готовы причислить скорее тоже к достоинствам очерка: она придает характеристикам непосредственную живость и всему изложению — цельность и единство точки зрения.

Гораздо важнее другая особенность очерка, лежащая в самом его замысле и, по нашему мнению, в немалой степени ослабляющая все его значение. Дело в том, что Ф. Зелинский, может быть, из стремления к сжатости и краткости очерка (он сам ставит себе в заслугу, что изложил всю историю классического периода древнегреческой литературы всего на 160 страницах), почти совершенно оторвал историю литературы от ее исторической и социальной основы, от социальных условий жизни того общества, в котором она создавалась. Правда, в книге есть страницы, посвященные напоминанию о политических событиях соответствующих эпох древней Эллады, но страницы эти всего менее исправляют общий недостаток. Они по необходимости кратки, излагают вопрос в пределах школьного учебника и, кажется нам, могли бы быть заменены простой ссылкой на такой учебник.

А о социальном строе древней Эллады, об отношениях в ней классов общества, об общественных и революционных движениях того времени — читатель непосредственно из книги Ф. Зелинского не узнает ничего. Мы, конечно, и не вправе ждать, чтобы Ф. Зелинский в своем очерке стал на марксистскую

точку зрения. Но между таким подходом к истории литературы и полной оторванностью в изложении литературы от жизни — еще огромное расстояние. Автор излагает историю древнегреческой литературы так, как если бы она развивалась в каком-то безвоздушном пространстве, как если бы творцы ее не были людьми своей эпохи и не подчинялись бы различным воздействиям той среды, в которой жили. Это ведет даже к неправильному, на наш взгляд, освещению фактов. Так, Ф. Зелинский, например, подробно говорит об «Илиаде» и «Одиссее», излагает песнь за песней их содержание, стремится выяснить вечные красоты этих эпосов, определяет их художественное и нравственное значение, при всем том очерк умалчивает, что эти поэмы создались в придворных кругах древнейшей эллинской аристократии и раньше всего удовлетворяли ее вкусам и обслуживали ее интересы. Будь это должным образом отмечено, нельзя было бы позабыть ряда черт, о которых автор теперь просто умалчивает: что героями Гомера являются исключительно люди знатного происхождения (даже божественный свинопас Эвмей оказывается царского рода), что простой народ везде представлен как бессмысленное и почти бессловесное стадо, что и на земле и на Олимпе везде строго проведен принцип господства аристократии и т. п.; далее пришлось бы, может быть, изменить характеристику Терсита, которого автор, уже от своего лица, называет «дерзким и трусливым демагогом», и, наверное, пришлось бы отказаться от сомнительного умиления автора перед беспристрастием Гомера, будто бы равно относящимся к своим, к данаям, и к врагам, к троянам (тогда как, конечно, трояне в поэмах представлены с узко национальной точки зрения — и коварными, и трусливыми, и даже физически менее сильными, чем данаи). Сходные замечания можно сделать по поводу характеристики трагиков и их созданий, историков и их сочинений (относительно Фукидида и Ксенофонта это бросается в глаза), ораторов и их речей, вообще по поводу всего очерка.

Остается сказать о расположении материала в книге. Несомненно, автор сумел вместить в небольшом объеме очень большое содержание. Все же нам кажется, что в очерке есть

немало страниц, которые с пользой и с успехом могли бы быть заменены другими. Выше мы говорим, что считаем не особенно нужными те, которые посвящены политической истории; но, по крайней мере, изложение этой истории занимает сравнительно немного места. Другое дело те пересказы содержания отдельных произведений, на которые автор очень щедр. Ни в коем случае не заменяя знакомства с подлинником, такие пересказы большею частью сводятся к изложению античных мифов или к простому оглавлению сочинений; между тем на эти пересказы ушла добрая треть всего очерка. Думаем, что они были бы более на месте во второй части труда Ф. Зелинского, в виде объяснительных введений к тому собранию образцов и отрывков, которые там предположено дать. Наконец, есть известное неудобство и в общем плане очерка, рассматривающего последовательно и обособленно — эпос, лирику, трагедию, комедию, историю, философию, красноречие; при таком делении нарушается, особенно в последние периоды истории, единство литературы, и иные тесно между собой связанные явления оказываются резко разобщенными. При всех этих оговорках, книга Ф. Зелинского достигает своей цели — показать и уяснить современному читателю все огромное значение древнегреческой литературы не только в истории, но и для наших дней. Автор прав, говоря с некоторой справедливой гордостью, что своей книгой он подсказал ответ на вопрос, на чем мы, филологи, основываем свое право на существование в современном обществе. «Погодите нас истреблять, — говорит Ф. Зелинский в заключительных словах, — дайте нам время влить в вашу литературу здоровую кровь жизнерадостного и трудорадостного подъема, в котором она так нуждается, не трогайте нас до тех пор, а потом... — а потом вы этого и сами не пожелаете».

*Источник:
Печать и революция.
Т. 1., 1921. С. 113–114.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителя.....	5
Из предисловия к первому выпуску.....	9
Из предисловия ко второму выпуску	10

Глава I. ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Интерес древнегреческой литературы. — Предостережение от двойной иллюзии, обычной у новейших читателей	11
§ 2. Начальный период древнегреческой литературы. — Психологический параллелизм поэзии и прозы.....	15
§ 3. Первичная ячейка поэзии: триединая хорей. — Хорей обрядовая и хорей рабочая	17
ОБРАЗЦЫ.....	18
РАБОЧАЯ ПЕСНЯ.....	18
1. Песня гончара	18
2. Частушки жнецов	19
§ 4. Прозаическая сокровищница греческого народа. — Мифы. — Саги. — Сводь правил и поучений. — Басня, пословица, сказка, легенда	22
ОБРАЗЦЫ.....	25
А. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ.....	25
Б. ХРАМОВАЯ ЛЕГЕНДА (АРЕТАЛОГИЯ).....	31
Чудо богини Елены.....	31

Глава II. ГОМЕР

§ 5. Царская власть ахейского периода. — Сословие аэдов. — Переход сокровищницы мифов к поэзии. — Миф о богочеловеке. — Эолийское и ионийское наслоения. — Гекзаметр. — «Гомер».....	33
---	----

§ 6. Анализ «Илиады».....	39
ОБРАЗЦЫ.....	48
ИЗ «ИЛИАДЫ».....	48
1. Вступление. Чума (песнь I, ст. 1–54)	48
2. Прощание Гектора и Андромахи (песнь VI, ст. 399–502)	50
3. Посольство к Ахиллу (песнь IX, ст. 224–431)	52
4. Приам в ставке Ахилла (песнь XXIV, ст. 468–676)	58
§ 7. Анализ «Одиссеи».....	62
ОБРАЗЦЫ.....	68
ИЗ «ОДИССЕИ».....	68
1. Одиссей в море (песнь V, ст. 278–463).....	68
2. Певец Демодок (песнь VIII, ст. 62–82; 474–580).....	72
3. Одиссей в преисподней (песнь XI, ст. 471–549).....	76
4. Последний пир женихов (песнь XX, ст. 320–394)	78
5. Признание Одиссея Пенелопой (песнь XXIII, ст. 1–296)	80
§ 8. Полнота искусства. — Характеристики. — Речи. —	
Искусство расчленения и развития. — Эпическое	
раздолье. — Эпитеты. — Сравнения. —	
Нравственно-религиозные представления. — Гуманность.....	84

Глава III. ПОСЛЕГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС

§ 9. Киклический эпос. — Эпосы троянского цикла: «Киприи», «Эфиопида», «Малая Илиада», «О разрушении Илиона», «Возвращения», «Телегония»	89
§ 10. Эпосы фиванского цикла: «Эдиподея», «Фиваида», «Поход Амфиарая», «Эпигоны», «Алкмеонида». — Эпосы космогонического цикла: «Теогония», «Титаномахия», «Гигантомахия». — Эпосы цикла о Геракле: «Данаида», «Персеида», «Гераклея», «Взятие Эхалии». — Эпосы цикла об аргонавтах: «Миниада», «Аргонавтика»	94
§ 11. «Киклический характер». — Маргит. — «Война мышей и лягушек». — Аэды и рапсоды. — Гомерические гимны. — Личность «Гомера»	99
ОБРАЗЦЫ.....	102
А. ИЗ «ВОЙНЫ МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК» (ст. 168–197)	102
Собрание богов	102
Б. ИЗ ГОМЕРОВСКОГО «ГИМНА ДЕМЕТРЕ» (ст. 212–496)	103
§ 12. Коренная и колониальная Эллада. Дидактический эпос. — Гесиод. — «Работы и дни». — «Теогония». — «Каталог». — «Щит Геракла». — Стиль	107

ОБРАЗЦЫ	112
ГЕСИОД	112
1. Работы и дни	112
2. Теогония	121
§ 13. Собственно дидактическое и генеалогическое направления. —	
Эпический язык в Дельфах. — Пророчески-богословский эпос. —	
Философский эпос. — Ксенофан. — Парменид и Эмпедокл.....	125
ОБРАЗЦЫ	128
А. ДЕЛЬФИЙСКИЕ ОРАКУЛЫ.....	128
Б. ФИЛОСОФСКИЙ ЭПОС	130
1. Ксенофан	130
2. Парменид	131
3. Эмпедокл	133

Глава IV. ЛИРИКА

§ 14. Греция в VII и VI веках до персидских войн	139
§ 15. Виды лирики. — Элегия: Каллин, Архилох, Тиртей, Мимнерм,	
Солон, Ксенофан, Феогнид, Антиммах. — Эпиграмма: Фокилид	142
ОБРАЗЦЫ	147
А. ЭЛЕГИЯ	147
1. Каллин.....	147
2. Архилох	148
3. Тиртей	150
4. Мимнерм	151
5. Солон.....	152
6. Ксенофан	155
7. Феогнид	156
Б. ЭПИГРАММА.....	160
1. Архилох.....	160
2. Посвятительная после Платейской победы (479 г.).....	160
3. Надгробие гадателя Мегистия, павшего в Фермопилах	160
4. Надгробие Архедики.....	161
5. Надгробие афинян, павших при осаде Потидеи (427 г.)	161
6. Платон	161
7. Надгробие Софокла	162
§ 16. Ямбография: Архилох, Симонид Старший,	
Солон, Анакреонт, Гиппонакт. — Басня: Эзоп.	162
ОБРАЗЦЫ	166
В. ЯМБОГРАФИЯ.....	166
1. Архилох.....	166
2. Симонид Старший	169
3. Солон	171

4. Гиппонакт.....	172
Басни Эзопа.....	173
§ 17. Монодическая мелика: Алкей, Сафо, Анакреонт, застольные песни.....	175
ОБРАЗЦЫ.....	179
МОНОДИЧЕСКАЯ МЕЛИКА.....	179
1. Алкей.....	179
2. Сафо.....	183
3. Анакреонт.....	188
4. Из «Афинского песенника».....	189
§ 18. Хорическая мелика; разновидности и композиция; Алкман, Стесихор, Арион, Ивик, Симонид Младший, Пиндар, Вакхилид.....	193
ОБРАЗЦЫ.....	198
ХОРИЧЕСКАЯ МЕЛИКА.....	198
1. Пиндар.....	198
2. Вакхилид.....	204
§ 19. Характер греческой лирики. — Усовершенствования: сюжеты, оттенки. — Утраты: последовательность повествования и рассуждения, искусство характеристики. — Лирику продолжает трагедия.....	207

Глава V. ТРАГЕДИЯ

§ 20. Греция в V веке.....	211
§ 21. Дифирамб и Арион. — Сатирическая драма и Пратин. — Пратин и Фриних.....	213
§ 22. Эсхил. — Трилогический принцип. — «Данаида» и «Орестея». — Наверстывание поэтической техники. — Величавость.....	216
ОБРАЗЦЫ.....	220
ЭСХИЛ.....	220
1. Персы.....	220
2. Орестея.....	224
§ 23. Софокл. — Оставление трилогического принципа. — Экспозиция, сцена виновности, перипетия, катастрофа, развязка. — «Антигона». — «Трахинянки». — «Аянт». — «Царь Эдип». — «Электра». — «Филоклет» и «Эдип в Колоне». — Достижения.....	234
ОБРАЗЦЫ.....	239
СОФОКЛ.....	239
1. Антигона.....	239

2. Царь Эдип.....	247
3. Эдип в Колоне	259
§ 24. Еврипид. — «Алкеста». — «Медея». — «Ипполит». — «Ион». — «Ифигении». — «Вакханки». — Надломленность характеров. — Речи. — Композиционная техника. — Дальнейшее развитие трагедии. — Аттический дифирамб и номос. — «Персы» Тимофея	265
ОБРАЗЦЫ	272
ЕВРИПИД	272
1. Медея.....	272
2. Ипполит	275

Глава VI. КОМЕДИЯ

§ 25. Бытовая сценка и дорическая комедия. — Эпихарм и Софрон. — Обличительная песня. — Эпиррематическая композиция. — Политическая и сказочная комедия. — Древнеаттический триумвират	285
§ 26. Аристофан. — «Всадники». — «Облака». — «Фесмофории» и «Лягушки». — «Птицы». — Парод, агон и парабаз.	288
ОБРАЗЦЫ	292
АРИСТОФАН	292
1. Всадники.....	292
2. Осы	297
3. Фесмофории.....	314
§ 27. Греция в IV веке	332
§ 28. Культурная гегемония Афин также и в IV веке. — Возвышение бытовой комедии. — Эпоха средне- аттической комедии. — Антифан, Анаксандрид и Алексид.....	335
§ 29. Эпоха новоаттической комедии. — Филемон и Менандр. — «Третейский суд». — «Отрезанная коса». — Случай. — Характеры. — Влияние на последующие времена	337
ОБРАЗЦЫ	340
МЕНАНДР.....	340
1. Видение	340
2. Земледелец	341
3. Отрезанная коса	343

Глава VII. ИСТОРИЯ

§ 30. Возвышение прозы в VI веке. — Ферекид Старший. — Три корня историографии. — Старшие логографы: Гекатей. — Младшие логографы: Ферекид Младший и Гелланик.....	345
§ 31. Геродот. — Композиция его исторического сочинения. — Магистраль и отступления. — Историческая легенда. — Рационализм. — Стиль. — Гуманность.....	348
§ 32. Фукидид. — Анализ его «Пелопоннесской войны». — Историческая критика. — Речи. — Стиль.....	352
§ 33. Ксенофонт. — Его универсализм. — «Греческая история». — «Анабазис». — «Киропедия». — Стиль	357
§ 34. Феопомп и Эфор. — Прагматическое и риторическое направления. — Общая характеристика греческой историографии.....	360

Глава VIII. ФИЛОСОФИЯ

§ 35. Ионийская философия и трактат. — Анаксимандр. — Анаксимен и Гераклит. — Анаксагор. — Пифагор и его школа. — Софисты	362
§ 36. Сократ и диалог. — Школа Сократа. — Ксенофонт. — Его «Воспоминания о Сократе». — Его «Домострой». — Антисфен и Аристипп.....	365
§ 37. Платон. — Академия. — Творчество. — Прогимназматические диалоги и «Протагор». — «Федон», «Пир», «Федр», «Горгий», «Государство». — «Парменид», «Тимей» и «Законы»	368
§ 38. Платоновский вопрос. — Эволюция художественной формы. — Собеседники. — Диалогическая техника. — Рамка. — Мифы. — Стиль	373
§ 39. Природа. — Демокрит. — Гиппократ	376
§ 40. Аристотель. — Ликей. — Литературное наследие. — 1) Материалы, «О государстве афинском». — 2) Акроаматические курсы: логика, природоведение, этика, теория словесности. — 3) Экзотерические сочинения, перипатетический диалог, «Protreptikos»	378

Глава IX. КРАСНОРЕЧИЕ

§ 41. Речи в поэзии. — Начала прозаического красноречия: красноречие эпидиктическое. — Фрасимах и Горгий. — Судебное красноречие и логография, Антифонт и Лисий.	383
§ 42. Деятельность Исократ. — Его эпидиктические речи, их панэллизм	387
§ 43. Аттический триумвират. — Демосфен. — Его политическая деятельность. — Политическое красноречие	389
§ 44. Литературное наследие триумвирата. — Его оценка. — Эсхин и родосский стиль. — Гиперид. — Демосфен	393

Глава X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 45. Литературные типы. — Качественное богатство греческой литературы. — Ее количественное богатство. — То, что нам осталось	396
§ 46. Возмещение утраченного. — Отрывки, свидетельства, традиция. — Важность филологической работы. — Филология, история и художественное чутье	398
§ 47. Древняя и новая литературы. — Возрождения	401
Хронологическая таблица	404
Приложение	409
1. Из рецензии А. Малеина	409
2. Из рецензии В. Брюсова	410

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛЕТЕЙЯ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
в Санкт-Петербурге:**

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

Санкт-Петербург, Литейный пр., 57 (с 10:00 до 22:00)

8 (812) 273 50 53 www.podpisnie.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ»

Санкт-Петербург, Невский пр., 66 (с 10:00 до 22:00)

8 (812) 640 44 06 www.lavkapisateley.spb.ru

в Москве:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА»

Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1

(с 09:00 до 24:00)

8 (495) 629 64 83, 8 (495) 797 87 17

www.moscowbooks.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

«ФАЛАНСТЕР»

Москва, ул. Тверская д. 17

(с 11:00 до 20:00)

8 (495) 749 57 21, 8 (495) 629 88 21

www.falanster.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

«ЦИОЛКОВСКИЙ»

Москва, Пятницкий пер., 8

(с 11:00 до 22:00)

8(495) 951 19 02

www.primuzee.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

«БУКВЫШКА»

Москва, ул. Мясницкая, 20

(пн.–пт. с 10:00 до 20:00, сб. с 10:00 до 19:00)

8 (495) 621 49 66, 8 (495) 628 2960

www.bookshop.hse.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

«БИБЛИО-ГЛОБУС»

Москва, Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1

(пн.–пт. с 9:00 до 22:00, сб.–вс. с 10:00 до 21:00)

www.biblio-globus.ru

Электронные книги:

ДИРЕКТ-МЕДИА

www.directmedia.ru

ЛИТРЕС

www.litres.ru

Интернет-магазины:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА»

www.moscowbooks.ru

OZON

www.ozon.ru

NATASHA KOZMENKO BOOKSELLERS

www.nkbooksellers.com

ESTERUM

www.esterum.com

БУКВОЕД

www.bookvoed.ru

ЧИТАЙ ГОРОД

www.chitai-gorod.ru

MY-SHOPRU

www.my-shop.ru

КНИЖНЫЙ БУМ

www.academbook.com.ua

Зелинский Фаддей Францевич
Древнегреческая литература эпохи независимости

Главный редактор издательства
Игорь Александрович Савкин

Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет *Е. Г. Орловский*
Корректор *И. Е. Иванцова*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»

Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,
e-mail: fempro@yandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532

Редакция:
e-mail: aletheia92@mail.ru

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Фаланстер», ул. Тверская, д. 17. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, kentavr@kpole.ru
«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97
в Киеве:

«Книжный бум». Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru
в Минске:

«Трэгресс-Бук», ул. Казинца, д. 123, оф. 4.
Тел. +37 517 338 95 23, www.tregross.com
в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Тел. +48 (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl
в Риге:

«Intelektuāla grāmata»
Rīga, Kr. Varona iela 45/47. Тел. +371 67315727, info@merion.lv

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 26,4.